



# II







**Выпуск 5**

**Альманах  
научной  
фантастики**

**Издательство  
«ЗНАНИЕ»**



**Москва 1966**

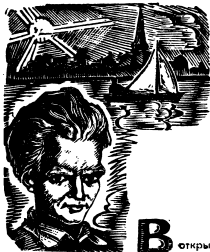
**Р 2**  
**А 57**

**7—3—2**

**Составитель Е. Дубровский**

**Художник И. Махов**

М. Емцев,  
Е. Парнов



## ЧЕРНЫЙ ЯЩИК ЦЕРЕРЫ

Р о м а н \*

1

**В** открытых дождю и ветру кустах замер голодный затравленный зверь.

Когда-то у него было имя. Крупные политические статьи он подписывал полностью: Август Карстнер, корреспонденции и фельетоны — А. Карстнер, короткие заметки — просто А. К.

Теперь же он откликался только на номер. Мир сузился до линии горизонта. Существовало только то, что можно было слышать, осязать, видеть...

Он осторожно раздвинул упругие елочки и медленно приподнял голову. Шоссе блестело, как матовое серебро. Прибитая ночным дождем трава пахла осенью. За автострадой лежала болотистая низина, тонувшая в насыщенном водяной пылью тумане.

Он поежился при одной только мысли, что ему еще предстоит идти по этой низине, догоняя съеденный туманом горизонт. Ботинки его были разбиты аконец, мышинные брюки с желтым лагерьным кантом промокли и отяжелели от налипшей глины. Нервное напряжение постепенно спало. Карстнер почувствовал усталость и боль в ногах. Ему захотелось опять прижаться щекой к мокрой жухлой траве, бессильно распластать руки и никуда не стремиться. Но еще больше хотелось есть.

Картина «Статуя Цереры» написана Рубенсом в 1614—1616 гг. Стоящая в нише статуя Цереры — римской богиня плодородия и изобилия — воспроизводит античный подлинник; амур украшает нишу тяжелой гирляндой плодов — символом изобилия.

[Из объяснения экскурсовода]

\* Печатается в сокращенном виде.

Он подумал, что через какой-нибудь час в лагере начнут раздавать горячий кофе и липкий тяжелый хлеб, и ощутил даже некоторое сожаление. Но острая спазма в желудке и судорога в гортани отвлекли его от мыслей о лагере. Он закрыл глаза и с усилием проглотил скупую слюну. Стало легче. Туман постепенно таял. Но, делаясь менее осязаемым, он приобретал запах, щекощущий морозный запах разведенного в воде крахмала. Карстнер закашлялся. Уткнувшись в рукав мокрого, пахнущего псиной ватника, он заглушил сотрясавший его кашель и вытер тыльной стороной ладони слезящиеся глаза.

До темноты оставалось часов девять, и Карстнер не знал, сумеет ли он дождаться ночи. Дотянувшись зубами до ветки, он откусил хвостик и с наслаждением ощутил ее пронзительный вкус. Рот сейчас же наполнился жадной горячей слюной. Карстнер проглотил ее и откусил еще одну жесткую колючую иглу.

Он уже давно научился не замечать хода времени. Время обладает способностью тянуться, как вязкая смола, и утекать быстрыми струйками воды. Все зависит только от себя. Карстнер закрыл глаза, и время стало обтекать его.

Команду, в которой был Карстнер, повезли на ночные работы. Прорывая завесу дождя, фары гнали перед машинной пузырящуюся ноздреватую воду. Скользящие в небе лучи прожекторов освещали серебристые колбасы азростатов. Призрачные световые блики пробегали по мокрым лицам, маслянисто блестели на толстых прутьях клетки и гасли в стремительно падающих каплях дождя.

Машина остановилась перед шлагбаумом. Одноколейка тонула в черном невидимом лесу. Хлопнула дверца. Кто-то грузно прыгнул на мокрую землю. Еще раз хлопнула дверца. Эсэсовцы перекинулись несколькими фразами, и стало тихо. Вспыхнул фонарик, световой круг, ослепляя, пробежал по лицам.

Лязгнули цепи, и задний борт отвалился. Звякнул ключ, со скрежетом поползла задвижка. Эсэсовец открыл клетку. Люди замерли.

— Живо! В колонну по четыре! Живо!

Они прыгали на скользкую упругую землю, ничего не видя, прямо на слепящий свет.

— Смирно!

Ордунигдинст\* проверил людей и выровнял шеренги. Карстнер

\* — Заключенный, ответственный за порядок [нем.].

уловил запах сигаретного дыма. Ноздри его затрепетали. Красный огонек дрогнул и, рванувшись в темноту, описал параболу. Карстнер механически отметил место, куда упал окурок. Но поднять его не смог. Команда побрела вдоль одноколейки.

— Живей!..

Они пошли быстрее, но стали чаще спотыкаться. Когда кто-нибудь падал, все останавливались, и ордунгдинст пускал в ход дубинку.

Шли минут сорок. Невдалеке мигнул огонек, три раза мигнул и погас. Эсэсовец приказал остановиться и пошел вперед. Через некоторое время он вернулся и велел идти дальше. Карстнер смотрел себе под ноги, но ничего не видел. Он боялся поднять голову — ему почему-то казалось, что он тогда неминуемо слоткнется и упадет. Когда команда остановилась, он огляделся.

На деревьях висели светильники. Лампочки тускло освещали большую поляну и медленный дождь над ней. Мокрым блеском отливали буксы четырех товарных вагонов. От светильников тянулись провода в резиновой изоляции. Точно лианы, опутывали они сосновые стволы и пропадали где-то в черноте невидимого леса. Очевидно, там находилась передвижная электростанция. Одноколейка обрывалась прямо на поляне. Отцепленные вагоны стояли почти у самого конца полотна. Несколько поодаль пыхтела автомотриса, возле которой покуривали двое эсэсовцев в блестящих резиновых плащах.

Шелест дождя гасил звуки. Веки сделались тяжелыми, хотелось спать.

Карстнер вместе с пятью другими хефтлинками должен был разгрузить вагон. Второй слева.

Где-то забухали зенитки. Завыла сирена. В небе скрестились чахлые ходули прожекторов.

— Стой! Назад! — заорал эсэсовец.

Команда вновь выстроилась в шеренги по четыре. Эсэсовец велел всем лечь лицом вниз.

— Если хоть одна сволочь шевельнется, перестреляем всех без предупреждения, — услышал Карстнер тихий голос.

Холодные капли неторопливо долбили затылок. Когда промокла вся спина, Карстнер перестал чувствовать отдельные капли.

Над ним гудели самолеты. Разрывы зенитных снарядов больно отдавались в барабанных перепонках. Тарахтели крупнокалиберные пулеметы. Земля пахла прелой хвоей.

Потом послышался свист. Нарастающий и неотвратимый. Казалось, он отзывается в спинном мозгу. Карстнер опять различил холодные удары отдельных капель. И вдруг стало светло. Он сразу

увидел рыжие травинки, сосновые иглы, полусгнившую черную шишку. Что-то рвануло. Уши забило нестерпимой болью. Карстнер раскрыл рот. Трава сделалась малиново-красной. Яркий свет сменился дымной тенью, и вновь полыхнул свет. В ветвях зашелестели осколки. По земле застучали гравий и щепки.

Карстнер услышал автоматную очередь, и снова послышался нарастающий свист.

Его мягко приподняло с земли и куда-то швырнуло. Он больно ударился головой и покатился неведомо куда сквозь хлещущие по лицу мокрые голые ветки.

Когда он поднял голову, вокруг было темно и тихо. Тишина стояла такая, что хотелось кричать и биться головой о землю. Горло щипал едкий железный запах. Карстнер открыл рот и попытался откашляться. В ушах что-то щелкнуло, точно вылетели пробки. Дождь все еще тускло шуршал в опавшей листве. До него долетел тихий стон. Он прислушался: где-то рядом.

— Кто это? — спросил Карстнер.

— Хефтлинк номер 17 905... Я, кажется, ранен... Не могу встать.

— Где вы? Это я, Карстнер. Август Карстнер из восьмого блока. Где вы?

— Карстнер? Кажется, я кончаюсь... Карстнер... ползи ко мне.

Полыхало далекое зарево. В малиновом сумраке Карстнер увидел лежащего метрах в десяти человека.

— Что с вами? — спросил Карстнер.

— Ничего не вижу... И нога... Сильно болит. Посмотри, что с ногой.

— Очень темно. Я сам почти ничего не вижу.

— Тогда не так плохо. А я решил, что ослеп... Перевяжи мне ногу. Может, смогу встать.

Карстнер нащупал грудь раненого и осторожно повел рукой и его ногам.

— Больно?

— Другая нога...

Карстнер передвинул руку. Раненый застонал мучительно и глухо. Карстнер скользнул ладонью к колену. Рука неожиданно пала на землю, во что-то скользкое и липкое.

— Ну?.. Что? — спросил раненый, корчась от боли. — Пощупай ступню... Кажется, у меня раздроблена ступня.

— У тебя нет ступни, — глухо ответил Карстнер и облизал потрескавшиеся губы, — и ноги нет.

— Так, — отозвался раненый.

— Я перевяжу тебя. Сейчас! Я быстро...

— Не надо! Так будет скорее... Ты политический?



- Да.
- Коммунист?
- Нет. Социал-демократ.
- За что?
- Саботаж.
- Срок.
- Бессрочно.
- Так...

Раненый дышал тяжело и влажно, с присвистом.

— Что думаешь делать, Карстнер?

— Не знаю...

— Тебя все равно расстреляют. За попытку к бегству... если найдут, конечно.

- Да.
- Кем ты был?
- Журналистом.
- Опыт подпольной работы есть?
- Очень небольшой. Меня скоро взяли.
- Так... Распори подкладку... Вот здесь... Нашел?
- Да!

— Спрячь. Кроки и компас... Иди все время на север, пока не попадешь к автострате на Гамбург. Тогда кроки... Хутор Маллендорф. Там помогут. Не забудь передать привет от Янека. Понял?

- Да.
- Вот и хорошо...
- А как же вы?... Я...

— Со мной все кончено. Я действительно не вижу... Не забудь про Янека. Пароль. Понял?

Карстнер открыл глаза. В тумане высветился слепящий бледно-латунный диск. Было часов двенадцать, а темнеть начинало в шесть. Пронесся «копель-адмирал». Карстнер успел заметить забрызганные грязью крылья и матовую водяную тень на черном лаке.

Проскрипела телега с колной сена. Проехала машина красного креста. Шоссе местами просохло, и сквозь колючую хвою отчетливо виднелись черные трещины на серых проталинах. Эфирным контуром, как на недодержанном негативе, проявилась силосная башня. Карстнер достал компас. Туман таял, день обещал быть хорошим. В подсыхающих лужах на шоссе отражалось чуть тронутое желтизной небо.

Карстнер отполз назад. Осторожно приподнялся и, пригибаясь, пошел обратно в лес. Кисловатый запах прелой дубовой листвы и

хвои опять вызвал ощущение голода. Чтобы согреться и не думать о еде, он начал собирать сухой валежник. Спичек не было, да он и не решился бы разжечь костер. На поиски хвороста и рыжих высохших елок его толкало стремление хоть что-то делать. Найдя в небольшом ельнике сухое место, тщательно покрыл лапником усыпанную ломкими иглами песчаную землю. Потом, отвязав разломаченную веревку, придерживавшую оторванную подметку, скрепил ею верхушки двух елочек. Получилось нечто вроде арки. Часа полтора ушло на вязку fascin. Соорудив из них ограду вокруг арки, он осторожно укрыл свое шаткое сооружение большими ветками, потом засыпал их мелким хворостом и оставшимся лапником. Затем прополз в оставленный лаз и закрыл его изнутри fascinой.

Лежать было все так же холодно, но Карстнер знал, что теперь он не замерзнет.

Он закрыл глаза и попытался уснуть. Но после большого нервного напряжения или хронического недосыпания никогда не удастся уснуть сразу. Временами Карстнер куда-то проваливался, забывался в глубоком, как омут, оцепенении. Но сейчас же нервно вздрагивал, ошалелыми затравленными глазами всматривался в дырявый сумрак шалаша, не понимая, где он и что с ним. Сознание возвращалось медленно. Он облегченно вздыхал, щупал карман с компасом и облизывал запекшиеся губы. Хотелось пить. Потом опять он куда-то проваливался. Порой мучительную границу беспамятства и смутной одури разрывали вспышки глухих кошмаров. Карстнер видел себя бредущим по гулким осклизлым коллекторам городской канализации. Бежали черные воды, дробился в лоснящихся стенках огромных каменных труб случайный подземный свет.

Спасаясь от преследования, он спустился однажды в открытый люк канализации и двое суток бродил, как тень, прислушиваясь к шуму грязных и пенистых вод городской Леты.

Мучительными, из-за перехватывающей дыхание бессильной ненависти, были и воспоминания об аресте... Лиззи, длинноногая Лиззи с загадочными зелеными глазами. Кошечка Лиззи, младшая сестра жены. Она показала гестаповцам тайник — бачок с двойными стенками. Чугунный бачок в уборной.

С шумом срывается спущенная вода, гулко падает тяжелая крышка. Или это шумят воды в подземных каналах? А может, бьют в рельс на аппельплаце?.. Нет, это шумит выливаемая из ведра вода в комнате 307 полицейпрезидиума. Это с гулом и свистом возвращается сознание, возвращается только для того, чтобы опять можно было ощущать боль.

Поют, гудят, свистят, воют радиоволны. Стучит, стучит, стучит ротапринт. Шуршат листовки под пиджаком. Они так сильно шур-

шат, что, наверное, слышно даже в конце улицы. Почему никто не обращает внимания? Они же так шуршат!

Или это умирает ветер в голых кустах на лесной опушке?..

...До хутора Карстнер добрался поздно ночью. Не найдя калитки, он лег на землю и прополз под жердью изгороди. С трудом поднялся и медленно побрел к дому, давя гниющую ботву. Окна были темны.

Пахло свиным навозом и гнилым картофелем. Хлев отбрасывал четкую тень. В целом мире не раздавалось ни звука. Только изредка поскрипывал жестяной флюгер. В звездном свете сероватым ночным отсветом поблескивала черепица.

Карстнер постучал. Стук отозвался в ушах громовыми ударами. Сердце прыгало у самого горла. Он сел на ступеньку. В доме по-прежнему тихо. Он постучал сильнее. Легкое дуновение ветра повернуло флюгер. Карстнер собрался постучать еще раз, когда за дверью послышались тихие, как вздохи, шаги.

— Кто!

— Привет от Янека!.. Откройте...

Щелкнул замок. Дверь бесшумно отворилась. Карстнер увидел сначала расширяющуюся световую щель, потом чью-то белую фигуру с керосиновой лампой. Огонек под стеклом едва теплился.

— Привет от Янека! — сказал Карстнер и попытался подняться. Огонек подскочил вверх. Боли он не чувствовал и думал о себе, как о ком-то постороннем. Последнее, что он увидел, был шаткий язычок красноватого пламени. Кто-то поставил лампу вровень с его щекой.

— Привет от Янека! — еще раз сказал Карстнер, а может, он только хотел сказать...

...Четверо суток Карстнер отъедался и отсыпался в Маллендорфе, стремясь продлить как можно дольше упоительное ощущение тепла, сытости и безопасности.

Хозяин хутора, сухощавый мрачный старик, дал ему одежду, которая сразу же превратила Карстнера в типичного рабочего гамбургских верфей. Лагерное тряпье старик сжег.

— Больше вам здесь оставаться нельзя, — сказал он однажды утром, ставя перед Карстнером кастрюлю дымящегося картофеля, — того и гляди появится бауэрфюрер. Он может что-нибудь пронюхать.

— Хорошо. Сегодня уйду... Когда стемнеет.

— Куда вы без документов!

Карстнер пожал плечами и, отправив в рот последний кусочек пареной брюквы, потянулся за картофелиной.

— Мы ждали другого и приготовили документы для него... Но пришли вы... Для вас у меня нет документов.

Карстнер опять ничего не ответил и, взяв еще одну картофелину, посыпал ее крупной сероватой солью.

— Придется переправить вас в Гамбург так... Там сделают документы.

— На всех дорогах сейчас пикеты.

— Это так, — согласился старик. — Но я думаю, можно подняться по Эльбе на барже. Только придется не высовывать носа из трюма.

— Ну, это пустяки.

...Он сошел на берег севернее Гестахта. Оттуда до Гамбурга ходил трамвай. Поднявшись по откосу, Карстнер миновал лесопилку и вышел к трамвайному парку. Он шагал вдоль побеленного бетонного забора, стараясь держаться непринужденно. Изогнутые трамвайные дуги, дойдя до пересечения проводов, трещали, на лоснящийся булыжник мостовой сыпались синие искры. И каждый раз это заставляло Карстнера вздрагивать. Он не мог забыть, как однажды ночью бросился на проволоку хефтлинка номер 14 271 Лео Брунес. Послышалось противное шипение и тоже посыпались искры. Только не голубые, оранжевые. И запахи!..

Потом на всех вышках зажглись прожектора, пулеметы взяли проволоку на прицел, и ток отключили.

Пронзительно заклекотал звонок. Карстнер вздротнул и шарахнулся в сторону. Он чуть было не попал под трамвай. Грохочущий вагон пронесся мимо. Но звон все еще стоял в ушах. Будто колотили в рельс на аппельплаце.

Сумерки быстро сгущались. Зажглись фонари. Они мерцали в дрожащем воздухе. В сплетении трамвайных проводов появилась луна. Белый забор парка поглубел. В воздухе пахло бензином и гарью. Карстнер с наслаждением вдыхал этот специфический городской запах. На углу, возле небольшой пивной «Трильби», он увидел выползающий из парка трамвай. Сел во второй вагон и взял билет до Баденхауза. Получив сдачу с трех марок, поднял воротник и сделал вид, что собирается спать.

Пока вагон тащился до Баденхауза, совсем стемнело. Карстнер видел в окне свое полупрозрачное отражение.

Он пересел на седьмой автобус. Свободных мест не было, и он сразу же прошел вперед, к шоферу. Прижался лбом к стеклу. Ему все казалось, что чей-нибудь внимательный взгляд разгадает хефт-

линка. Но никому не было до него дела. Многие выглядели теперь такими же усталыми равнодушными дистрофиками.

Вошел инвалид в синих очках, с запорошенной пороховой синью щекой. Какая-то женщина уступила ему место. Протиснулся к выходу фронтовик с забинтованной головой. Задел локтем Карстнера. Извинился. Карстнер видел все с лихорадочной четкостью, но не мог отрешиться от странного ощущения, что это происходит во сне или на дне моря.

— Кобленцштрассе! — объявил кондуктор.

Карстнер вышел. Его слегка потащивало. Несколько раз глубоко вздохнув, он огляделся. Стекла домов были крест-накрест залеплены полосками бумаги. Над входом в бомбоубежище горела синяя лампочка. Мимо прошли два старика с повязками противо-воздушной обороны. На всей улице горел один фонарь. Было тихо и безлюдно. Дойдя до перекрестка, он свернул налево и пошел по Генрих Гиммлерштрассе, бывшей Дрейкирхенштрассе. Каждый шаг гулко отдавался в ушах. Лунные тени черепичных крыш ложились на асфальт причудливыми косыми узорами. Темные окна мансард, узкий зазубренный силуэт костела, трагическое переплетение без-листных ветвей — это напоминало черно-белый эскиз декораций. «Принцесса Мален» — подумал Карстнер и вдруг удивился. Он не мог вспомнить, откуда это имя... Принцесса Мален?!

С громом распахнулась дверь. На асфальт упала широкая световая дорожка. Из подъезда вышли два эсэсовских офицера. Сверкнуло серебряное шитье. Один застегивал перчатки. Другой, засунув руки в карманы шинели, покачивался с каблуков на носки. Покачивался серебряный череп на фуражке. Офицеры были навеселе, смеялись...

Карстнер продолжал идти навстречу. Только шаг его сделался гораздо короче. Так идут с закрытыми глазами. Рука в кармане стала горячей и мокрой. Пальцы ожесточенно перебирали серые пфенниги военного времени. За четыре шага Карстнер сошел с тротуара. С каменным лицом прошел мимо эсэсовцев и вновь вернулся на тротуар.

Шаг его сделался еще короче. Заныло в позвоночнике. Опять болезненное ощущение нацеленной в спинной мозг авиабомбы. Впрочем, началось это раньше. Гораздо раньше...

... — Лицом к стене! — скомандовал штурмовик. Карстнер увидел закопченный кирпич брандмауэра. Рядом стояли какие-то люди. Тоже лицом к стене. Он чувствовал их локти и плечи. Напряженные оцепенением внутренней дрожи.

Здесь только что стреляли в нацистского бонзу. Схватили первых попавшихся. Обыскивали. Кого-то увели. Источно кричала жен-

щина. Карстнер стоял лицом к стене. Когда все кончилось, и он мог уйти, ему открылся весь брандмауэр — высокий и грязный. За ним чернела глухая стена дома. Маленькие окошки фасада были забраны решетками. Почти на каждом флажок со свастикой. Это было назавтра после референдума.

Свежий ветер трепал красные лоскутки, корчились черные свастики в белом круге. Их было много, и они казались живыми. Тогда Карстнер неотвратимо понял, что нацисты победили.

И еще он стоял лицом к стене. Не у самой стены, а почти посередине комнаты. К нему подходили сзади и били по лицу. И нельзя было оборачиваться. Слева спрашивали, справа били. Потом отливали водой. А в лагере ощущение, что кто-то нацелился в спину, почти не оставляло его. Особенно остро он чувствовал это там, на лесной поляне под бомбами...

...Карстнер споткнулся, будто увидел перед собой внезапно появившуюся стену, и побежал. Бежал и с ужасом думал, что этого нельзя делать.

Он не сомневался, что эсэсовцы смотрят ему вслед и станут теперь преследовать его. Он оглох от собственного бега и ударов сердца. Не переставая бежать, он оглянулся.

Эсэсовцы махали ему руками и что-то кричали. Они были посреди мостовой. Один из них доставал револьвер. Карстнера охватило странное спокойствие. «Сейчас меня убьют», — подумал он и интуитивно сделал прыжок в сторону. Грохнул выстрел. Карстнер споткнулся, коснулся коленом и ладонями мостовой, резко оттолкнулся и побежал дальше. Ему показалось, что они опять выстрелили, может быть, даже несколько раз.

Добежав до перекрестка, он автоматически повернул направо. Так же автоматически отметил, что этого не следовало делать — нельзя наводить их на след. Но вызубренный в Маллендорфе адрес так четко отпечатался в его памяти, что в эти напряженные минуты Карстнер уподобился самолету, ведомому сквозь огонь зениток одним лишь автопилотом. Поравнявшись с домом номер три, он, не отдавая себе отчета, вбежал в подъезд. Черная цифра на белой эмалевой табличке мигала перед глазами, как маяк. Он чувствовал, что его сейчас вырвет. Все в нем тряслось. Опаленные легкие жадно, но безуспешно хватали воздух. Он уже не бежал, а упав грудью на перила, тащился вверх, цепляясь руками и вяло перебирая ногами.

На шестом этаже он услышал пушечный удар двери вниз и бряцанье подковок по гулкому каменному полу. Он знал: на седьмом этаже есть ход на чердак. Выскочив на крышу, нужно добежать до пожарной лестницы. Спуститься на брандмауэр. Прыг-

нуть на соседнюю крышу, а там будет дворик с тремя подворотнями. Главное, выиграть хоть несколько шагов. Кроме того, эсэсовцы пьяны, и неизвестно, как они поведут себя на крутой восьмискатной крыше. Остро закололо в боку. Но Карстнер заставил себя прыгнуть сразу через три ступеньки. Лег на перила, выпрямился. Остался еще один пролет. Потом восемь ступеней и чердачный лаз. Дверь почти наверняка открыта — на случай налета. «Там должен быть ящик с песком — тушить зажигалки, — отметил Карстнер, — может, опрокинуть на них?.. Нет, не осилю»...

Последняя ступенька, и он на площадке. Теперь пробежать площадку и свернуть налево...

Перед Карстнером белела глухая стена. Гладкая, как лист бумаги. Точно лакированная, а не покрытая штукатуркой.

«Может, я перепутал подъезды? — подумал он. — Хотя теперь это не имеет значения... Обидно»...

Он стоял лицом к стене, не решаясь обернуться. Покачнулся и, выставив вперед руки, упал. Он больно ударился локтем о край ступеньки. Стена куда-то исчезла. Дверь на чердак была открыта. Он пополз вверх на четвереньках. Дотянулся пальцами до двери, но не смог подняться. Сел, чтобы передохнуть и собраться с силами.

«В крайнем случае, одного из них я сумею ударить ногой в живот».

Загremели кованые сапоги. Эсэсовцы вбежали на площадку. Карстнер подтянул ноги к груди и обернулся. Перед ним была глухая белая стена. Восемь ступенек вели вниз, на площадку седьмого этажа. А за ними белая стена... Выход на площадку исчез. Карстнер не мог уже ни удивляться, ни действовать. Голова его бессильно упала на грудь, и он медленно осел на бок, цепляясь непослушными пальцами за дверной косяк.

Словно сквозь вату он слышал, как эсэсовцы гremели сапогами на площадке, кричали, колотили в двери, звонили, врывались в квартиры и вновь выбегали на площадку. Потом гомон голосов: мужских, женских, детских. Все они были где-то рядом, за этой стеной. Они искали его, хотели его убить. Карстнер уже не чувствовал, как чьи-то руки подняли его и понесли. Сначала вверх по лестнице, потом по какому-то длинному коридору и, наконец, вниз...

...Первое, что он почувствовал, когда пришел в себя, был острый и свежий запах озона. Он лежал на большом кожаном диване, укрытый теплым клетчатым пледом. В комнате горела электрическая лампа. Карстнер посмотрел на часы, они стояли. Окон не было.

Полуоткрытая дверь вела в другую комнату. Там что-то непрерывно полыхало дымным белым светом. Слышалось странное жужжание, приглушенные голоса, изредка отрывистые фразы.

В комнату, улыбаясь, вошел человек с красивым молодым лицом и пышной шевелюрой. Виски у него были совершенно белые.

— Ну, как себя чувствуете? — спросил он, присаживаясь на краешек дивана.

Человек улыбнулся еще шире.

— Как я сюда попал?

— О! Совершенно случайно. Вам, очевидно, стало нехорошо. У вас уже бывало такое? Нет? Ну, тем лучше. Вы были без сознания, и я решился доставить вас сюда, пока вам не станет лучше.

— А где... они? Те, двое?

— Кого вы имеете в виду? — человек искренне изумился. Его блестящие черные глаза смеялись.

Карстнер пожал плечами.

— Вам показалось, что вас кто-то преследует? — Человек не переставал улыбаться, и на его щеках играли симпатичные ямочки. — Это, знаете ли, бывает перед приступом.

— На каком этаже я нахожусь?

— В цокольном. Вы предпочитаете бельэтаж?

— Это дом три?

— У вас есть тут знакомые?

— На седьмом этаже есть выход на чердак?

— Конечно. Вы уполномоченный противовоздушной обороны?

— И он не замурован белой стеной?

— Может быть, вы еще немного поспите? А потом мы с вами поговорим.

— Так вы сказали, цокольный этаж? И попасть к вам можно через чердак?

— Ну, зачем же обязательно так сложно. Можно и со двора, через черный ход.

— Это квартира 18-6?

— Вы проявляете поразительную осведомленность.

— Так да или нет?

— 18-6.

— Разрешите мне самому в этом убедиться.

— Пожалуйста. Я помогу вам подняться... Раз вы через весь город шли в гости... только для того, чтобы передать привет, должны же вы удостовериться, что попали по адресу.

Карстнер откинулся на подушки и прикрыл глаза.

— Да, я принес вам привет... От Янека... Слава богу, что все так кончилось... Что это была за стена?



— Какая стена?

— Перед чердачной лестницей. Я уж думал, что мне конец. Только она вдруг исчезла... А потом появилась опять.

— Наверное, у вас жар. Никакой стены перед чердачной лестницей нет.

— Но она была...

— Ее не было.

Человек с седыми висками больше не улыбался. Спокойно и уверенно он смотрел на Карстнера.

— Да, вы правы. Это от переутомления. Никакой стены не было,— тихо ответил Карстнер.

— Ну, вот видите... Вам мешает свет, я погашу.

— Нет, благодарю. Я не буду спать. Если можно, дайте мне поесть.

— Хорошо,— сказал человек и опять улыбнулся.

Карстнер подумал, что никогда еще не видел таких веселых и умных глаз.

— Постойте! — позвал Карстнер, когда человек был уже в дверях. — Не уходите. Значит, зэсовцы за мной тоже не гнались?

Человек развел руками.

— Где вы меня нашли?

— На улице. Возле дома.

— Не на седьмом этаже? И я могу, не опасаясь, выйти на улицу?

— Вы мыслите удивительно нелогично, дорогой мой. Если вас вчера никто не преследовал, то не значит, что так будет сегодня, завтра, через месяц. К человеку, который знаком с Янеком, гестапо всегда питает известный интерес.

— Да,— сказал Карстнер.— И еще у меня нет документов.

— Ну, вот видите! У вас слабое здоровье, вы даже потеряли сознание на улице. Из одного лишь чувства сострадания вам нужно помочь... Надеюсь, вы понимаете?

— Да. Мне очень повезло, что я потерял сознание как раз у вашего дома...

— Вот ваши документы,— сказал человек с седыми висками.

Карстнер внимательно рассмотрел заграничный паспорт, удостоверение личности, солдатскую книжку и брачный контракт. Документы выглядели безукоризненно.

— Почти как настоящие,— сказал он.

— Бланки, во всяком случае, настоящие,

— Когда мне нужно сматываться?

— Сегодня. Вот железнодорожный билет и разрешение на выезд в Данию. Теперь деньги... Тысяча марок и на сто марок мелочи. А это семьдесят английских фунтов, пятифунтовыми купюрами.

— Это же целое состояние!

— Не обменивайте за один раз больше одной купюры.

— Фальшивые?

— Нет, настоящие. Только номер у них одинаковый.

— Ну, ясно, фальшивые.

— Если будете пускать в ход по одной, их примут даже в Сити.

— Местного производства? — спросил Карстнер, кивнув головой на закрытую дверь, за которой гудели какие-то электрические приборы.

— Нет. Здесь просто частная физическая лаборатория...

Карстнер спрятал документы и деньги во внутренние карманы нового тщательно отутюженного пиджака.

— Сегодня к вечеру будет хорошая погода. Небо чистое, ясный спокойный закат... Вы уверены, что человек, который послал вас в Маллендорф, умер?

— Я последний видел его живым. Это было в лесу...

Карстнер оборвал рассказ на полуслове. Он понял, что человек с седыми висками знал о нем все.

— Забудьте обо всем, кроме того, что вы солидный коммерсант, отправляющийся в деловую поездку, — сказал человек.

— Обо всем?..

— Да.

— Хорошо... Вы только скажите мне, была ли та стена?

— Нет.

— Я могу еще раз увидеть это место?

— Не стоит привлекать к себе внимание.

— А потом... когда все это кончится, вы скажете мне больше, чем сегодня?

— Я бы очень хотел, чтобы мы с вами дожили до тех дней. Когда они придут, многое покажется не столь уж важным. Только что стало известно о покушении на Гитлера.

— Что?!

Карстнер впервые увидел под глазами веселого человека с седыми висками усталые морщины. И глаза, где-то на самом дне, хранили горечь.

— Вы правы, — тихо сказал он, — сегодня важно только одно. Перед этим все должно отойти на задний план. Мне уже пора?

— Скоро за вами заедет машина.

— А как покушение? Я уже понял, что оно не удалось.

Человек молча кивнул и вышел из комнаты. Вскоре он вернулся с большим красно-коричневым чемоданом.

— Здесь образцы товаров вашей фирмы и всякие мелочи, которые необходимы в дороге людям вашего возраста и положения. Машина уже пришла...

...Отправление экспресса Гамбург — Копенгаген почему-то задержали на два часа. Карстнер решил на всякий случай пообедать. Он зашел в привокзальную пивную и сел за длинный стол.

— Обед у нас отпускается только по мясным талонам, — сказал кельнер. — За деньги можно получить пиво.

«Чуть не влопался!» — подумал Карстнер и, повернувшись к кельнеру, пояснил:

— Видите ли, меня направляют за границу, и карточки я оставил жене. Мне ведь они будут ни к чему.

Кельнер понимающе кивнул.

— А где можно поесть за деньги?

— Вы приезжий?

— Я из Кеппеника, но много раз бывал в Гамбурге по делам фирмы.

— Тогда вы легко найдете «Адлон». Это близко, нужно только перейти площадь.

— Знаю.

— Там отпускают без карточек. Но цены...

Карстнеру вдруг стало страшно покидать душную накуренную пивную, куда-то идти, пересекать большую пустынную площадь.

«Слишком долго я был оторван ото всего этого... Можно провалиться на каких-нибудь мелочах, о которых не имеешь ни малейшего представления», — подумал он и, улыбнувшись, сказал:

— Для «Адлона» я не слишком-то богат, приятель.

Кельнер задумался и молча оглядел Карстнера.

— Могу предложить вам суп из бычьих хвостов, совсем свежий картофельный салат и шарлотку с грушевым джемом, — неожиданно улыбнулся он.

— Спасибо, дружище! И пива. Дайте мне кружку доброго гамбургского пива.

— Без талонов это все обойдется в двадцать четыре марки.

— Вот вам тридцать. Гоните две кружки!

Кельнер принес две высокие фаянсовые кружки пива и суп. В прозрачной водичке плавал кусочек настоящего куриного яйца.

Да и на вкус она показалась Карстнеру превосходной. Но пиво было отвратительное.

«Это оттого, что я отвык», — подумал он.

Насвистывая «Лили-Марлен», кельнер поставил перед ним салат и шарлотку. Карстнер благодарно кивнул.

За окном завывали сирены. Хрипящий репродуктор объявил о надвигающейся волне бомбардировщиков. Погас свет. Кельнер чиркнул спичкой и зажег перед Карстнером тусклую копилку. Такие же копилки затеплились на соседних столах.

Карстнер заволновался, что из-за воздушной тревоги не попадет на свой экспресс.

— Все равно до отбоя ни один поезд не тронется с места. Так что сидите лучше здесь, — успокоил его кельнер.

— Почему?

— Искры из паровозных труб хорошо заметны с воздуха.

— Ах, так...

— Да, ничего не поделаешь, — кельнер отошел от стола.

От первых разрывов мелко задрожали бутылки на буфете. Застучали пулеметы. Хрип в репродукторе напоминал дыхание астматика.

Хлопнула дверь. На пороге выросли темные фигуры эсэсовцев с бляхами на груди. Один из патрульных остался стоять в дверях, двое других медленно прошли в зал.

«Мне, как всегда, везет», — подумал Карстнер.

— Всем оставаться на местах! Проверка документов.

Эсэсовцы медленно обходили столы, подолгу разглядывая документы в свете сильного электрического фонаря.

Тоскливое предчувствие сдавило горло Карстнера. Он осторожно потрогал внутренний карман, проверяя, на месте ли документы.

Прямо перед Карстнером появилась широкая, в нетерпении раскрытая ладонь.

Карстнер нащупал пальцами заграничный паспорт и вытащил его из кармана. Унтерштурмфюрер включил фонарь. Осветил фотографию. Направил резкий свет Карстнеру в глаза. Бросил паспорт на стол.

— Командировочное удостоверение!

Карстнер достал командировочное удостоверение.

— Почему не в армии?

— У меня язва двенадцатиперстной кишки.

— Дайте солдатскую книжку.

Карстнер полез в карман. Солдатской книжки там не было. Он вытащил брачное свидетельство, медицинскую карточку, справку

о расовой полноценности, плацкарту,— солдатской книжки не было. Он отчетливо помнил, как человек с седыми висками вместе с остальными документами дал ему и солдатскую книжку. Фельдфебель запаса Пауль Дитрих, легко ранен на Сомме в 1915 году, награжден железным крестом, размер противогаза третий. Там говорилось и о язве двенадцатиперстной кишки.

Все это тревожно вспыхивало в памяти Карстнера, пока он лихорадочно ощупывал свои карманы. Он даже заглянул под стол, не упала ли случайно туда эта проклятая книжка.

— Ну?!

— Я, кажется, оставил солдатскую книжку дома, господин унтерштурмфюрер,— упавшим голосом сказал Карстнер.

Теперь он был совершенно спокоен. Он знал, что сейчас его заберут. Самое страшное уже случилось. Все остальное не стоит волнений.

— Вам придется пойти с нами.

— Возможно, солдатская книжка лежит в чемодане, господин унтерштурмфюрер. Мой чемодан в купе экспресса Гамбург — Копенгаген. Если вы позволите...

— Дайте вашу плацкарту.

Он взял плацкарту и осветил ее фонарем. Объявили отбой.

— Ташке! — унтерштурмфюрер подозвал второго эсэсовца. — Всех проверили?

— Точно так, унтерштурмфюрер. Все в порядке.

— На шестом пути вы найдете экспресс Гамбург — Копенгаген. Получите там чемодан вот по этой плацкарте.

Карстнер понял, что все кончено. И сразу вспомнил: не хватает только, чтобы при обыске у него нашли английские фунты с одинаковым номером. Унтерштурмфюрер стоял к нему спиной и разговаривал с Ташке. Неуловимым движением руки, на которое способны только карманные воры и люди, прошедшие концентрационные лагеря, он вытащил бумажник и по уклону далеко задвинутых под стол ног спустил его на пол. Бумажник упал без звука.

— Пойдете с нами,— обернулся к нему унтерштурмфюрер.

— Но мой поезд, господин офицер... Я же не успею на поезд...

— Поедете следующим. Мы дадим вам справку.

— Но...

— Не валяй дурака! На выход, живо!

Теперь с ним разговаривали настоящим языком. Пререкаться не было смысла. Карстнер встал из-за стола, поглубже затолкал носком бумажник и с удовлетворенным видом человека, исполнившего свой долг, пошел к двери.

«Сказал я ей: «Дарю тебе сердца мое»,  
а она отвечает: «Ну что ж, для него у меня  
есть футляр на молнии...» И увидел я, что чужиха лицом  
благообразна и умом находчива. И тогда порешил я приобщить  
ее к лику святых пугем медленной пытки на костре любви...»

— Милыч! К тебе пришли.

Лаборант электрофизической лаборатории Института физики  
вакуума Роберт Мильчевский спрятал исписанный мелким почерком  
лист бумаги в стол.

Черти, не дают творчески поработать. Похоже, Вадька так и не  
получит завтра этого письма. Придется дописывать дома. Неприятно.  
В отделе создается явно нездоровая атмосфера. Скоро дело  
дойдет до того, что весь рабочий день придется посвятить выполнению  
плана или беседе с посетителями. Грустно, девушки.

Мильчевский вышел в институтский коридор, длинный, как очередь  
в столовую, когда хочется есть. Солнечный свет из огромного  
окна падал на серый пластиковый пол, усиленно шлифуемый в  
течение рабочего дня подметками докторов, кандидатов и неостепененных  
товарищей.

Театр начинается с гардеробной, так полагал великий режиссер.  
Наука кончается в коридоре, так думал Милыч. Зато начинаются  
дипломатия и сплетни. Здесь ученые бросаются идеями, обмениваются  
симпатиями, заключают союзы.

Зеленые стены коридора разрезались на узкие полосы многочисленными  
белыми дверьми с табличками и надписями: «Вход строго воспрещен»,  
«Сектор испытаний», «Вход воспрещен», «Лаборатория № 11», «Вход  
посторонним воспрещен», «Научно-технический отдел», «Лаборатория  
волновой функции», «С огнем не входить», «Брось папиросу» и так далее.

Возле залитого светом окна стоял молодой человек, нетерпеливо  
барабанил костяшками пальцев по подоконнику. Вокруг его гладко  
причесанной головы разливалось радужное апостольское сияние, за  
спиной сонм мечущихся пылинок поднимал и опускал легчайшие  
ангельские крылья.

Мильчевский сразу узнал эту фигуру, тонкую и подвижную, похожую  
на вопросительный знак. Патлач собственной персоной. Патлач — назло  
густо набриолиненным волосам, Патлач — отрицание новенького, только  
что с плеч заезжего туриста, костюмчика а ля Пари, Патлач — выражение  
внутренней разболтанной патлатой сущности. Вот он, в одежде херувима  
с крыльями и нимбом, окруженный со всех сторон запретами и надписями  
и... ничего! Не хватает

только арфы, но она, очевидно, в одном из его бездонных карманов.

Мильч поморщился. Появление Патлача в коридоре научного института его шокировало. По его мнению, этот тип вообще персона нон грата, хотя и вполне годится для специального использования...

— Хм,— сказал Патлач вместо приветствия.— Качаешь науку с боку на бок? Двигаешь ее в сторону?

— Ты озверел? Чего заявился? Как нашел меня? Я же...

Патлач прищурился.

— Совершенно срочно нужно получить с одного будущего нобелевского лауреата небольшой должок за контрабандный японский транзистор.

Мильч покраснел.

— Была же договоренность на конец того месяца,— проговорил он.

— Что делать, времена меняются, цены поднимаются,— беспечно сказал Патлач.— Нужны бабли. Сегодня!

— Я сейчас не могу,— глухо ответил Мильч.

Патлач помолчал, расковыривая носком узкого туфля шов на пластиковом полу.

— Я так и думал, Эти мне Эйнштейны без сберкнижки. Тогда вот...

Он вынул из кармана пиджака плоскую длинную коробку.

— Небольшая услуга. Пусть полежит здесь денька два. В субботу принесешь к «Веге».

— Нет,— сердито сказал Мильч. Его и без того тонкие губы сжались в ниточку.

— Не надо,— мирно сказал Патлач.

— Что не надо? — возмутился Мильч.

— Не надо спорить. Моя просьба — пустяк, и ее следует исполнить.

В голосе Патлача было что-то, заставившее Мильча протянуть руку к коробке. Едва опустив ее в карман, он обнаружил, что собеседника уже нет. Был и исчез. Растаял, как эфемерида. Мильч тихонько ругнулся и пошел в лабораторию. Хорошо, что никто не видел.

Обыкновенный шантаж, размышлял он, садясь за столик, заваленный диаграммами от электронных потенциометров. Сначала ты покупаешь у своего полуприятеля импортный приемник. Очаровательную сверкающую безотказную штучку. Назло соседям и друзьям, на зависть случайным знакомым и прохожим. Их взгляды греют твою душу. Ты единственный обладатель вещи редкостной,

почти уникальной. Потом тебе говорят, что таой идеал контрабандный. Может быть, кого-то где-то схватят и тебе придется фигурировать. Процесс, огласка, реакция на работе, реакция дома, реакция в институте. Сплошная химия. И вот неуверенной рукой ты впервые берешь краденую вещь, чтобы спрятать ее от усталой, сбившейся с ног милиции. Ты уже преступник, соучастник, барахольщик. Впрочем, у них, кажется, имеется точное определение для тех, кто прячет краденое. Как это... Неважно, Мильч, ты не помог майору Петрову с пронизательным взглядом светло-серых глаз, и бедняга будет курить до утра в своем кабинете папиросы «Казбек». Ты покатишься по дорожке, усыянной розами и шипами комфорта.

А что делать? За красивую жизнь приходится платить устойчивым советским рублем и красными кровавыми тельцами. Тельца объединяются. Золото с эритроцитом.

— Роби, о чем замечался? Готовь решетку. Дифрактометр пустим после обеда.

Ее приготовят другие. Вернее, она уже готова и ждет новых рук и новых глаз. Самая легкомысленная конструкция, придуманная людьми, это тюремная решетка. Ни одну любовницу не ласкают так долго и жадно, не спуская с нее восторженного взгляда, как это неостроумное сооружение из металла. Поклонники у нее не переводятся. Неужели же карие с поволокой глаза Роберта Мильча должны будут созерцать стальную абстракцию, ставшую на его пути к комфорту? Что же, это не исключено. Возможно, майор Петров уже записал эту коробку под тридцать шестым номером в длинном списке вещественных доказательств. А возможно... Все возможно!

Мильч осмотрелся.

Вот стол, диаграммы, приборы, сотрудники, окно, солнце за ним, но... где я? Меня уже нет здесь, я ушел в иные дали... А может, выбросить? Есть же канализация, она собирает всякие отбросы. Так почему бы ей не принять в свое лоно ошибку, промах и неудачу человека? Отличная система, человек нагрешил, наблудил, накуролесил, потом понял, сходил куда надо и очистился.

Но, может, ничего страшного? Просто ловкий ход Патлана, чтобы затянуть в их капеллу. А капелла у них страшная, детгобразная. Но тогда, чтобы скомпрометировать меня, нужно пустить по этому следу майора Петрова. Возможно, этот сероглазый товарищ уже набирает номер телефона нашего института и тогда... Срочно выбросить!

Подумаешь, деньги за транзистор. Отдам через месяц. Контрабанда? А откуда знал?

Мильч встает и идет к двери, придерживая полу пиджака.



— У вас болят зубы, Роберт? — спрашивает кандидат физико-математических наук Епашкина.

— Одаряет же природа людей, — отвечает Мильч. — В вашем лице, Ольга Ивановна, блестяще сочетался врач-электрик и физик-терапевт.

— Вам следует еще поработать над своим остроумием, Роберт, — говорит Епашкина, — в таком виде оно недопустимо для пользования в общественных местах.

— Мой юмор носит камерный характер. Я горжусь этим.

Мильч бежит в туалет. Запирается, судорожно срывает обертку с коробки и открывает ее. Дюжина золотых часов с кольцевыми браслетами! Лежа на черном бархате, они напоминают членистое тело неведомого насекомого. Мильч несколько секунд оцепенело смотрит на часы, затем осторожно вынимает одну пару.

— Швейцария, — шепчет он. Из забеленного окна падает тусклый зимний свет и, отразившись от золота, желто-зеленой слизью ложится на лицо лаборанта.

Прекрасные вещи. Изумительные. Многодневный человеческий труд. Неужели он должен погибнуть? За что? Скормить продукт цивилизации, прогресса и техники этой эмалированной белой глотке? А впрочем, металл нельзя отправить таким путем в канализацию. Он не преодолет барьеров, расставленных инженерами.

Мильч закрывает коробку и выходит. Видит бог, товарищ Петров, я хотел быть честным. Но не могу ради этого дать пощечину своей бабушке. Дилемма очевидная: или бабушка или честь. Я за бабушку. Это она твердила мне на протяжении всего моего затянувшегося детства, что я должен беречь вещи, уважать вещи, любить вещи. Их делали люди. Я не хочу обидеть людей и оскорбить память моей бабушки. Считайте меня соучастником, майор Петров!

Он снова пошел в лабораторию. Сотрудники возвращались с обеда, обмениваясь впечатлениями о сегодняшнем меню. Аспирант Вася расхваливал гуляш, механик Андрей Борисович превозносил лангет, а младший научный сотрудник кандидат наук Интерсон, страдавший язвой желудка, определил обед одним словом — «помои». Он питался протертым супом и рисовой кашей.

— Вам, Кулешов, следует изменить фамилию на Гуляшов, — ядовито заметил Интерсон, обращаясь к Васе. — Тогда ваше пристрастие к этим осколкам барашка под томатным соусом будет генетически оправдано.

— Ваша беда в том, Леонид Самойлович, — сказал Вася, — что вы не занимаетесь спортом. Займитесь физкультурой и у вас появится огромная потребность в мясе. Вы, случайно, не гурист?

— Нет. Я язвенник, — ответил Интерсон, зарываясь в бумаги.

Последним пришел Геннадий.

— Что я видел! — воскликнул он. Не ходившая обедать Епашкина оторвалась на секунду от манометра Мак-Леода, подняла очки на лоб и молча посмотрела на Геннадия.

— Я видел, как забирали одного типа в нашем переулке. Чистая работа! Идет мне навстречу мимо нашего института длинный парень. Из стилиг. Урод классический. Нос бананом, глаза — булавки, так и бегают по сторонам. К нему подошли двое, один показал какую-то книжку, парень туда-сюда, они его под ручки, в машину и будьте здоровы. Операция длилась тридцать секунд. Здорово!

— Ты засекал время?

— Ребята, наверное, поехали на именины. Тебе, Геннадий, придется на время воздержаться от чтения книг «Библиотеки военных приключений».

Мильчевский похолодел. Патлача взяли! Взяли на выходе из института. Взяли длинного Патлача, без взаимности любившего красивую жизнь. Нужно что-то срочно предпринять. Поехать домой, сославшись на головную боль и ревматические явления в суставах? Отпадает. Если Патлач расколется, майор Петров прежде всего заявит на квартиру. Значит, нужно прятать здесь. Но не в столе же, конечно.

Внезапно его осенило. Есть! Как это он сразу не сообразил. Склад! Их лабораторный склад для приборов и оборудования. Комната-коридор в полуподвале с одиноким окошком в углу. Отличное убежище!

Через несколько минут Мильч вошел в склад, плотно притворив за собой дверь. Куда спрятать? Неровен час — кто-нибудь нагрянет за прибором и обнаружит продукцию швейцарской фирмы. Можно, конечно, положить в ящик, где лежит всякое барахло, но... это все равно, что прятать в стол. Если Патлач... Да, нужна нейтральная почва, ничейная зона, заброшенный островок.

Его взор остановился на металлическом шкафу, стоявшем под складским окном. Толстый, в палец, слой пыли покрывал его верх. Серо-зеленая краска во многих местах облезла, обнажив ржавое изъязвленное тело. Потемневшая от времени металлическая пластина сообщала, что он изготовлен в Германии фирмой с таким чертовски длинным названием, что его хватило бы для обозначения всемирной корпорации по изготовлению всех сейфов и шкафов.

К немецким дверцам были приварены русские петли, а в них висел огромный амбарный замок, который не запирался. Мильч снял замок и заглянул внутрь. Там стоял ящик с ветошью, банки с машинным маслом, кольца дюрелевых трубок и прочий невыразительный хлам.

Мильч быстро засунул коробку с часами под ящик с ветошью, захлопнул шкаф и вышел со склада.

Два часа, оставшиеся до конца работы, тянулись медленно, как ожидание в парикмахерской перед праздником. Наконец все ушли, кроме, конечно, Епашкиной. Мильч задержался под предлогом проверки какой-то схемы. Кто-то сегодня жаловался, что прибор барахлит.

Епашкина вновь и вновь запускала вакуумную установку. Насосы мягко стучали, Ольга Ивановна не отводила настороженного взгляда от шкалы манометра. Мильч бросал пламенные косые взгляды на кандидата физ-мат наук. В поле зрения попадался только кусок чистого выпуклого лба Епашкиной и глаза, казавшиеся за толстыми стеклами очков крохотными голубыми льдинками.

Пропади ты пропадом, мадемуазель! Неужели твоя страстность не может найти более достойного объекта, чем этот Мак-Леод? Разве свет клином сошелся на манометре, придуманном шотландцем? Уважаемая, оторвите на секунду взгляд от стеклянной завитушки и обратите его на прекрасный внешний мир! Там кипит настоящая жизнь, там сосредоточены простые удовольствия, из которых и складывается то, что мы именуем радостью. Все там, за окном: бархатное пиво, сигареты «Шипка», венский балет на льду.

Наверное, сгорела эта лампа. Вечно они горят, проклятые. Надежность, безнадежность. Нужно проверить...

— До свиданья, Роберт,— над самым ухом Мильча пропела Епашкина. Он вздрогнул и посмотрел на часы. Было без четверти восемь. Закрыв дверь за Ольгой Ивановной, Мильч ринулся на склад.

Вот досада, на складе всего одна лампочка и та тусклая, запыленная. Ничего не видно. Днем хоть свет из окошка помогает. Он судорожно рылся в шкафу. Сначала ему показалось, что коробки в том месте, куда он ее сунул, нет. Пришлось выгрести все содержимое шкафа на пол. Коробка лежала на дне, в углу. Мильч взял ее и вытер рукавом. Он подумал, что, собственно, ситуация не изменилась, и часы по-прежнему нельзя везти домой. Пусть они сегодня еще побудут здесь. А завтра... Впрочем, если Патлача взяли, то отдавать товар некому и придется держать его у себя неопределенно долгое время. Несколько мгновений Мильч стоял в раздумье, поглаживая коробку испачканными пальцами.

Наконец он решился. Пусть этот шкаф станет его тайником. Благо, в него заглядывают раз в год по обещанию. Роберт принялся исследовать шкаф, отыскивая подходящее место для коробки. Внутри этот странный сейф был совершенно гладкий, без выступов и полочек. Никаких карманов, пазов или ниш не было. Только вверх

виднелась нарезка, напоминавшая патрон для электролампочки. Значит, шкаф можно осветить.

Мильч притащил электрошнур, подсоединенный к клеммам главного рубильника лаборатории, и лампу. Она ввинтилась довольно легко. Роберт стал искать розетку, чтобы подвести ток, но ее не оказалось. Напрасно ощупывал он шкаф изнутри и снаружи. Поверхность его казалась холодной и гладкой. Странно, патрон, вмонтированный в корпус есть, а подводы нет. Он с усилием отодвинул шкаф от стены. Задняя стенка тоже была гладкой, как полированный стол. Она даже не поржавела. Может, провода сняли? Кому-то понадобился электрошнур, а кому-нибудь розетка.

Роберт осторожно положил шкаф на бок и осмотрел его днище. К своей радости, прямо в центре он обнаружил четыре дырочки, расположенные крест-накрест. Вилка от проводов в эти дырочки не входила. Пришлось разобрать ее и вставить прямо туда оголенные концы. Лампочка не загоралась. Он изменил положение концов, но лампочка оставалась темной.

Обозленный лаборант рывком возвратил шкафу вертикальное положение и проверил лампочку. Она слегка раскачивалась, значит, нет контакта. Мильч влез в шкаф и снова начал вворачивать лампочку. Но она упрямо не хотела гореть. Тогда он махнул рукой на освещение. Хорошо бы соорудить в шкафу двойное днище и там спрятать коробку. Мильч уложил собственность Патлача на дно шкафа и прикинул размеры.

Затем отправился на поиски материала для ложного дна. На складе ничего подходящего не оказалось, и он перенес поиски в лабораторию. Довольно скоро удалось найти большой кусок темно-серого твердого пластмассового листа. Отлично. Этот фиговый синтетический листок прикроет срам Патлача. Вдруг до ушей Мильча донесся шум. Трэк, трэки! — словно треснуло стекло. Звук шел со склада. Мильч бросился туда, не выпуская из рук пластмассы.

В дверях он остановился. Ага, загорелась-таки, упрямая! Внутренность шкафа светилась. Голубой с лиловым свет лился на пыльный пол, где четко отпечатались рифленые подметки Мильча. Станный свет, как от сварки. Роберт подошел поближе и заглянул внутрь, из горла его вырвался судорожный вскрик.

Лампочка в шкафу оставалась по-прежнему темной. Светились днище и стенки. Они стали прозрачными и мерцающими, как экран телевизора. Под светящимся покровом виднелись тонкие прожилки красных проводов. Трубки, сферы и диски таяли, дрожали, как мираж в пустыне. Казалось, это неустойчивое изображение неведомого аппарата, запечатленное внутри шкафа, вот-вот исчезнет. Но оно

все проявлялось, вырисовывалось, пока не приобрело материальную четкость. Тогда началось движение.

Все, что было как бы нарисовано на стенках и днище, сошло с них и, материализовавшись, замкнулось внутри шкафа в фигуру поразительной формы. В центре было большое овальное отверстие, срезанное на одну треть днищем, поднявшимся кверху вместе с коробкой Патлача. В такое отверстие свободно могла бы пройти голова человека. Остальные детали расположились вокруг овала в каком-то произвольном гипнотическом танце. Они непрерывно меняли свое положение, излучая свет и звук. Миллионы радужных бликов, отраженные внутренностью шкафа, слепили Мильча. Он с ужасом смотрел на коробку с часами, растворяющуюся в потоках света. В плотном воздухе повисла жужжащая, убаюкивающая мелодия. Пчелиный хор...

Внезапный удар сбил Мильча с ног. Наступила полная тьма. Лежа на полу, он осторожно ощупал себя. Кажется, цел. Он вскочил на ноги. Что это было? Или он сошел с ума от страха? Сияющий, как врата рая, шкаф... Это было или только привиделось? Нет, на затылке, кажется, имеется вещественное доказательство. Да и свет почему-то не горит.

Что за взрыв?

Мильч ощупью пробирался к выходу, натываясь в темноте на острые углы металлических стоек. До него донесся запах горелой резины. Переступая порог, он схватился рукой за провод. Тот был мягкий и горячий. Матерчатая изоляция легко расплзлась под пальцами.

В лаборатории неистовствовал телефон. Мильч с трудом нашарил аппарат.

— Что вы там включаете?! — орал дежурный электрик. — У нас полетели все вставки!..

— Ничего мы не включаем, — сказал Мильч, — может, это у высоковольтников?

— Вы мне голову не морочьте! Я знаю схему энергоснабжения института. Это ваша секция! Проверьте, нет ли короткого.

— Хорошо, проверю, — сказал Мильч и положил трубку. Он сидел в темноте, схватившись за голову. Руки дрожали. Как, в сущности, близко он был от гибели. Что это за аппарат? Откуда он взялся? Старый ржавый шкаф. Кажется, в нем перевозили кое-какую аппаратуру из Германии после войны. Простоял двадцать лет, успел заржаветь... и никто... Неужели никто не догадался подвести к нему ток? Он служил для всякого хлама. Кому могло прийти в голову, что его можно разбудить электричеством. Ведь там даже проводов не было. Только мое невежество и... затруднительность

ситуации... Ну, как теперь быть? Возможно, это что-то вроде бомбы, какой-нибудь запал... Но это же ни на что не похоже!

В лаборатории вспыхнул свет. Мильч вскочил и бросился к рубильнику. Рывком отключил питание шкафа. Затем осторожно снял провода с клемм и, наматывая их на согнутый локоть, пошел на склад. Тут сильно пахло жженой изоляцией.

Шкаф стоял по-прежнему грязный, пыльный и пустой. Мильч выдернул из-под него концы провода и спрятал моток в углу. Затем подошел к шкафу и принялся его рассматривать. А может, это бомба замедленного действия?

Его охватил панический ужас и он хотел было бежать, но вспомнил о коробке с часами. Что с ней? Он заглянул и увидел на дне знакомые очертания. В глазах у него двоилось. Мильч осторожно протянул вперед правую руку и пригнулся. Левой он задел за дверцу и вздрогнул. Металл был теплый.

Резкий стук в дверь заставил его выпрямиться. Стучались в лабораторию. Отделенные двумя комнатами от склада, стучавшие, казалось, хотели высадить двери.

Мильч заметался. Его руки торопливо подхватывали ветошь и забрасывали в шкаф, туда же полетели банки с маслом и дюралевые трубки. Повесив ржавый амбарный замок, он выключил свет и выбежал со склада.

— Почему запираешься? — грозно спросил главный электрик Иванов громовым басом. — Что натворил?

— Это определенно у них, Викентий Павлович, — сказал дежурный техник. — Слышите, как резиной пахнет?

— Я ничего особенного не включал. Свет да паяльник. Ремонтирую потенциометр, — устало сказал Мильч. — А впрочем, ищите, обнаружите что — казните.

...С непокрытой головой шагал Мильч по Пушечной улице. Шел крупный ласковый снег. Небо было близкое и нежное. Бархатные снежинки ласкали щеки и лоб. Окна домов и магазинов напоминали елочные лампы. Мужчины, облепленные снегом, были похожи на дедов-морозов, а женщины — на снегурочек. На тротуаре и на проезжей части валялись огромные целлофановые пакеты. Удивительные пакеты. В них были завернуты автомашины и квартиры, мебель и ковры, фрукты и золото, книги и бриллианты. В них было все, чего жаждет современный человек. Телевизоры, яхты, роскошные номера в модных гостиницах, пальмы на берегу моря. Одним словом — все.

Рог изобилия, огромный, невероятный, чудовищных размеров,

парил над Москвой. Мильч раскачивал его, ухватившись за самый кончик, и на землю сыпались пакеты со счастьем. Они медленно опускались вместе со снегом, большие, тяжелые. Но их почему-то никто не поднимал. Их просто не видели, не замечали. Люди горлопиво пробегали, наступая на фарфоровые вазы и драгоценный мех. Машины проезжали сквозь комнаты, уставленные дорожными гарнитурами, дети швыряли снежки в роскошные бальные платья, разложенные на полированных столах.

Вы не видите Рог изобилия, друзья? Он здесь, он над вами. Пакеты счастья падают из него, подбирайте их, дорогие, в них есть все, что вам нужно! Ах, вы и пакетов не замечаете? Ну, тогда... я не знаю. Как дать счастье слепому? Он ведь не сможет его взять. Гм, придется вложить ему счастье прямо в руки.

Рог изобилия принадлежит вам, друзья. Вы заслужили его, работали. Вы имеете на него право. Ах, это право страдальца, право лишенного. Таков удел человека на нашей планете.

Вы получите Рог изобилия. Вы уже почти умеете им пользоваться. Вам осталось только научиться крутить у него хвостик. Вот так, как делаю я. Вправо — пакет, влево — пакет, вправо — пакет...

Но сначала... сначала, дайте мне одному поиграть с ним. Все равно он не минет вас, не правда ли? Пусть перед этим хоть немного побудет моим, ладно? Вы не слышите меня, друзья, вы торопитесь, вы заняты, у вас дела. Ваше молчание я принимаю за согласие, хорошо? Ну, вот и отлично. Очень рад. Я же люблю вас, люди. Милые, славные, дауногие... глазастики...

— Пьяная морда, глядеть надо!

### 3

— Верушка, дорогая моя, мне не очень хочется об этом говорить, но ты мать, а мать должна знать всю правду, иначе какая она мать? Неделю назад, как сейчас помню, в воскресенье, появился твой Роберт ко мне. Ну, ты знаешь, как он приходит. «Здравствуйте». Двадцать секунд молчания. «Ну, я пошел, тетя Ната, меня друзья ждут». В то воскресенье все было как обычно. «Здравствуйте». Зевнул, посмотрел по сторонам и вроде углядел что-то. Я сразу заметила, что вид у него стал, как у кошки перед кринкой со сметаной. Безразличный такой, а у самого глаза бегают. Одним словом, то-се, через некоторое время следует вопрос, что, дескать, за камень у меня на перстне. Бриллиант, отвечаю, натуральный бриллиант. Я обычно этот перстенок ношу, а в тот день как раз сняла,

что-то подагра моя разыгралась. Кольцо лежало на столе, рядом со мной, вот Роби его и заприметил. Ну, я тогда особого значения не придала его вопросам, многие перстеньком интересуются, оно и понятно. Работа старинная, шуточное ли дело. Ну, я спокойненько ему отвечаю на все вопросы, вдруг он говорит: «Тетя Ната, дайте мне перстень на один день». Зачем, спрашиваю. Пошел врать, как он умеет, без запинки. Есть, дескать, музей под Москвой, где он точиюсенько такой же перстень видел. Ему интересно, видите ли, сравнить. Он пригласит своего приятеля, кандидата искусствоведения и т. д. и т. п. И так заговорил мне зубы, что я дала ему кольцо на понедельник, а во вторник он обещал его вернуть. Неосторожность? Конечно, неосторожность. Но чего не сделаешь для любимого племянника! Нет, нет, Верушка, ничего такого, что ты подумала, не произошло. Послушай дальше.

Во вторник приносит он мне кольцо, «спасибо», говорит, оказались совершенно одинаковые экземпляры, сделанные каким-то мастером, работавшим еще при Николае I. Ну, одинаковые, так одинаковые, леший с ними. Я взяла кольцо, спрятала в свою шкапулку и забыла про него. Склероз, родная моя, склероз. Годы-то какие. Я как посмотрю на нашу молодежь — она в двадцать лет ничего не помнит, а к семидесяти совсем обеспамятееет, из ума выживет. Так что наше старое дерево еще поскрипит. Да, так вот. Я тебе про Роби все толкую. Сегодня захожу я в комиссионный магазин, что на Колхозной, чисто, светло там и пахнет хорошо, не то, что в этих гастрономах. Ну вот, зашла я, интересуюсь подстаканником ко дню рождения Василия Пантелеймоновича. Как водится, все осмотрела, и посуду, и часы, и сережки, и кольца. Глядь, а среди колец мое красуется! Ты представляешь? Вот тебе и не может быть!

Но ты погоди, погоди... Ну, что заладила — твой сын, твой сын. У всех сыновья. Дослушай до конца. Я так и обомлела. Смотрю на палец, кольца нет, смотрю на витрину — кольцо есть. Глаза мои разбежались. Я же его знаю, как своего ребенка. Андрюша-то мой это кольцо ко дню свадьбы преподнес. Ущербинка там есть одна. Малозаметная, правда, но я ее сразу увидела. Мое кольцо, и все тут. И главное, что меня взбесило, цена тут же на веревочке привязанная лежит, и цифра на ней... раза в полтора ниже той, что мне давали, когда я с ним ходила приценяться на Большую Полянку. Требую я директора, говорю, что кольцо мое. Что? Роби подвела? Ну, знаешь, если б все было, как ты думаешь, тогда его стоило бы и не туда подвести. Ты послушай дальше. Директор спрашивает, чем вы можете доказать, что оно ваше. Мне ли его не знать, говорю, это редкостное изделие я пятьдесят один год на пальце ношу.



Сказала я и вдруг вспомнила, что Роби-то кольцо вернул и я спрятала его в шкатулку. И тут со мной как бы раздвоение наступило. Смотрю на кольцо, оно мое! На нем и дата нашей свадьбы, инициалы А и Н, с такими хорошо знакомыми завитушками. А с другой стороны, помню, что вчера вечером шкатулку отпирала, кольцо было там. Когда кольцо поступило в продажу, спрашиваю. Во вторник. Три дня назад, значит. А кто сдавал, спрашиваю. Молчанов, и адрес мне незнакомый. А приемщица описывает парня, ну, точь-в-точь Роби. Вижу я, что дело нечистое. Может быть, ошиблась, говорю. Тут директор на меня набросился. А заодно и на всех пенсионеров. Мы у них, видишь ли, поперек горла стали. Вечно все забываем и путаемся, одни беспокойства от нас. Ну, я тоже в долгу не осталась, вернула ему парочку словечек, чтоб он не очень зазнавался. И потихоньку отбыла домой.

Приехала и сейчас же бросилась к шкатулке. Там лежит колечко с бриллиантом, с ущербинкой, с датой и вензелями. Я так думаю, что Андрей подарил мне тогда это кольцо из-за этой ущербинки. Не любил держать у себя треснутые вещи. Ну, да ладно, в одиннадцатом году дело было. Позвонила я Роби на работу, сделала ему внушение. Смеется, нехристь, уверяет, что случайное совпадение. Хорошее совпадение,— а дата, а инициалы, а вензеля, а ущербинка? Решила я рассказать тебе, Верушка, чтоб ты прекратила это баловство... Если их вовремя не остановить...

#### 4

Черныш проснулся совершенно счастливым.

— Я буду всегда молодой,— пропел он, вскакивая с кровати. Голос прозвучал глуховато и нахально.— Все равно,— повторил он.— Все равно я буду молодым сколько захочу.

Он прошлепал босыми ногами к окну. За дымчатым голубым стеклом занимался морозный рассвет.

— Отлично,— сказал он,— сегодня снег будет золотой, солнце яркое, и меня ожидают одни лишь удачи.

Помахав руками, сделал несколько резких наклонов, затем побежал в ванную. Там он долго плескался и заливисто хохотал.

— Тетя Наташа,— сказал он, стирая капли воды с жестких, как проволока, волос,— тетя Наташа, вы с каждым днем все красивее.

Тетка улыбулась одними глазами. Она поставила перед ним

глазунью с багряными пятнами желтков и стакан прямо-таки обжигающего кофе.

— Ешь, ешь, болтушка,— проворчала она.

Черныш ел. Яичница таяла во рту, масло приятно холодило нёбо.

— Надень шапку,— строго сказала тетка, провожая его к выходу.

— Придется. Хоть и не хочется, а придется.

Он подмигнул ей, просунув голову в дверь.

— Я уйду, но я вернусь. Ожидайте моего появления. Я буду велик и лучезарен.

— Беги, болтун, опоздаешь. Смотри там, осторожней.

— Работа у нас такая, сама понимаешь какая,— запел Черныш, прыгая через ступеньки.

Он выбежал на улицу и зажмурился. Солнце взошло над крышами. Снег сверкал мириадами разноцветных блесков. Машины неслись, люди спешили. Все казалось неожиданным и острым, словно было увидено впервые.

У человека всего две руки и две ноги. И пара глаз. И еще кое-какие детали. Мозг, сердце, легкие. В целом как будто не так уж и много. Но как приятно, когда все это ловко пригнано и налажено. Когда нигде не болит и ничто не мешает, а только радует. Радует и торопит. Давай, давай, не даром у тебя две руки, две ноги и два глаза. Шевели, парень, действуй...

Черныш втискивается в вагон. Здесь ему хочется как-то действовать, шуметь и радоваться. Он полон энергии. Сияющим взглядом обводит он окружающих людей. Хорошо бы сделать такое, чтобы они все зашевелились, заулыбались...

Но люди, как правило, молчаливы, серьезны, чуть скучноваты. Они едут на работу, у них много сложных дел и забот, им не до Черныша. Они и не подозревают, какой у него сегодня день.

А впрочем, ничего особенного. День как день. Просто один не совсем оперившийся птенец получит сегодня право взлета. Он поднимется в воздух, оторвавшись от ветки, к которой долгое время был привязан невидимой ниточкой. Полетит он или нет, неважно. Главное — ощущение самостоятельности. Наконец-то он что-то может делать сам, хоть крыльями в воздухе потрепыхать...

Черныш взбегаёт по лестнице, улыбаясь встречным девушкам. Его глаза сейчас, как большие невидимые руки. Они обнимают мир и ласково глядят его.

Сойдя с автобуса, он сразу увидел здание института. Скучные желтые стены. Каждый год в конце октября их красили охрой, но в мае они уже выглядели старыми, поблекшими. Зато сейчас этот

дом сверкал, как турмалин. И в этом доме его ждет чудесная метаморфоза.

В эти дни работа в архиве по-настоящему увлекла Черныша. Он спешил в библиотеку, как на свидание. И каким славным человеком казался ему библиотечарь Алексей Степанович Яриков! Любезный, предупредительный, спокойный... Он осыпал Черныша потоком интереснейшей информации. Вырезки из газет, такие аккуратные и многочисленные, наклеены на зеленый картон, журнальные статьи, копии протоколов, свидетельские показания, данные различных тонких анализов. Черныш с азартом пытался направить в нужное русло эту реку чужих страстей и борьбы. Он чувствовал себя преотлично.

Особенно пришлось ему по душе информационно-логическая машина. Она занимала заднюю комнату архива, напоминавшую кабину атомного ледокола. По крайней мере так казалось Чернышу. Блестящие панели, хромированные углы, многочисленные кнопки и переключатели приводили его в совершенный восторг. Возле машины, как правило, дежурил кто-нибудь из программистов. Все это были молодые молчаливые ребята.

— Отличная штука, самая современная техника! — восхищался Черныш. Глаза его сверкали, как у мальчишки при виде самоката.

— Да, ничего, — соглашался Алексей Степанович, — пока работает. Правда, мы держим ее на скромной роли библиографа, но и то помощь от нее велика.

— Разве она не способна выполнять логические операции?

— Конечно, способна. Это мы, к сожалению, не способны задать ей достаточно простую программу. Я имею в виду задачу, которая устроила бы эту машину. Вы же знаете, какие у нас проблемы, всегда очень сложные, множество факторов... Впрочем, несколько раз она нам очень здорово помогла.

— Какой марки эта машина?

— Сделана она на базе «Урала» последней модели, но значительно расширена и переоборудована. К нам она попала из Медицинской академии. Они использовали ее для диагностики.

— Задачи сходные, — задумчиво сказал Черныш.

— Конечно. У медиков машина работала в качестве универсального врача: терапевт, хирург, психиатр. Ей приходилось перерабатывать колоссальное количество информации. У нее очень емкая память, и для наших дел такая память очень нужна. Так что и в теоретических исследованиях на нее можно рассчитывать.

— Интересно...

В тот же день Черныша вызвал начальник отдела Гладунов.

— Как дела?

— Знакомлюсь, читаю, систематизирую!

— Ну и что?

— В голове сплошная каша,— честно сознался Черныш.

— Что ж, этого следовало ожидать,— задумчиво сказал Гладунов,— следовало ожидать... Торопиться здесь нельзя.

Он замолчал, сосредоточенно глядя куда-то в сторону.

— Но вот в чем дело, дорогой мой,— внезапно сказал он,— мы-то можем не торопиться, но жизнь торопится. Есть одно срочное дело, которое я хочу поручить вам. Кстати, оно может придать конкретный целенаправленный характер вашим теоретическим изысканиям. Вы согласны?

Черныш наклонил голову. Конечно, согласен...

— Тогда пойдемте,— Гладунов встал.

В лишенной окон лаборатории сидел Захаров и просматривал при свете мощных рефлекторов какие-то фотографии. По просьбе Гладунова он извлек из массивного стального сейфа пачку денег и небрежно бросил ее на стол.

— Вот,— сказал Гладунов,— перед вами продукция, которая приносит преступникам тысячекратную прибыль. Фальшивки.

— Как валютный товар она дает еще больше,— заметил Захаров, на миг отрываясь от своих фото.

Черныш осторожно взял стопку. Она состояла из тоненьких пачек, аккуратно обклеенных белой бумажной лентой. В каждую входило пятнадцать-двадцать пятидесятирублевых бумажек. На лентах старательным девичьим почерком было написано: Москва, Киев, Ленинград, Ангарск и названия еще каких-то городов и населенных пунктов, о которых Черныш никогда даже не слышал.

— Эти деньги получены из банков разных городов Союза, куда они попали в основном через торговую сеть. Не исключено, что какая-то часть таких фальшивок до сих пор находится в обращении. Следственные органы направили их к нам на экспертизу.

— Они совсем как настоящие,— сказал Черныш, пощупав хрустящие бумажки.

— Это самые странные фальшивки, какие попадались мне за всю мою практику,— сказал Гладунов.— Они идеально сработаны. Просто ювелирно. Как правило, фальшивомонетчикам не удаются некоторые детали узора, отсутствуют водяные знаки, бумага не та или еще что-нибудь. Здесь же, за исключением номера, все в полном порядке. На сотню бумажек шлепнуть один и тот же номер! Очевидная глупость, ведь номер-то сделать уж проще пареной репы.

— Запад? — спросил Черныш.

— Вряд ли. Там тоньше работают. И номер и серия были бы подобраны правильно. Здесь что-то другое. Надо разобраться.

Это дело поручается вам, конечно, не одному вам, но все же основную работу выполнять будете вы.

Черныш согласно кивнул.

— Ну и отлично, приступайте. Захаров поможет вам разобраться. — Гладунов пожал Чернышу руку и величественно удалился.

— Ну, как старик? Не придирается? — спросил Захаров.

— Он неплохой.

— Кто говорит? Конечно, славный. Но не без чудинки. А?

— Может быть... Ну, ладно, расскажи, что делал с деньгами?

— Как положено, все анализы и полная экспертиза.

— Ну и что?

— А ничего. Деньги настоящие.

— Как настоящие? — Черныш сделал ударение на слове «как».

— Да! Если б не этот номер, они бы считались подлинными.

— Если бы да кабы. Давай документацию.

Прочитав заключение Захарова, Черныш удивленно уставился на него.

— Ты что? — наконец произнес он.

— А? — с отсутствующим видом отозвался Захаров.

— Послушай, ты в уме? Что ты пишешь? Билеты достоинством в пятьдесят рублей изготовлены на бумаге, применяемой для производства билетов Государственного банка СССР. Состав краски... посредством обычного технологического процесса, принятого на предприятии «Гознак»...

— А что я, по-твоему, должен делать?! — взорвался Захаров. — Врать? Изобретать? Искать невидимок? Я уверен, что они напечатаны на «Гознаке»... Ведь все совпадает: бумага, краска!

Черныш не знал, что возразить.

— Успокойся, — сказал он, помедлив.

— А мне нечего волноваться, — отрезал Захаров. — Я свое мнение высказал. Поэтому Гладунов тебя сюда и привел. Для вторичного контроля. Он уже не верит в мою объективность и с «Гознаком» не хочет связываться.

Черныш улыбнулся.

— Ладно, не волнуйся, — сказал он, — будет и у тебя попутный ветер.

— Не нужны мне твои утешения, — сказал Захаров, — смотри, сам не набей шишек на этом деле.

С этого дня у Черныша началась жизнь настоящего исследователя. Он успел повторить все анализы. Все было взято на вооружение: химия, полиграфические характеристики, электронная

микроскопия, рентген и даже анализ изотопного состава. К Алексею Степановичу ходить было некогда. Все время отнимала беготня по лабораториям. Приходилось много разговаривать, убеждать, добиваться, просить, протестовать. Жизнь была что надо.

Через несколько дней пришли результаты анализов. Черныш засел за проверку. Но хорошее настроение исчезло. Им овладело предчувствие неминуемого поражения. Так и вышло. Данные в точности подтверждали вывод Захарова: деньги изготовлены фабрикой «Гознак». Неужели, правда? Вот уж номер, так номер.

Черныш вновь и вновь сопоставлял анализы. Все то же. И никуда от этого не уйдешь. Все словно сговорились во что бы то ни стало подтвердить нелепую, невозможную версию о государственном предприятии, производящем фальшивки.

...Черныш осторожно, на цыпочках пробирается к вешалке, раздевается, затем проходит на кухню. На пластмассовом столике, покрытом желтой в голубых яблоках клеенкой, его дожидается еще теплый кофе, черный хлеб, молоко и мед в стеклянном бочонке. Он ест, пьет и думает. Запах пчелиного меда смешивается с ароматом болгарской сигареты «Джебел», мысли становятся спокойнее, упорядоченнее. Они уже не налезают друг на друга, ими можно управлять.

Он отодвигает посуду на край столика и кладет перед собой маленькую книжечку в гляцевитом переплете. На ней через все поле протянулись немецкие слова, а за ними темно-зеленое худощавое лицо узника, перечеркнутое линиями колючей проволоки. Книжка попала к нему совершенно неожиданно. Третьего дня он зашел к Алексею Степановичу. Библиотекарь, как всегда, встретил его очень приветливо и пригласил к себе за перегородку.

Черныш подумал-подумал, да и рассказал библиотекарю о своих неудачах.

— Самое неприятное, что это первое мое дело. Очень хотелось бы оправдать доверие Гладунова, но никак не могу отыскать концов. Мне совершенно непонятно, за что ухватиться.

— Да, так, как правило, и бывает. Хочешь, но...— задумчиво сказал Яриков.— Такая уж это работа. Нужно терпение, дорогой Гришенька. Вы своего добьетесь.

Он помолчал немного, потом добавил:

— Жаль, конечно, что это задание отвлекает вас от высоких теоретических исследований. Но что ж. Это случается часто, всегда находятся серьезные практические задачи, которые нужно...

Яриков не окончил мысли и вдруг сказал:

— Слушайте, Гриша, давайте по вашему делу запросим машину!

— Зачем? — удивился Черныш. — Я пересмотрел всю литературу, начиная от Адама, ей-богу, это мало помогло.

— Э-э, не говорите, — покачал головой Яриков, — вы смотрели только материалы о подделке денежных заказов. Для диссертации этого, может быть, и достаточно, но для дела, вообще говоря, мало. Многое выпало из вашего поля зрения, например особенности технологии или распространения фальшивок. Наша машина обладает не только фактической памятью, но и ассоциативной. Она может выдать справку по любому мало-мальски интересному признаку. Есть у вас такой вопрос?

— Как же, — оживился Черныш, — вот эта история с одинаковым номером на всех бумажках? Я нигде не встречал ничего подобного. Начиная с 1808 года, когда Наполеон выпустил первые фальшивые ассигнации в 25 и 50 рублей. Запросите-ка ее. Может, что и узнаем.

Яриков закивал, заулыбался. Хорошо, сейчас попробуем. Обычно дежуривших программистов не оказалось, и библиотекарию самому пришлось кодировать задание. Он очень долго суетился возле машины, куда-то бегал, что-то приносил и уносил. Наконец машина заработала. Старик облегченно вздохнул и ввел перфокарту в программное устройство. Машина мягко гудела, внутри нее что-то поскрипывало и пощелкивало.

— Что-то очень долго, — тревожно вздохнул библиотекарь, — обычно ответ приходит почти сразу же.

Наконец, ответ был получен. Это было название немецкой книги. Машина дала русский перевод — «Стена». Воспоминания немецкого антифашиста Августа Карстнера. Машина сообщила, что книга имеется только в Ленинградской библиотеке имени Щедрина.

Черныш пожал плечами.

— Ну и что? — спросил он. — Причем тут антифашист Карстнер? Яриков смутился.

— Да, это что-то... Если б еще дело шло о старых деньгах, а тут ведь две реформы... Может, она ошиблась. Но вы все же посмотрите книжицу. Я выпишу ее для вас по межбиблиотечному абонементу.

Вот и лежит перед Чернышем эта самая немецкая книга с красивыми кровавыми буквами на тающем лице узника нацистских лагерей. Он вооружился немецко-русским словарем и начал медленно погружаться в незнакомый текст. А спать-то как хочется. С утра на ногах. Минут через тридцать он отбрасывает книгу.

— Нет, все это чепуха, — бормочет он, — она ошиблась, книга не имеет никакого отношения к фальшивым деньгам. Пойду спать.

Может, оно и не чепуха, конечно... Но глаза уж больно слипаются.

На другой день у него разговор с Гладуновым. Тот некоторое время расспрашивает Черныша, затем машет рукой:

— Ладно, придется, очевидно, порекомендовать направить следователя на «Гознак».

— Я хотел говорить с главным инженером,— сказал Черныш.

— И не думайте,— сердито отрезал Гладунов.— Всегда помните, что вы не следователь, а эксперт и только. Мы научные работники... Мы помогаем следствию, но не ведем его.

Черныш возвращается к себе. Он теперь работает в одной комнате с Захаровым. Тот и ехидничает и посмеивается, но, в общем, сочувствует. Больно уж это тяжелое дело.

Теперь на столе Черныша возвышается мощный бинокулярный микроскоп. Его привоклок Захаров.

— Смотри сам, не особенно доверяй этим аналитикам,— сказал он, ловя солнце круглым вогнутым зеркальцем.

Черныш благодарно кивнул.

Что толку смотреть? Ведь ясно, как божий день, что ничего не ясно. И все же он еще раз укладывает пятидесятирублевую бумажку и принимается рассматривать ее в отраженном свете. Просмотрев штук десять, он в изнеможении откидывается.

— Одно и то же, одно и то же!..

Внезапно ему приходит странная мысль. А почему, собственно, одно и то же? Почему они так удивительно одинаковы? Так похожи друг на друга, что их нельзя отличить? У них не только общий размер, у них все общее, даже случайные дефекты. Это деньги-близнецы!

Еще не додумав, он бросается ее проверять.

Внешне, на глаз, все бумажки отличаются друг от друга. Многие сильно измяты и потерты, некоторые выглядят как новенькие. Но микроструктура одинакова. На всех тот же правильный узор, то же распределение цвета и расположение водяных знаков. Даже у подлинных банкнот нет такого поразительного единообразия.

И вот, наконец! Черныш находит дефект. На полупрозрачном силуэте нижняя линия слегка размыта, она как бы сдвоена. Он проверяет все бумажки и везде видит эту сдвоенную линию. На водяных знаках такое случается. Но чтобы на всех одно и то же...

— Захарыч, дай пятьдесят рублей.

— Ты что, с ума сошел? Где я тебе возьму! Вот рубль, хочешь, бери.

— Иди ты!..

Пришлось обегать почти всех сотрудников, прежде чем он раз-



добыл нужную сумму. Ее удалось обменять в кассе института на одну бумажку. Конечно, он мог бы взять контрольный образец. Он брал его уже раз десять. Но нет, ему нужна случайная бумажка!

Он сверяет настоящий и фальшивый билеты. Так и есть! На настоящем нет этой двоянной линии внизу.

Одно открытие влечет за собой поток других. Черныш обнаруживает крохотное чернильное пятнышко на одной из фальшивок, проверяет остальные, и оказывается, что эта точка с удивительной правильностью и постоянством повторяется на всех. Согнутый правый верхний уголок так же повторен на всех денежных знаках.

Черныш снова и снова сверяет между собой деньги, и быстро записывает свои наблюдения. В конце дня он врывается в кабинет Гладунова.

— Тихон Саввич! У меня получаются совершенно потрясающие вещи!

Гладунов откладывает в сторону толстую желтую от времени книгу.

— Интереснейшее наблюдение. Во-первых, все признаки, которыми характеризуются фальшивки, можно разбить на две группы. Одни постоянные, неизменные, они без какого-либо нарушения повторяются на всех денежных знаках. Другие, случайные, индивидуальны для каждой бумажки. К постоянным относятся такие приметы, как двоянная линия на водяном знаке, чернильное пятнышко, загнутый угол, отпечаток жирного пальца и еще несколько мелких пятен. К случайным — степень износа, измятость, потертость, пятна, которые не повторяются.

Черныш загнулся от волнения и замолк.

— Ну и что? — сказал Гладунов.

— Как что? — удивился Черныш.

— Я хочу спросить, что следует из ваших наблюдений? Какие выводы?

— Выводы... выводы, — Черныш задумался, собираясь с мыслями.

А Гладунов молчит.

— У меня возникла такая мысль, — неуверенно начал Черныш, — если бы они были напечатаны на «Гознаке», то их структура, отличаясь в мелких деталях, в целом удерживалась бы около какого-то среднего уровня... Создается впечатление, что постоянные признаки могут быть связаны с нарушением технологического процесса печатания денег. Так мог возникнуть один и тот же номер на всех знаках. Несколько труднее объяснить повторяемость этой двоян-

ной линии. Нелегко представить, что этот дефект может быть повторен с такой фантастической регулярностью. Это тяжелая задача для самой совершенной технологии. И совсем невозможно, чтобы чернильное пятнышко размещалось на всех бумажках точно в одном и том же месте, обладало бы одними и теми же размерами, одинаковой формой и интенсивностью. Это уже к технологии никакого отношения не имеет. То же самое касается отпечатка пальца. Он остался после прикосновения руки, испачканной машинным маслом.

— Скажите, разве наши аналитики не видели всех этих деталей, о которых вы говорите? — перебил его Гладунов.

— Почему? У них все это перечислено. И отпечатки пальца и загнутый уголок. В милицейской картотеке такого отпечатка нет. Проверяли уж... Сдвоенную линию аналитики как-то просмотрели. Но с нею вопрос остается открытым. Она нечеткая. Недостаток их экспертизы лишь в том, что там свалены в кучу все признаки, и постоянные и случайные. А я их как-то расклассифицировал, разложил по полочкам.

— Понятно.

— Мне кажется, что наши фальшивки не делались на «Гознаке». Кроме вообще малой вероятности такого факта, все подсказывает, что деньги сделаны типографским способом с заранее намеченными дефектами. Это деньги-близнецы. Они сделаны с одного и того же билета, побывавшего в обращении и взятого в качестве шаблона для клише. Вот и все мои выводы.

Гладунов некоторое время молчал, прикрыв глаза руками.

— Хорошо, — сказал он, поднимая голову. — Хорошо, что вы ищете, чуетесь предвзятых мнений. Теперь по существу. Что касается «Гознака», вы совершенно правы. Расследование там уже проведено и все подозрения отпали. Соответствующие органы провели большую работу, все сделано, чтобы обнаружить распространителей этих изделий...

— И что? — встрепенулся Черныш.

— Пока сколько-нибудь значительных результатов нет.

«Работа, не приносящая результатов, не может считаться большой, — подумал Черныш, — объемистой, пожалуй, ее еще можно назвать...»

— Одно мне показалось ошибочным в ваших рассуждениях, — заметил Гладунов, — это ожидание или, вернее, поиски каких-то совершенно необычных условий, в которых свершаются преступления. Как правило, все происходит просто. Нужно искать ясную, четкую схему, а уж затем усложнять, если понадобится.

— Возможно, вы и правы, Тихон Саввич, — кивнул Черныш, — только у меня все время какая-то путаница. Понимаете, странное

впечатление... С одной стороны, все сделано очень умно и на высоком уровне. Фальшивки напечатаны отлично, ведь даже гознаковцы не могут отличить их от своей продукции. А с другой стороны, какая-то глупость... С номером, с приметам.

— Будто слон в посудной лавке?

— Вот именно. Слово варвар получил в личное распоряжение электронную машину.

— А я о чем говорю? — сказал Гладунов. — Низкий уровень культуры. Воровской стиль. Это их всегда и выдает.

— Но что же делать дальше, Тихон Саввич? Я уже, можно сказать, исчерпал себя.

— Вам нужно связаться со следователем, который ведет это дело. Он с нетерпением ждет наших результатов. Пожалуй, вас надо будет к нему официально прикрепить... Должна же ваша диссертация, как говорят, получить выход в практику!

Черныш записал номер телефона следователя Еремина Ивана Сергеевича и простился с шефом.

Выходя из института, он столкнулся с Яриковым.

— Слушайте, Гришенька, меня не было, когда вы принесли назад немецкую книжку... В чем там дело? Она не подошла вам?

— Да, Алексей Степанович, я перевел несколько страниц и вижу, что никакого отношения к нашим делам это не имеет.

— Странно, — задумчиво сказал Яриков, — значит, машина все-таки ошиблась.

— Выходит.

— Это на нее не похоже. А может, вы слишком мало прочли?

Черныш промолчал. Яриков подумал и, тряхнув головой, сказал:

— Ладно. Сделаем вот что. Я отдам эту книгу для перевода в иностранный отдел, там есть такая Варенька. Она загружена, конечно, но ничего. Эта девица в свободное время переведет воспоминания немецкого антифашиста.

— Ваша вера в машину непоколебима!

Яриков улыбнулся, как всегда, застенчиво.

Что было потом? Ага, звонок к Еремину. Прошло два дня после разговора с Гладуновым. Иван Сергеевич сказал, что он ждет, что у него есть кое-что новенькое, пусть Черныш приезжает.

Еремин встретил его в коридоре. Он был слегка возбужден.

— Взяли двоих из этой компании! — воскликнул он.

— Из какой? — удивился Черныш.

— Есть такие стилиги, фарцовщик Вова и его «капелла». Мы

подозреваем, что они распространяли фальшивки. Есть кое-какие данные...

У Черныша лихорадочно заблестели глаза. Ах, черт возьми, как бы это было здорово!

— Нет, пока ничего определенного,— охладил его пыл Еремин,— парни буянили в ресторане. Устроили небольшой шум, и я, конечно, воспользовался предложением, чтобы выяснить кое-что. Вам стоит посмотреть.

— Сначала бумаги, протокол,— быстро сказал Черныш и тут же смущенно добавил,— если можно, конечно.

— Хорошо.

Черныш быстро пробежал глазами показания свидетелей. Страницы, исписанные твердым почерком, промелькнули, не принеся ничего интересного. Два парня слегка повздорили, ну и все. Один студент, второй — телевизионный мастер.

Черныш просмотрел список личных вещей. Да, студенты, народ небогатый. А этот мастер... тоже не очень. Денег маловато. На ресторан в обрез. Студенческий билет у одного, удостоверение — у второго. Проездной билет, ключи, записные книжки с множеством телефонов, возле которых значатся бесчисленные Оли, Розы, Веры и даже какая-то Калифорния Ивановна. Все не то, не то. А вот... вот это интересно! У обоих найдены квитанции комиссионных магазинов. Ребята решили продать по одной паре женских часов. Очень интересно... Часы-то золотые и швейцарской фирмы. Откуда у студента золотые часы? Откуда у холостого техника такие же часы? Откуда у них дорогие вещи? И почему именно женские? Поинтересуемся! Обязательно поинтересуемся. Пускай-ка их приведут.

Черныш мельком оглядывает провинившихся. Такие часто встречаются. Полуспортивная внешность. Трусоватая развязность манер. Ребята какие-то безликие, штампованные.

Он слышит глуховатый голос Еремина, но от него ускользает смысл задаваемых следователем вопросов. Впрочем, все это неважно. Главное — квитанции.

Несколько минут Черныш сосредоточенно рассматривает помятые серые бумажки. Они исписаны сверху донизу. Здесь и название марки, и степень износа и еще какие-то пометки. Почерк на квитанциях разный. Это понятно, часы сданы в разные магазины, значит, и приемщицы должны быть...

И тут Черныш столбенеет. С радостным ужасом переводит он взгляд с одной квитанции на другую. Номера, заводские номера часов одинаковы! Опять одинаковые номера! Что это? Совпадение? Случайность? Что же это такое? Что происходит в мире?

Он торопливо и нервно пишет записку Еремину.

«Хватит, Иван Сергеевич, кажется, в ваших сетях рыба, которую мы искали!»

Еремин вроде не очень доволен таким вмешательством. Но виду не показывает. Продолжает свое дело.

Когда задержанных увели, Иван Сергеевич набросился на Черныша. Что тот себе думает? Или криминалисты все такие?

Но Черныш не обижается, он почти не слушает следователя. Отмахиваясь, он тычет в лицо Еремину квитанции. Вот они, звенья одной цепи! Вот...

— Задержанные говорят, что эти часы они с рук купили для своих девушек,— пояснил Еремин,— а затем поссорились и решили продать, вот и гнали на комиссию.

— Откуда у них такие деньги? — невнимательно спрашивает Черныш.

— Копили.

— Ах, копили? Вот оно что! — иронизирует Черныш. — Ну, тогда мы тоже кое-что накопили. Им придется подготовиться к более серьезному разговору.

Он выпаливает свое открытие. Еремин слегка краснеет.

— Как?! Здесь тоже одинаковые номера?

— Точно!

— Как же я этого не заметил? — недоумевает Еремин.

— Не знаю.

— Но почему вы думаете, что между одинаковыми номерами на фальшивках и на часах есть связь?

— Я не думаю, я уверен. Должна быть! Иначе я просто глупец и ничего не смыслю в подобных вещах.

— Будем надеяться, что вы окажетесь умным человеком,— вздыхает Еремин.

После двухчасового допроса они все-таки выяснили кое-что: ребята назвали место, где устраивал оргии фарцовщик Вова по кличке Патлач.

Из комиссионных удалось извлечь женские часики. Они были препровождены для изучения в институт криминалистики.

Теория Черныша как будто подтверждалась.

— Смотрите,— говорил он Гладунову,— опять все то же. Каждый дефект на этих швейцарских часах воспроизведен с ошарашивающей точностью. Это такие же часы-близнецы, как и наши фальшивки.

— Абсолютной идентичности не существует в природе,— сер-

дился Гладунов,— даже однояйцевые близнецы отличаются друг от друга. Неоднородность, неравномерность — такое же свойство материи, как и движение. По крайней мере, в макромире так,— добавляет он.— Только атомы да частицы все на одно лицо.

— Да, но факт, так сказать, налицо,— шутил Черныш.— Вес чашек совпадает до шестого знака. Вещь неслыханная!

Гладунов почесывал затылок, обросший неровной кустистой порослью седых волос.

— Но поймите, дорогой, чудес в природе нет. Все реально, все основывается на существующих законах. Во всяком деле не может быть отступления от основных законов природы, предполагать чудеса в нашем деле было бы просто неразумно. Ведь так невозможно будет раскрыть преступление! Бога нельзя уличить в жульничестве, не правда ли?

— Еще как можно! Достаточно показать ему аппендикс!

— Это результат совершенствования конструкции, а не жульничество.

Гладунов задумался, потом, тряхнув головой, сказал:

— У меня есть такое правило. Когда дело абсолютно неясно, я коплю факты. Факты, факты, факты. А потом либо они сами выстраиваются в какую-то последовательность, либо исследователь найдет закономерность, которая подчиняет их всех одной общей идее.

— Вот как? — улыбнулся Черныш.— Когда мы говорили с вами первый раз, тогда здесь звучали несколько другие основы теории криминалистики. Помните, я пришел к вам тогда проситься в аспирантуру? Профилактика преступлений и прочее.

Гладунов улыбнулся.

— Милый Гришенька, а зачем человеку диалектика? Она порой усложняет ему жизнь, но чаще помогает. Держитесь за диалектику, она вывезет. Что тогда было на дворе? Май, весна, теплынь. А сейчас? Март, снег, мороз. Должно же что-то измениться.

Черныш рассмеялся.

— Ну, если только четыре мнения на год, в соответствии с временами года, то не так уж плохо. В этом есть своя определенность и постоянство. Ничуть не хуже одной-единственной неизменной точки зрения.

На другой день его пригласил к себе следователь Еремин. Оказывается, они решили взять фарцовщика Вову с контрабандной продукцией. Потом Черныш присутствовал при допросе. Патлач оказался невыразительным, каким-то серым парнем. Но самое главное,

что у него не было контрабанды. Пришлось отпустить. Еремин только руками развел.

— Просто удивительно, куда он успевает девать свой товар. Берем мы его не первый раз, и каждый раз — осечка. Сейчас мы достоверно знали, что у него дома припрятано. И снова... Ерунда.

Черныш пожал плечами. Мало ли куда можно спрятать товар? Наконец, просто выкинуть...

— Он не знал, что мы собираемся его брать, — сказал Еремин.

...Затем Черныш простудился, и ему пришлось несколько дней лежать. Ночью поднялась температура, начались уколы, банки.

Только на пятый день он почувствовал себя лучше. Настрого приказал товарищам не появляться к нему с апельсинами и яблоками. Они и так в несметном количестве скопились в тумбочке и на столе.

Гладунов прислал записку; ее однажды вечером привез библиотекарь Яриков. Он, казалось, был немного смущен своей миссией, но вскоре оправился и спокойно заговорил ровным тихим голосом.

— У нас все по-старому. Тихон Саввич очень много работает. Видел Захарова, говорит, прогресса нет. Так что дела не очень важные.

Яриков еще некоторое время перечислял события, не заслуживающие, с точки зрения Черныша, никакого внимания, затем умолк.

— Вы знаете, — наконец нерешительно сказал он, — Варенька сделала перевод...

— Какой перевод?

— Немецкой книжки, которую посоветовала машина.

— Ах, это... Августа Карстнера, кажется?

— Ну да.

— И что же?

— Боюсь сказать что-нибудь определенное, — задумчиво заметил Иван Степанович, — слишком все фантастично. Но прочесть следует, обязательно.

— С удовольствием, — обрадовался Черныш. — Делать мне нечего, чувствую себя хорошо.

— Нет, здесь не просто чтение нужно, а изучение глубокое, внимательное, понимаете? Потому что на первый взгляд это почти мистика. Но многое там будет вам очень интересно:

Яриков долго молчал, потом начал прощаться. Оставшись один, Черныш перелистал страницы школьных тетрадей, исписанных старательным ровным почерком. «Буквы, как бублики,— поджаристые, румяные, веселые»,— подумал он и принялся за чтение.

## 5

Приобщено к делу 23.III.196\* года.

August Karstner "Die Wand". Ein Dokumentarbericht, Deutscher Militärverlag, Berlin, 1963, s. 121—129.

«После ареста семь дней я пробыл в Центральной следственной тюрьме города Гамбурга. Меня допрашивали только один раз. Этого, впрочем, оказалось вполне достаточно, чтобы всю жизнь носить вставные зубы. Гестапо довольно скоро установило мое истинное лицо, чему немало способствовал вытатуированный на моей руке лагерный номер. Обстоятельства побега были им более или менее ясны. Об этом они почти не спрашивали. Но их очень интересовали имена приютивших меня людей. И адреса, конечно, тоже.

— Кто вас снабдил этими документами? Где вы получили одежду? Кто вам помог добраться до Гамбурга? — четыре часа эти вопросы вдалбливали мне в мозг всеми доступными способами. Я их запомнил наизусть.

Наконец мне пообещали жизнь.

— Назовите только фамилии и адреса людей, изготовивших документы,— сказал следователь, массируя костяшки пальцев.

Фамилии я не знал, а адрес старался забыть. Я боялся, что назову его в бреду, выдохну окровавленным горлом, приходя в сознание на паркетном полу кабинета, прокричу беззубым ртом в минуту нестерпимой боли.

— Не надейся легко умереть. Смерть нужно заслужить.

Они страшно торопились. Теперь я понимаю: причиной этого были вести с восточного фронта.

Тогда же я понял только, что им наплевать и на меня и на тех, кто прятал меня от полиции. Зато им почему-то очень важно было знать, кто делал документы.

Иногда за четыре часа удается прожить целую жизнь. Боль не отнимает у человека ни воли, ни разума. Она заставляет его думать в ускоренном темпе: скорее, чем думают палачи. И скорее, чем до их сознания доходит твое молчание. Обостренным восприятием я догадался, что документы для них сейчас самое важное.



— Документы я добыл себе сам.

— Где? Как? Когда?

— Я сделал их сам и приклеил свою фотографию... Она хранилась в тайнике, вместе с одеждой. Я устроил все это давно, еще до первого ареста. На случай возможного побега.

— Где тайник?

— В лесу Вайнвальде.

— Точнее!

— Точнее объяснить невозможно... Но я мог бы найти его и показать.

Чем чаще оказываешься лежащим на полу, тем скорее постигаешь тайну, как не приходить в сознание. Сознание делает слабым и уязвимым. Беспамятство — единственная защита. Я научился оттягивать возвращение памяти и боли.

— На бланках не обнаружено подчистки или вытравливания. Это были чистые бланки. Кто и где их достает? У нас уже имеются точно такие же экземпляры. Обычным типографским способом нельзя достичь такой идентичности. Как изготовлены эти бланки?

Значит, они поймали еще кого-то из «друзей Янека» и те не сказали им ничего. И я не скажу.

— Почему удостоверения личности часто имеют совпадающие номера?

Действительно, почему? Английские фунты тоже ведь были с одинаковым номером.

— Где изготавливается иностранная валюта? Почему четыре стофунтовые банкноты выпущены за одним номером?

— У меня не было никаких банкнот, — говорю я совершенно бессознательно.

Нужно напряженной следить за своими словами, особенно теперь, когда они добрались до главного.

— Но вы должны знать о них! Банкноты и документы имеют один и тот же источник.

Неужели они что-то нащупали? Если бы знать, что им известно...

— Английская разведка снабжает вас фальшивыми деньгами? Поставляются ли вам фальшивые рейхсмарки?

Ах, вон оно в чем дело! Документы и деньги, оказывается, изготавливает Интеллидженс сервис... — это я соображаю уже на полу. Чувствую, что вот-вот отключусь.

— Направьте его в ведомство Крюгера. Он может еще пригодиться. — Это сказал, по-видимому, тот тип в штатском, который сидит в углу. За все время это его единственные слова.

Наконец, мне удалось отключиться. В сознание я пришел уже

в камере. Она была залита ярким светом, который горел и днем и ночью. С тех пор я не могу побороть ненависти к электрическому току. Если бы можно было, я бы жил при свечах. Но это уже сугубо личное.

...Мой рассказ об аресте и допросе можно было бы закончить. Хочется сказать лишь несколько слов о ведомстве Крюгера. Это поможет читателю понять, почему мне была на время дарована жизнь. Основные подробности о деятельности этого ведомства мне стали известны после войны. В следующем разделе я использовал такие документы: 1) «Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками», М., 1961; 2) "Protokoll des Sachsenhausen-Prozess".

...Когда для гитлеровского рейха настали черные дни, «золотые фазаны»<sup>\*</sup> все больше надежды стали возлагать на тайную войну. Но для вербовки агентов в странах антигитлеровской коалиции требовались огромные средства. Чем сильнее нацистов лупили на фронтах, тем большие суммы приходилось им тратить на покупку отщепенцев — предателей всех мастей.

С каждым часом уменьшались финансовые возможности коричневой империи, зажатой в огненном кольце войны. Внешнеторговые связи резко сократились, валютные фонды были крайне истощены, а германская марка совершенно не котировалась на международном рынке. Лишенная всех иностранных кредитов Германия вынуждена была расходовать последние остатки валюты только на ввоз из нейтральных стран стратегического сырья.

Тогда-то и была сделана последняя ставка банкрота. Секретная служба при непосредственном участии финансовых воротил представила фюреру план массовой подделки иностранных банкнот.

На фальшивые деньги предполагалось закупить за границей недостающее истощенной империи сырье. Это было тем более заманчиво, что однажды, еще в первую мировую войну, такая афера увенчалась успехом. Будущий президент гитлеровского «Рейхсбанка» Яльмар Шахт закупил тогда в Бельгии на фальшивые франки большую партию товаров.

Немалые надежды возлагались также на подрыв экономики враждебных Германии государств. Здесь у нацистов тоже был некоторый опыт. Еще в 1918 году отпечатанные в берлинской тайной

■ \* Презрительная кличка нацистских бонз.

типографии миллионы фальшивых рублей были брошены на снабжение орудовавших на территории Советской России контрреволюционных банд. Но фашистские наследники германского милитаризма мыслили гораздо шире. Они намеревались буквально захлестнуть противостоящий им лагерь потоком фальшивых ассигнаций. Гитлер и Гиммлер не забывали и о «пятой колонии». Оплачивать услуги этих международных отрядов предателей планировалось тоже фальшивыми деньгами.

Так при Главном управлении имперской безопасности был создан особый центр по изготовлению фальшивых денег, главой которого стал оберштурмбанфюрер СС Бернхард Крюгер. В прошлом взломщик, Крюгер возглавлял до этого группу «Технических вспомогательных средств» VI управления.

Эта группа, обосновавшаяся в сером доме на Дельбрюкштрассе в Берлине, снабжала гестаповскую агентуру подложными документами. У Крюгера был целый музей с образцами всевозможных документов из всех стран мира: от красноармейской книжки до свидетельства о благонадежности, выданного полицией Токио.

Первые опыты по изготовлению фальшивых денег были приняты еще в 1940 году под кодовым наименованием «Операция Андреас». Сначала изготовили образцы английских фунтов стерлингов. Их легче, чем любую другую валюту, удавалось обменивать на настоящие в английских владениях или нейтральных странах. Хождение же фунт имел во всех частях света.

Все же понадобилось около трех лет, прежде чем эсэсовцы наловчились печатать почти неотличимые от подлинников банкноты достоинством в пять, десять, двадцать и пятьдесят фунтов. Лишь после этого они смогли приступить к изготовлению пятисот- и тысячефунтовых купюр.

Над этим в поте лица трудился целый научно-исследовательский институт уголовников. Прежде всего, требовалось подобрать бумагу, которая точно соответствовала оригиналу по фактуре. Клише и печать не должны были отличаться от него ни рисунком, ни цветом. Ничтожный штрих, малейшая разница в оттенках могли загубить всю операцию. Наконец, нацистам нужно было, чтобы номера серий максимально соответствовали подлинным. Приходилось учитывать все: подписи ответственных лиц казначейства и даты выпуска денег. Фальшивые деньги необходимо было немедленно сбывать или обменивать на настоящие. Для этого требовалась сильно разветвленная и тщательно законспирированная шпионская сеть, охватывающая почти все государства мира. Дело здесь было поставлено на широкую ногу. Ведь производство фальшивых денег было очень важным звеном в преступной цепи тотальной войны.

К лету 1943 года ведомство Крюгера уже ежемесячно выдавало пачки с сотнями тысяч поддельных фунтов стерлингов. В этом и заключалась секретная «операция Берихард», названная так по имени Крюгера.

Фабрика штурмбанфюрера-уголовника находилась в концентрационном лагере Захсенхаузене. Два огромных барака — № 18 и № 19 оборудовали самыми новейшими машинами. Бараки окружили несколькими ярусами колючей проволоки, которая постоянно находилась под током. Вооруженной до зубов охране было приказано стрелять во всякого, кто приблизится к проволоке. Даже заместитель коменданта концлагеря не знал, что творится в бараках № 18 и № 19.

А там день и ночь трудились сто тридцать хефтлинков. Они проделывали все операции по изготовлению денег — от производства бумаги до печатания. Специальные бригады занимались только тем, что загрязняли новенькие кредитки, придавая им вид денег, побывавших в обращении. В больших вращающихся барабанах перемешивались банкноты разных серий, после чего их заклеивали в пачки. Теперь они ничем не отличались от тех, которые хранились в сейфах английских банков.

Как только кто-нибудь из хефтлинков заболел, его немедленно отправляли в отдельную газовую камеру. Бараки № 18 и 19 мог покинуть лишь пепел тех, кто печатал фальшивые деньги.

Меня доставили в барак № 19. С моноклем в глазу, при свете яркой настольной лампы, я должен был сличать только что отпечатанные образцы с оригиналами.

— Как только твое зрение ослабеет — отправишься в крематорий, — предупредил меня начальник барака, эсэсовец. — Но не вздумай беречь глаза. Упустишь темп — в крематорий. Вообще, все вы рано или поздно попадете в крематорий. Но ты можешь несколько отсрочить этот неприятный момент. Понял?

— Так точно, господин обершарфюрер! Крематорий рано или поздно ожидает всех. Люди смертны.

— Пофилософствуй еще, и попадешь туда вне очереди.

Я был единственный из заключенных барака № 19, не попавший в крематорий. Искренне надеюсь, что я пережил и обершарфюрера.

Однажды в наш блок приехал колоссального роста гауптштурмфюрер. Через несколько минут меня вызвали в комнату начальника барака. Там был только один гауптштурмфюрер. Он вежливо поздоровался со мной и пригласил сесть.

— Вам знаком этот документ? — спросил он, протягивая мне удостоверение, отобранное у меня при аресте.

— Так точно, господин гауптштурмфюрер!

— На допросе вы дали показания, что сами изготовили это?

— Так точно, господин...

Он оборвал меня досадливым жестом:

— Отбросим ненужные формальности. Нам, интеллигентным людям, они только мешают... Ведь вы журналист, господин Карстнер?

— Бывший журналист, господин гауптштурмфюрер.

— Это не имеет значения. Я читал ваши блестящие статьи, и они доставили мне истинное наслаждение, невзирая на то, что я, естественно, не разделял ваших взглядов. Поверьте, я охотно помогу вам вновь занять достойное место... Но помогите мне сначала, камрад, я обращаюсь к вам как к офицеру запаса рейхсвера,— помогите мне разрешить один вопрос. Дело вот в чем,— он достал несколько чистых бланков и протянул их мне.— Взгляните на эти бланки. Не правда ли, они очень похожи друг на друга?

Бланки действительно были очень похожи. Обычно считают похожими друг на друга новенькие монеты одного достоинства или почтовые марки, отпечатанные с одного клише. Трудно даже представить себе, что может быть большее сходство. Но оно возможно. И когда сталкиваешься с ним, оно поражает необыкновенно.

— Чему же удивляться, господин гауптштурмфюрер,— бланки отпечатаны на одинаковой бумаге с одного клише. Это довольно просто, особенно при высокой культуре производства.

— Присмотритесь внимательней. Вооружитесь атрибутами вашей новой профессии и присмотритесь внимательней,— он протянул мне монокль.— Не кажется ли вам странным, что вот эта царапина, оставленная, очевидно, ногтем, повторяется на всех восьми экземплярах? Это отнюдь не общий типографский дефект. Обратите внимание также на сальное пятнышко — вы найдете его в левом углу на любом бланке. В лупу так же отлично видна и эта крохотная складка... В чем тут дело, господин Карстнер?

— Я не разбираюсь в этих делах, господин гауптштурмфюрер.

— Ваша скромность похвальна, дорогой Карстнер, но не совсем уместна. Вы же показали себя прекрасным контролером печатаемой здесь... продукции. О вас отзываются очень хорошо. Но если вы так принижаете себя из ложной скромности, очевидно, полагая, что это не ваша область, то уж такие образцы несомненно относятся к вашей компетенции.— Он достал из бумажника и протянул мне несколько пятифунтовых банкнот. Точь-в-точь похожих на те, что я получил от человека с седыми висками. Серия и номер на них были такие же (я почему-то запомнил ОР № 183 765).

— Что вы скажете об этом, Карстнер?

— Отлично сделанные копии, господин гауптштурмфюрер. Это единственное, что я могу сказать!

— Единственное? Право, Карстнер, вы щепетильны, как девушка! Неужели вы опасаетесь каких-то враждебных мер с нашей стороны только за то, что участвовали в нелегальном производстве этих пятифунтовых? Стыдитесь, Карстнер. Вы же видели наш размах. Наоборот, мы рады будем заполучить такого отличного специалиста.

— Вы ошибаетесь, господин гауптштурмфюрер. Я не участвую в изготовлении купюр. Я только сижу на контроле. Да мы и не печатаем пятифунтовые. Девятнадцатый барак выпускает банкноты минимальным достоинством в сто фунтов.

— Вы или не поняли меня, Карстнер, или по-прежнему не верите в мое доброе к вам расположение. Я призываю вас к сотрудничеству... Вам нечего бояться меня! Тем более, я о вас уже все знаю. Дело идет о тех пятифунтовых банкнотах, которые были найдены в вашем бумажнике. Вы, кажется, забыли его в вокзальной пивной?..— он посмотрел на меня долгим оценивающим взглядом.

Конечно, они вернулись тогда в пивную и отыскиали его под столом. А может, кельнер сам принес бумажник в гестапо... Скоро ли примутся за меня по-настоящему?..

— Подумайте, подумайте, Карстнер. Я вас несколько не троплю.

— У меня не было никакого бумажника с фунтами.

— Фу, Карстнер! Это уже дешевый прием. Будем уважать друг друга. Вы, конечно, можете принимать все это за провокацию. Тем более, что у вас в бумажнике было четырнадцать таких штучек, а я вам дал только семь. Пусть вас это не смущает. У меня есть еще целая пачка,— он бросил на стол перевязанную стопку таких же пятифунтовых.— Вы должны доверять мне. Я же не утверждаю, что в вашем бумажнике была вся эта пачка, когда там было только четырнадцать банкнот. Так ведь, Карстнер? Но номер здесь один и тот же. Меня интересует это. И только это. Будете вы со мной сотрудничать? — неожиданно выкрикнул он.

— Так точно, господин гауптштурмфюрер!

— Тогда объясните мне, как достигается такая полная идентичность? Точнее, помогите мне разобраться в некоторых неясных деталях. Прежде всего, меня интересует происхождение машины. Вы меня поняли, Карстнер?

— Никак нет, господин гауптштурмфюрер. Не знаю, о какой машине идет речь.

— Цените мое доброе отношение, Карстнер. Я ведь не спрашиваю вас о людях. Меня интересует только машина! Я знаю, что вы ни за что не назовете имен тех, кто скрывался в подвале дома номер три по Кальтштрассе. Ведь верно?

«Пронюхали, гады! Или кто выдал?.. Человек с седыми висками не сказал им ничего... Это ясно. Иначе они не стали бы возиться со мной...»

— Я ценю ваше мужество, Карстнер. Вы настоящий германец, который ни при каких обстоятельствах не предаст друзей. Никому ваша откровенность повредить не может. В противном случае я, кавалер рыцарского креста, не стал бы... допрашивать такого человека, как вы. Разговор идет только о машине и о вашей личной судьбе. Будьте себе другом, а я вам друг.

— Но я не знаю никакой машины! Я ее и в глаза не видал! — впервые говорю правду эсэсовцу, даже противно.

— У меня ангельское терпение, Карстнер. А я еще устроил скандал гамбургским парням за грубое обращение с вами. Простите их, Карстнер, у них нет такого терпения, как у меня... Может, вас связывает обязательство хранить тайну? Тогда скажите мне об этом прямо, и я перестану вас спрашивать. Такие люди, как мы с вами, умеют хранить тайны... Но я ведь даже не спрашиваю вас о схеме включения машины в сеть! Я знаю схему. Эта вот пачка фунтов получена нами на машине. Можете скрыть от меня и тайну удивительного сходства. Согласен! Хотя меня она очень интересует, как... профессионала, или, точнее, как художника.

Он замолчал и уставился мне в переносицу холодным невидящим взглядом. Я старался не отвести глаз. Он смотрел долго. Зрение заволочило туманом. Откуда-то из глубины всплывали едкие щекокущие слезы.

— Как получить банкноты с разными номерами?

Вопрос прозвучал как удар хлыста. Я с наслаждением сжал веки и переморгал слезы.

— Вы поедете со мной, Карстнер. Сейчас вам принесут приличную одежду. Я докажу вам свои добрые намерения. Больше я ни о чем не стану вас спрашивать. Вы будете жить в замке, не зная никаких тревог и лишений... В общем, увидите сами.

Он собрал со стола документы и деньги. Тщательно уложил их в огромный бумажник, который засунул в блестящий планшет отличной скрипучей кожи. Зажав планшет под мышкой, он вышел из комнаты. Впервые за все время пребывания в бараке № 19 я остался один. Совсем один. И никто на меня не смотрел.

...За мной медленно и бесшумно закрылись оплетенные колючей проволокой ворота Захсенхаузена. Моя длинная тень легла на

теплую, выбеленную летним солнцем землю. В раскаленной голубизне дрожало спящее солнце. Нахохлившись воробьи купались в тонкой, как мука, пыли. Я жадно втянул воздух. Он пах странной и горькой гарью. Лагерь смерти был у меня за спиной, но крематория мне не избежать. Скоро он станет для меня желанным избавлением. Недаром они говорят, что смерть еще надо заслужить.

— Чего вы ждете? Садитесь в машину, и скорей от этого страшного места,— гауптштурмфюрер указал на стоявший у ворот открытый мерседес-бенц.— И чего вы так озираетесь? Охраны не будет. Поедем вдвоем.

Он открыл дверцу.

— Садитесь сзади. Так вам будет свободнее.

Сначала я не поверил ему, но, взглянув на этого молодого сытого верзилу в сто девяносто сантиметров, понял, что ему нечего опасаться изможденного хефтлинка, развалины, доходяги. Даже сзади я был ему не страшен. Он мог убить меня щелчком, как муху.

Бросив планшет рядом с собой, он включил стартер и мягко выжал сцепление.

— Нам недалеко. Десять минут езды. Видите там слева несколько запущенный английский парк? А высокую бетонную стену? За ней охотничий замок Фриденталь. Отсюда его не видно. Конечно, стена — это неприятно, но приходится мириться. Зато в замке вас ожидает полнейший комфорт.

Он болтал весело и непринужденно, небрежно положив локоть на руль. А у меня перед глазами трясся его холерный, аккуратно подстриженный затылок.

Он вел машину на очень большой скорости. Вскоре Захсенхаузен совершенно скрылся из глаз. Сколько я ни оглядывался, на горизонте не видно было даже кончика закопченной трубы. По обе стороны неслись зеленые полосы дубовой рощи. Мелькнул знак, предупреждающий о крутом повороте. Эсэсовец резко сбросил скорость. Тут-то и раздался этот взрыв, вернувший мне свободу.

Я до сих пор не знаю, что тогда произошло. Только рядом с ним что-то рвануло негромко, но сильно. Меня отшатило и прижало к спинке. А он сполз на сиденье, и его начало лизать пламя. Машина медленно свернула с шоссе, въехала в кювет передними колесами и замерла, подняв зад к небу.

Шатаясь, как пьяный, я выполз и, спотыкаясь о корни, побрел по лесу. Я шел, пока не упал. Потом пришла ночь и с нею страшный налет. Пока горели земля и небо, я шел на восток...



Искры в потоках света, розовые униформисты монтировали из пластмассовых тюбингов огромный полукольцевой экран.

— Обратите внимание,— сказал Орт, наклоняясь к собеседнику,— экран-то белый. Все иллюзионистские трюки обычно проделываются на черном фоне.

— Это еще ни о чем не говорит, Евгений Осипович,— ответил Урманцев, равнодушно разглядывая мерцающие под куполом трапеции.

— Э, нет, это уже штрих! Штрих! Я знаю цирк... Еще мальчишкой в Одессе видел Флегарти, братьев Лиопелли, Курбатова-Северного и... этого... Как его? Работал под Калиостро? Случайно не знаете?

— Откуда, Евгений Осипович? В Одессе я не бывал, да и в цирк хожу раз в десять лет.

— Нашли чем гордиться. Было б у меня время...

Оркестр заиграл «Марш космонавтов». На середину арены опустили огромный толубой глобус. Двое униформистов тщательно установили и закрепили его. Под куполом зажглись звезды, завертелись стилизованные планеты — Венера, Марс, Сатурн. Внезапно музыка смолкла. Глухо зарокотал барабан. На арену въехал серебряный гоночный автомобиль. Откинув прозрачный колпак, из машины вылез высокий худощавый человек, одетый в сверкающий скафандр. Он был удивительно похож на космонавтов, какими их рисуют на плакатах. Казалось, это символ, идея, а не конкретный живой человек.

Неуловимым движением он коснулся поблескивающих на поверхности глобуса скоб и встал во весь свой рост над полюсом. Гордо вскинув голову, он поднял вверх руки и соединил ладони в стрелу, символизируя стремление к звездам. Номер так, собственно, и назывался «Полет к звездам».

Смолк барабан. В цирке наступила тишина, изредка нарушаемая покашливанием, скрипом кресел, звоном случайно упавшего на пол гардеробного номерка.

Ударил гонг. И тут случилось чудо: человек повис в воздухе. Между его плотно сомкнутыми ногами и поверхностью глобуса ничего не было.

— Его на веревке поднимают,— сказала сидящая рядом с Ортом девчонка в белом школьном переднике.

— Ну, ясно, на веревке! — отозвался ее стриженный под ноль кавалер. — У него под скафандром специальный пояс спрятан, к ко-

тому веревка привязана. Это чтоб не больно было, когда поднимают.

Орт улыбнулся. Удовлетворенно потряс породистой львиной головой.

— Помните «Блестящий мир» Грина? — тихо спросил он, наклоняясь к Урманцеву. — Как он описывает реакцию публики? Там и единогласный вопль восторга, и ужас, и мертвая тишина... А эти архимеды — веревка!

— А чего им удивляться, — улыбнулся Урманцев. — Они по телевизору видели всех космонавтов в кабинах космических кораблей, а тут всего лишь цирк, полет к куполу. И то на веревке...

Циркач все в той же позе медленно поднимался вверх. Очевидно, чтобы показать отсутствие всякой веревки, из-под купола опустили еще один экран, который теперь медленно подымался вместе с ним. Потом экран убрали, и космонавт поплыл в луче прожектора среди мерцающих звезд и горящих планет. Сорвав огромную красную звезду, он так же медленно опустился, укрепил ее на поверхности глобуса и легко спрыгнул на арену.

Аплодировали долго и дружно. Зрителям номер явно понравился, но не было заметно ни крайнего удивления, ни проявления каких-то особенно бурных чувств.

— Ну, что я вам говорил? — опять засмеялся Урманцев. — Трудно теперь чем-нибудь потрясти публику. Жизнь уж больно удивительная. Теперь по части чудес у ученых конкурентов нет.

Пока артист раскланивался на вызовы, на арену выкатился визжащий клоун.

— Ну, что же, пойдём? — спросил Орт, тяжело поднимаясь с места.

— Пойдем, — согласился Урманцев.

Полусогнувшись, чтобы не мешать другим, они проскользнули по узкому проходу и вышли в фойе.

— Как пройти к директору? — спросил Урманцев дремавшего старичка капельдинера.

— А его сегодня нет, — сухо ответил тот, недоверчиво разглядывая высокого полного Орта и маленького юркого Урманцева.

— А кто есть? — задал новый вопрос Урманцев.

— Кто надо, тот и есть... А вы, собственно, по какому делу?

— По важному, — сонно и равнодушно ответил Орт.

— Ну, тогда идите прямо по коридору к главному администратору. Последняя дверь.

Коснувшись костяшками пальцев двери, Орт, не дожидаясь приглашения, повернул ручку и вошел в кабинет. За ним робко втиснулся Урманцев. За огромным столом сидел полный багрово-

лицый человек с кокетливо загримированной редкими затылочными волосками лысиной.

— А я вам еще раз повторяю, тигры не поведут малой скоростью! — с надрывом кричал он в телефонную трубку. — Что? А вы как думали! Каждому слону отдельный вагон! Да! Всего три.

Краем глаза взглянув на вошедших, администратор кивнул в сторону дивана. Орт сел. Урманцев остался стоять и принялся разглядывать яркие афиши, которыми были оклеены стены.

— И потребу! — голос администратора сорвался на неожиданно высокой ноте и приобрел хрипящие обертоны. — Даже международные! Хоть спецшелон! Попробуйте. Да, да, попробуйте... У меня все! Пока!

Он бросил трубку и долго не мог отдышаться. Вынул платок и отер взмокший лоб.

— Слушаю вас, — сказал он, поворачивая голову к Орту.

— Понимаете ли, товарищ главный администратор, мне нужно повидать артиста Подольского.

— А я здесь при чем?

— Вы должны помочь!

— Должен? Я никому ничего не должен. Если каждый...

— Мы из Академии наук, — прервал его Урманцев, — это Евгений Осипович Орт, член-корреспондент, профессор, заслуженный деятель науки и техники, дважды лауреат...

Орт поморщился.

— Очень приятно познакомиться, — администратор слегка приподнялся в кресле. Точнее, сделал попытку приподняться. — У вас есть какое-нибудь направление?

— Направление? — удивился Орт.

— Ну, не направление, отношение.

— Зачем? У вас номерной институт? Оборонные секреты? — Орт начинал закипать.

— Оборонные — не оборонные... В общем, в каждом деле должен быть порядок. А что касается секретов, товарищ профессор, мы тоже за это дело болеем. Слава советского цирка — тоже кое-что значит... И вы не улыбайтесь, не улыбайтесь... Мы должны знать... У нас каждый год заграничные гастроли.

Орт не улыбался. Grimаса гнева и нетерпения у него была похожа на улыбку. Он уже приоткрыл рот, чтобы высказать некоторые оригинальные мысли по поводу заграничных гастролей цирка и его администратора.

— А товарищ главный администратор прав, — блеснув хитрыми цыганскими глазами, вмешался Урманцев. — Абсолютно прав! Покажите удостоверение, Евгений Осипович.

Орт хотел было возразить, что удостоверение здесь ни при чем и никакой силы в цирке оно не имеет. Но, беспомощно махнув рукой, полез в карман и вытащил тисненную золотом малиновую академическую книжечку.

Администратор долго вертел ее в руках и под конец робко осведомился, по какой срок она действительна.

— До самой смерти! — буркнул Орт.

— Подольского, конечно, вызвать можно, товарищ академик, — замылся администратор, — только, позволительно спросить, для какой такой надобности?

— Я хочу с ним кое о чем поговорить.

— Это можно, конечно... Только ведь он из нашего цирка никуда не уйдет. Об этом он и говорить даже не захочет.

— Товарищ главный администратор! — вновь весьма к стати влез в разговор Урманцев. — Если вам нужно разрешение министерства культуры, то это мы сейчас устроим, — он сделал вид, что собирается позвонить по телефону.

«Что за чушь он несет, — подумал Орт. — При чем тут министерство культуры?»

— Ну, что вы, товарищи академики! — укоризненно развел руками администратор. — Разве я не понимаю? Поможем нашей науке, поможем! — Аристарх Севастьяныч! Попросите Подольского подняться ко мне... Да... Мы науке всегда помогаем, — сказал он, опуская трубку. — Для иллюзиониста никаких средств на оборудование не пожалели! А вам, если что понадобится: билеты там, ложа, прошу ко мне без стеснения.

— Спасибо. Обязательно воспользуемся! — без тени улыбки ответил Орт. Он отходил так же скоро, как и загорался.

— Ну, вот и хорошо... Вот и хорошо, — администратор зачем-то потер пухлые короткопалые ручки. — Если не секрет, товарищ академик, удовлетворите любопытство... Подольский для науки понадобился?

Орт не успел ответить. В кабинет вошел артист, который только что исполнял номер «Полет к звездам». Высокий, худой, с мечтательными или, скорее, рассеянными глазами, — он ничем не походил на подтянутых самоуверенных циркачей, которых Орт тайно обожал в далеком детстве. Без грима и в обычном тренировочном костюме Подольский выглядел даже несколько комично.

— Заходи, Миша, заходи, — засуетился администратор. — Тут тобой товарищи ученые интересуются! Из Академии наук... Я вот только что товарищу академику объяснял, как ты цирк любишь, что для тебя ничего лучше цирка нет. Ведь так, Миша, правда?

— Здравствуйте, Михаил... Михаил? — сказал Орт, протягивая большую могучую руку.

— Михаил Савельевич, — улыбнулся Подольский.

— Очень приятно, Михаил Савельевич. Моя фамилия Орт, Евгений Осипович Орт. А это мой коллега Валентин Алексеевич Урманцев... У нас к вам дело, Михаил Савельевич. Может, выйдем в коридор? Переговорим и покурим заодно?

— А у нас и здесь курят! Можно! — вмешался администратор. — Курите себе на здоровье. Вот и пепельница каслинского литья... Лев! Царь зверей, так сказать...

— Ну, зачем же отравлять атмосферу? — Урманцев помотал в воздухе рукой. — Вам ведь работать надо. Мы и в коридоре покурим, — и, не дожидаясь возражений, он открыл дверь.

— Как вы это делаете, Михаил Савельевич? — усаживаясь на розовый пуфик, спросил Орт. В сумраке зеркала на секунду мелькнула его сероватая львиная шевелюра.

— Это не антигравитация, — улыбнулся Подольский. — Вынужден вас разочаровать.

— Но и не скрытые канаты, надеюсь? — Орт прищурился, слегка наклонив голову набок.

— Это исключено.

— Тогда остается только одно. Парение магнита над поверхностью сверхпроводника.

— Да, старый добрый эффект Аркадьева, — кивнул Подольский.

— На это я и надеялся... — Орт немного помедлил и неожиданно громко выкрикнул: — За этим и пришел! Мне нужна ваша помощь!

— Вам? Моя помощь?! В осуществлении пустякового опыта, описанного во всех учебниках?!

— Магниты вмонтированы в подошвы ваших ботинок?

— Угу. Магнитные подошвы.

— Кто придумал номер?

— Я.

— Вы — физик?

— И да, и нет... Я окончил горный институт. А физикой увлекся еще на третьем курсе... Так что формально я горный инженер, а фактически, конечно, физик. И по призванию и, если можно так выразиться, по методу мышления.

— Все это меня лишний раз убеждает, что вы именно тот человек, который мне нужен... Да вы садитесь, садитесь, садитесь. — Орт поднялся и силой усадил артиста на соседний пуфик. — Сколько вы здесь получаете?

— Двести пятьдесят.

— М-да...— Орт переглянулся с Урманцевым.— Вот тут-то главный камень преткновения... К сожалению, не в моей власти дать вам больше ста тридцати пяти. Пока не защитите диссертации, конечно... Но если согласитесь, я буду выплачивать недостающее сам, так сказать, личным порядком... Зарплата у меня большая! Куда мне столько?

Орт засмеялся. Подольский стоял весь красный и надменно переводил взгляд с Орта на Урманцева.

— Соглашайтесь, Михаил Савельевич,— сказал Урманцев.— Вы же законченный исследователь. Ну, что вам делать здесь... в цирке?

— Мы будем работать над интереснейшей темой! На самом переднем крае, как сейчас говорят, теоретической и экспериментальной физики,— сказал Орт, протягивая Подольскому руку.

Подольский встал и робко пожал сильную широкую ладонь.

— Я с-согласен, профессор. Не нужно мне никакой приплаты. И так... Я даже мечтать об этом не смел.

— Пишите заявление,— сдержанно-повелительно сказал Орт.

— Как?.. Прямо здесь? Сразу?

— Ну, конечно, здесь. Зачем время терять?

— Сейчас дам листок бумаги и ручку,— сказал Урманцев, расстегивая сверкающие замки большого портфеля из желтой скрипучей кожи.

— Значит, так!.. Директору Института физики вакуума АН СССР Самойлову А. А. ...Написали? Так... Заявление... От кого... Теперь дальше... Прошу зачислить меня на должность младшего научного сотрудника в лабораторию теории вакуума... Написали? Число. Подпись... Так. Давайте сюда.

Орт бегло пробежал глазами заявление и, взяв у Подольского ручку, написал в левом уголке наискосок: «О. К. Оформить. Е. Орт».

— Положите это к себе, Валентин Алексеевич,— сказал Орт и обернулся к Подольскому.

— Приходите послезавтра утром в отдел кадров со всеми документами. Меня, к сожалению, в институте не будет — эту неделю я работаю дома. Но пусть вас это не волнует. Все будет сделано. И сразу же начинайте работать. Со всеми вопросами обращайтесь к Валентину Алексеевичу или к моему заместителю Ивану Фомичу Пафнюкову... На всякий случай запишите мой домашний телефон... Ну, вот и отлично, дорогой коллега. Прощайте, Михаил Савельевич.

Подольский растерянно пожал протянутую руку и долго смотрел вслед уходящим, пока они не скрылись за поворотом длинного сумрачного коридора.

Зажегся свет, захлопали двери, послышался нарастающий люд-

ской гул. Начался антракт. Подольский медленно повернулся и пошел к лестнице, учащенно вдыхая привычный цирковой воздух, пахнувший мокрыми опилками, звериной мочой, духами и вазелином.

— Заполнили анкету? — улыбаясь, спросил Иван Фомич. — Так, так. Давайте посмотрим...

При первом же взгляде на этого маленького постоянно улыбающегося человека Подольский ощутил глухую тревогу. Это не было мгновенной антипатией, которая подчас вспыхивает между совершенно незнакомыми людьми. Скорее это походило на смутную тоску.

— Так вы, оказывается, горный институт окончили? Интересно... Там ведь физика... не очень. Кажется, всего два семестра?

— Три... Я у профессора Белоярцева работал.

— У Николая Корнеевича? Так-так... И в какой же области вы, так сказать, самолично специализировались?

— Я увлекся критическими явлениями — опалесценцией в критической фазе, флюктуациями плотности и координации. Потом, естественно, стал работать с гелием-2 и со сверхпроводимостью.

— Понятно, понятно. — Иван Фомич улыбнулся еще шире, и его маленькие глаза превратились в зоркие монгольские щелочки.

Подольский понял, что Иван Фомич уже знает о нем либо от Орта, либо от Урманцева и расспрашивает совсем не для того, чтобы узнать еще что-то новое. В каждом вопросе чувствовался какой-то обидный намек. Может быть, поэтому ему и трудно было хорошо отвечать. Возможно и напротив, стеснение, которое он испытывал, превращало самые обычные деловые вопросы в нечто неловкое, не деликатное. Но скорее, источник смутного беспокойства находился вне Подольского. Михаил понимал, что одни и те же вопросы у разных людей звучат по-разному. Ведь и Орт расспрашивал его довольно подробно. Только ему отвечать было легко, свободно, даже как-то радостно. А Ивану Фомичу...

«Наверное, это потому, что Орт не только большой ученый, но и умный, хороший человек, — подумал Михаил. — У этого же всякое отклонение от нормы вызывает недоверие. Но разве горный инженер, который увлекся физикой и хочет работать в близкой для него области, — близкой по влечению души, а не по соответствию дипломной квалификации, — патологическое явление? Нет... Скорее, этот маленький профессор просто не любит странных людей. А я для него странный...»

— У вас есть опубликованные работы?

— Три статьи. Две в трудах горного института и одна в инженерно-физическом журнале.

— Да-да, я вижу... Только это скорее физико-химия, у нас же... Не знаю, говорили ли вам? У нас теоретическая физика вакуума...

— Я знаю. Евгений Осипович говорил мне о каких-то криотехнических задачах.

— Ах, вот как... Отлично, отлично... В НИИУглеобогатения вы попали по распределению?

— Да.

— И проработали два года... В какой области?

— В самых разных. У меня не было постоянной темы... Так, передавали из одной группы в другую...

— Значит, два года? И ушли по собственному желанию... Почему, интересно?

— Скучно мне там было.

— Скучно? — Иван Фомич тихо засмеялся. — А вы веселья хотели? Какое же на работе веселье. Работа — дело серьезное. Эх, молодежь...

— Не веселья я искал, а настоящей работы. Творческой, которая... Ну, как бы это сказать?... Чтобы гореть, что ли...

— И вы пошли в цирк, — смех Ивана Фомича сделался чуть громче, но оставался все таким же корректным и невыразительным.

Михаил хотел ответить, что попал он в цирк совершенно случайно. Просто представилась возможность осуществить интересную идею. Он хотел рассказать об этой идее, о своих надеждах и о том, как пытался поступить в различные физические институты, но, взглянув на Ивана Фомича, он тихо махнул рукой и встал.

— Очевидно, я не подхожу вам... для работы. Извините за беспокойство.

— Нет-нет! Что вы! Я же ничего вам не сказал. Да я и ничего здесь не решаю... Решает Евгений Осипович. Он вас взял на работу, ему и... В общем, вы приняты. Сейчас мы спустимся в кадры. Пусть готовят приказ. Раз Евгений Осипович наложил свою визу, директор подпишет.

Взяв со стола анкету, копию диплома и прочие бумажки, Иван Фомич направился к двери. Но, не дойдя до нее, вдруг остановился и, обернувшись, сказал:

— А вы, собственно, можете подождать меня здесь. Зачем вам в кадры идти? Пустая трата времени, — он засмеялся. — Лучше пойдите к триста восьмую к Урманцеву. У него для вас письмо от Евгения Осиповича... Нечто вроде инструкции. Он у нас неугомонный, Евгений Осипович. Любит, чтоб все быстро, шумно, масштабно! Широкий человек! И увлекающийся... Ну, я побежал.



Михаил остался один в большом, отделанном под мореный дуб кабинете. Застекленные полки с книгами, картины и фотографии, четыре телефона, стол для заседаний и письменный стол, заваленный бумагами, книгами и всякими мелочами,— все говорило, что хозяин этого кабинета человек не только солидный и заслуженный, но и разносторонний, немного безалаберный и не простой, ох, не простой...

Зазвонил телефон. Михаил не двинулся с места. Телефон продолжал настойчиво звонить. Михаил оглянулся по сторонам и нерешительно снял трубку. Но звонил не этот телефон. Он положил трубку на рычаг и взял другую. Спрашивали Орта. Михаил сказал, что его сегодня не будет. Он еще раз оглядел лакированные книжные шкафы, картины, висящие на белых шнурах, и пришел к выводу, что никогда не был в таком солидном кабинете. И почему-то вспомнил о своих мытарствах, когда ушел из НИИ углеобогащения...

— Ну, кто же так поступает? — всплеснула руками мать. — Сначала подыскивают работу, договариваются, а потом уж подают заявление. Что же теперь делать будешь? Ведь взрослый уже, пора жить, как все люди.

Он пошел в Институт физической химии.

— Что вы кончали? — спросил инспектор по кадрам. — Физфак или химфак?

— Горный институт.

— М-да. Ну, что ж, оставьте ваши бумаги и... наведайтесь в конце будущей недели...

— Я готов работать на любой должности,— сказал он профессору Забельскому из ФИАНа,— лаборанта, механика. Только бы мне разрешили самостоятельно экспериментировать.

Профессор дал свой телефон и попросил позвонить дней через пять. Михаил позвонил, но ему сказали, что Забельский уехал в длительную командировку...

...Он попытался попасть на прием к директору Института химической физики, крупнейшему ученому и видному государственному деятелю, но секретарь направил его в теоретический отдел.

Заведующий отделом окинул Михаила отрешенным взглядом и дал ему дифференциальное уравнение второго порядка... Потом Михаил совершенно случайно узнал, что профессор принял его за протезе одной знакомой. «Здорово я отшил этого «позвоничника»,— сказал профессор, когда дверь за Михаилом закрылась.— По знакомству можно стать даже министром, но только не ученым».

И профессор принялся искать очки, которые разбил неделю назад.

...Досадно и нелепо проходило время, дни сгорали впустую.

Родители уже не спрашивали его, как прошел день и когда, наконец, он устроится на работу. А он чувствовал, что начинает сдавать. Он уже готов был пойти в первое попавшееся учреждение, чтобы снова два раза в месяц получать зарплату, спокойно возвращаться домой и не ловить жалостные и недоуменные взгляды.

И, главное, не звонить. Не звонить по десять раз на день совершенно незнакомым людям, ссылаясь при этом на очень мало знакомых людей.

Конец мучительному и неестественному существованию положила совершенно случайная встреча со школьным приятелем Тишкой Давыдовым в задымленной шашлычной. Михаил скупно и стесненно рассказал ему о своем патологическом невезении.

Через неделю он уже работал в цирке. На «подготовку и разработку новых цирковых номеров, основанных на законах современной физики» (именно так было записано в бухгалтерской ведомости) отпустили большие средства. За три месяца Михаилу удалось оборудовать очень неплохую лабораторию. «В лучшем научно-исследовательском институте, — подумал он, — на это ушли бы годы».

Его бурная деятельность довольно скоро нашла практическое выражение, обогатив программу известного иллюзиониста. К Михаилу стали относиться не только с уважением, но и с какой-то тревожной почтительностью.

— А у нас ничего здесь не взорвется? — спросил заместитель директора по АХЧ. — Все-таки физика — дело опасное.

— Я уже обещал не делать здесь атомную бомбу, — пошутил Михаил, — и постараюсь сдержать свое слово.

Счастливый иллюзионист получил эффектный номер с «саможаривающейся яичницей», а Михаил выявил влияние поля индукционной катушки на опалесценцию метана в критической фазе. Он даже подготовил небольшое сообщение. Но для публикации его в одном из научных журналов требовалось направление от учреждения и акт экспертизы. Цирк для этой цели явно не подходил, и Михаил спрятал статью в папку. А месяцев через восемь он нашел в американском журнале химической физики сообщение об аналогичных исследованиях.

В первую минуту он огорчился, но потом успокоился. Зато от потаенного беспокойства и постоянного ожидания каких-то перемен избавиться было труднее. Казалось, что вся атмосфера насыщена тревогой и наэлектризована ощущением непрочности.

Принимая от него непривычно большую зарплату, мать почему-то не радовалась и смотрела в сторону жалостливо и невесело. Теперь она никогда не спрашивала о его планах на будущее и сама уже больше не строила таких планов. Точно это будущее вдруг

сгорело, и нужно было жить лишь единым днем, ни о чем не задумываясь.

И сам он старался не думать о будущем. Может быть, потому, что оно рисовалось ему похожим на уже пережитые поиски и разочарования. Он знал, что переход к будущему лежит через некое понятие «устроиться», которое утратило для него условный абстрактный смысл и превратилось в символ бесконечных звонков и изматывающих разговоров. В то же время он и мысли не допускал, что оседет здесь, в цирке, надолго. Легче было обманывать себя надеждой, что подвернется случай, который сам собой все и разрешит.

Кроме того, нужно было осуществить тот эксперимент, единственно ради которого он, как ему теперь казалось, пошел сюда. В успехе эксперимента было заложено многое. И прежде всего, от него зависела вера в себя.

Иногда просачивалось темной водой сомнение: «А может быть, все правы, и никакой я не физик, а просто возомнивший о себе юнец, отлынивающий от настоящей работы?»

Но работал он много. Едва успевал спать и торопливо, кое-как ел. И нужно было следить за научной литературой. Не реже одного раза в неделю он ходил в зал периодики Ленинской библиотеки, просматривал реферативные журналы, выписывал на карточки названия научных статей.

И все же иногда такая жизнь представлялась ему странным запутанным сном. Тогда хотелось куда-то немедленно пойти, что-то кому-то объяснить, чтобы раз и навсегда поставить все на свои места. В ту или иную сторону разрушить, наконец, мучительное метастабильное равновесие.

«Как хочется жить просто», — подумал он однажды, и эта мысль показалась ему одновременно мудрой и легковесной. Он придумал эффектный трюк с твердой углекислотой, брошенной в аквариум, наполненный красной водой. Иллюзионист вынул такой аквариум из-под плаща. Клубился густой алый дым. Это было удачной заменой традиционных золотых рыбок...

...«Интересно, что делает сейчас Иван Фомич в отделе кадров? — пришла в растревоженную воспоминаниями голову мысль. — Наверное, исподволь ведет дело к тому, чтобы меня не взяли... Ну и пускай! Мне и в цирке неплохо. И зарплата высокая...»

Но стало обидно.

— Задумались? — спросил Иван Фомич. — Приказ уже на машинке. Так что можете приносить трудовую книжку.

— Спасибо, — смутился Михаил.

— Ну, за что тут благодарить! К Урманцеву заходили? Нет?

Тогда идите сейчас. Евгений Осипович хотел, чтобы вы сразу же начали думать над его заданием.

«Оказывается, он очень милый человек,— решил Михаил, выходя из кабинета Орта.— А я бог весть что надумал... Или у меня успел развиться какой-то комплекс неполноценности?»

Сейчас он впервые поверил, что будет работать в этом большом теоретическом институте. До сих пор, из чувства самосохранения, он смотрел на это как на мыльный пузырь, который вот-вот лопнет. В нем поднялось радостное волнение, и чтобы как-то выразить нахлынувшее чувство, он быстро-быстро пошел по коридору и, что-то напевая, взлетел по лестнице на третий этаж. Но тревога не проходила. Она затаилась глубоко-глубоко и мешала безмятежно ощутить неожиданную радость...

...Урманцев встретил его приветливо, но сдержанно-деловито. Достал стопку белой бумаги и стал объяснять задание.

— Вы знакомы с современными представлениями о структуре вакуума как некоего средоточия виртуальных частиц?

— Очень отдаленно. Кое-что читал о творящем поле и довольно смутно представляю себе осциллирующий вакуум.

— Для начала этого вполне достаточно... Так вот: мы хотим получить максимально чистый вакуум...

— На меня ложится криостатирование объема?

— Не перебивайте меня... Евгений Осипович хочет осуществить в таком вакууме мощный энергетический разряд... Он рассчитывает, что после этого свойства вакуума существенно изменятся. Понимаете?

— Вакуум перестанет быть вакуумом за счет эквивалентности энергии и массы?

— Дело не только в этом... Точнее, совсем не в этом. Вопрос стоит гораздо шире: о дуализме пространства-времени и массы. Это вам что-нибудь говорит?

— Н-нет... Честно говоря, нет.

— Не беда. Не все сразу. Пока от вас требуется только экспериментальное искусство и дьявольское хитроумие... Нужно убить сразу двух зайцев или поймать двух коней, хотя, если верить пословицам, это порочные методички... Вообще, поскольку глубокое охлаждение вакуумной камеры превращает ее в сверхпроводник, интересно попытаться использовать парение магнита для регулировки. Это дает жесткую взаимосвязь параметров тока сверхпроводника, объема камеры и напряженности конденсатора. Понимаете?

— Нет.

— Простите... Я-то уже над этим думал и формулировки у меня

отштамповались... Смысл же ясен только посвященным... Просто камера будет представлять собой конденсатор. Одна обкладка — сверхпроводник, другая — магнит, пустота — диэлектрик. Отсюда напряженность есть функция объема, то есть по сути пространства.

— Ясно! Понял!! Вот это да!

— Мне тоже это кажется интересным... Помните у Кипплинга? «Пора подаваться в свою стаю».

Михаилу стало так хорошо, как давно уже не было. Даже чуть-чуть щекотало ноздри. Он с трудом заставил себя следить за нитью рассуждений Урманцева. Радость искала выхода и мешала сосредоточиться.

— Как у вас прошел разговор с Иваном Фомичом? — неожиданно спросил Урманцев.

— Разговор? Ничего... прошел. А что?

Урманцев ничего не ответил. Михаил почувствовал себя уже не так радостно и безмятежно. Но был не в состоянии анализировать причину внезапного спада настроения. Чтобы преодолеть какую-то беспокойную внутреннюю паузу, он поспешил задать вопрос:

— До какой температуры придется охлаждать камеру?

— Одна тысячная градуса Кельвина.

— Ух ты!

Урманцев улыбнулся и как-то снисходительно и вместе с тем весело посмотрел на Михаила. И это было совсем не обидно, а скорее хорошо, по-свойски.

— Та-ак... — протянул Урманцев. — Ну, да ладно, продолжим наши игры. Чертить вы, конечно, умеете?

— Умею.

— Вот и набросайте эскиз. Думайте, коллега, думайте, как говорил мой учитель Мандельштам. Кстати, имейте в виду, что полученное вами задание не сложнее, чем то, которое Рентген дал при первом знакомстве Абраму Федоровичу Иоффе. Но и не проще, — после недолгой паузы сказал Урманцев. — И это должно страшно льстить нам обоим. Усекли?

— Усек! — улыбнулся Михаил.

— Тогда вам повезло.

— Да, здорово повезло, что я встретил Орта и вас!

— Ну, в этом-то вы ошибаетесь! И вообще, вы мне кажетесь закоренелым индетерминистом. Что у вас было в институте по философии? Четыре? Очевидно, к вам были слишком снисходительны. Учтите раз и навсегда, молодой человек, Орт лишь ускоряет правильно текущие процессы, но никогда их не инициирует. Вы все равно пришли бы в настоящую науку... Вопрос только во времени,

то есть мы не можем с достаточной вероятностью судить об очередности событий А и В, где А — время вашего первого соприкосновения с настоящим делом, а В — время вашего исчезновения как биологического объекта.

Они рассмеялись.

— Нет, кроме шуток! Орт в людях не ошибается.

— Но он же меня совсем не знал! Он просто искал... создателя этого злополучного циркового номера!

— Правильно. Он видел отлично сработанный эксперимент и захотел заполучить экспериментатора к себе в фирму.

— А может, я склочник? Пьяница? Или... вообще подлец? Я, помню, хотел пойти к одному доктору в ассистенты, так он прежде чем дать окончательный ответ, обзвонил всех, кто имел со мной дело...

— И не взял?

— Не взял.

— Были блестящие аттестации?

— Нет. Хотел взять, но не смог.

— А!.. Ну, у Орта так не бывает! И вообще людей он подбирает только по деловым качествам, все остальные свойства проявляются потом... К сожалению! Имейте в виду, юноша, у Орта великая душа, но он беззащитен против сволочей. Он теряется в их присутствии. Но хороших людей лелеет и в обиду никому не дает. Будьте хорошим человеком, и у вас будет великолепный шеф и отличный друг. Вы ведь хороший человек, Подольский! — Урманцев без тени улыбки смотрел прямо в глаза.

— Кажется, хороший,— чуть помедлив, серьезно ответил Михаил.

— Ну, сами себе мы всегда кажемся хорошими.

— Нет, не всегда. Я иногда очень мучаюсь, когда чувствую себя нехорошим.

— Отличный аргумент! Главное, очень последовательный и безукоризненно скоррелированный с вашей первой тезой, где утверждается, что вы хороший.

— Единство и борьба противоположностей,— улыбнулся Михаил. Ему нравился Урманцев, и он не обижался, когда ловил в его словах оттенок насмешливого превосходства.

— Ну, ладно. Пусть внутренние противоположности раздирают ваше единство, но над заданием подумайте. Приходите сюда в следующий вторник. Часов в десять. Вас примет Евгений Осипович. Он сейчас дома добывает свою монографию. Надеется закончить к понедельнику. Я думаю, что так оно и будет. Посему до вторника.

Подольский с нетерпением ждал очередного разговора с Ортом, но этой встрече не суждено было состояться. Евгений Осипович Орт умер в субботу вечером. Подольский узнал об этом только во вторник, когда пришел в институт.

## 7

Директор Института физики вакуума вышел из-за стола и поздоровался с профессором Доркиным. Усадил его в кресло и, отойдя к окну, сказал:

— Я обращаю ваше внимание, Ефим Николаевич, что это недопустимое явление в деятельности нашего института вообще и в жизни вашей лаборатории, в частности. У нас есть лимиты по расходованию электроэнергии. Мы не можем посадить весь институт на голодный паек только потому, что ваша лаборатория стала вдруг потреблять энергию, предназначенную для всего института. Вот посмотрите, пожалуйста, акты главного энергетика, докладные дежурных электриков, сигнал районного энергетика и вообще. Это материалы за последние два месяца.

Директор вернулся к столу и сердитым движением пододвинул заведующему электрофизической лабораторией стопку не очень чистых, помятых бумажек. Ефим Николаевич, поморщившись, принялся рассматривать документы.

— Самое печальное, Ефим Николаевич,— говорил директор,— что лично вы не можете сказать ничего вразумительного, чтобы хоть как-нибудь объяснить эту скандальную ситуацию.

Ефим Николаевич несколько секунд рассматривал выцветшие брови директора.

— Не могу, батюшка, не могу,— сказал он и вздохнул.— Все это как-то сразу навалилось на меня... Признаюсь откровенно, не разбирался, не интересовался я этим делом. Думал, брешут энергетика, как обыкновенно. Вечно они чем-то недовольны.

— Нужно принимать срочные меры.

— Приму, родной, приму, сейчас приду и всыплю этим христопродавцам. По первое число всыплю.

— Но... вы там не особенно, Ефим Николаевич,— неуверенно сказал директор,— чтобы не было, как в прошлый раз. Конечно, разобраться надо и наказать кого следует, но... вы сами понимаете, у вас очень способные ребята и с ними... Одним словом, вы не очень круто заворачивайте гайки.

— Нет уж, батюшка, Алексей Александрович, позвольте мне самому определить меру наказания. Я не допущу, чтобы в моей

лаборатории тишком-нишком какие-то эксперименты ставились. И вы, Алексей Александрович, ученый и я ученый. Мы знаем, что такой колоссальный расход энергии может быть связан с постановкой экспериментов в области сильных взаимодействий. В плане моих работ по лаборатории таких опытов не значится. Это я заявляю вам со всей категоричностью, ибо план подписан мною. Значит, что? Значит, какой-то сукин сын или суккина дочь (директор поморщился), простите за выражение, ставит опыты без моего ведома. Осуществляет какую-нибудь гениальную идею. У них там много идей. Разных, и гениальных, и... похуже. Я в принципе не против самодеятельности. Но чтобы без моего ведома, это уж извините! Я самым строжайшим образом пресеку. Я им покажу!

— Успокойтесь, Ефим Николаевич,— сказал директор.— Вам вредно волноваться. Не горячитесь.

— Благодарю, дорогой Алексей Александрович, но позвольте... одним словом, я вас скоро проинформирую об этом деле и о принятых мною мерах.

Маленький и седой, подвижный, как ртуть, Ефим Николаевич выпорхнул из глубокого кресла и понесся к двери. Директор с улыбкой посмотрел ему вслед и покачал головой.

...Через некоторое время в электрофизической лаборатории разразилась гроза. Сотрудники поживались, проходя мимо кабинета своего зава. Оттуда доносился треск молний и раскаты грома. Недаром ученики прозвали Ефима Николаевича «цунами». Его ярость была стихийна и неуправляема. Он сметал на своем пути любое препятствие и не терпел никаких возражений. Ему нужно было отбушевать. После этого он становился добрейшим и нежнейшим человеком, которого все любили и уважали. Приступ бешенства сменялся у него состоянием задумчивого созерцания. В такие минуты он, казалось, с удивлением и грустью изучал плоды своей кратковременной бурной деятельности. Он легко отходил, милейший Ефим Николаевич, но это мало утешало тех, кого накрывала волна «цунами».

— Мильчевский, к шефу!

Роберт вошел в кабинет, когда ураган достиг своего апогея. Шеф был без пиджака, воротник рубахи расстегнут, узел галстука сполз вниз на тощей груди. Епашкина с заплаканными глазами сидела на стуле и пила воду из граненого стакана. Зубы ее постукивали о стекло.

— Ах, это вы! — зарычал Ефим Николаевич.

«Людоед, чистой воды людоед,— подумал Мильчевский.— При



галстуке, с вилкой и ножом, с дипломом доктора в кармане, но все равно...»

— Признавайтесь! — заорал шеф. — Вы даю! Вот вы. Вы и вы! Я все знаю! У меня журнал! Вы больше всех торчали здесь по вечерам за эти два месяца!

Он размахивал канцелярской книгой, в которой велась запись внеурочных работ лаборатории.

— Она уже призналась, нет, не то!.. У нее не может быть такого абсурда. И я ей верю. Видишь, плачет! Я ей верю, а вам не поверю... Что бы вы мне тут ни говорили! Я вас знаю, я все знаю. Думаете, не знаю?

Он потрянул книгой, из нее посыпались листы. Епашкина с ужасом посмотрела на бумажки, лениво кружащиеся в воздухе, и принялась за воду... Рука ее тряслась.

Волна сокрушает гранит, но бессильна перед мягкой устойчивостью водорослей. Сила побеждается не силой, а слабостью. Итак, смирение и кротость, покорность и податливость, тогда удар пройдет поверху...

— Ефим Николаевич! — начал Мильчевский.

— Что?! Вы что-то хотите сказать! Молчите! Я знаю, какая-то глупость или того хуже. Вот у меня акт дежурного энергетика. На вас, Мильчевский, на вас! Вы тогда один сидели во всей лаборатории. Один! Ее не было, наверное, надоело пустяками заниматься, а вы что делали, позвольте вас спросить? Чем занимались, почему на подстанции полетели все эти... как их... такие маленькие штучки?... Он беспомощно и яростно вертел пальцами. — Ну, эти... да подскажите же, вы, экспериментатор!

— Тепловые реле, — послушно подсказал Мильчевский.

— Да, именно! Почему? А? И вообще! Почему мне не известно, что делается в моей лаборатории?! Черт побери, почему от меня все скрывают?

— Я...

— Нет, вы ответьте на мой вопрос! Почему от меня скрывают? Кто-то что-то изобретает, экспериментирует, а я не знаю! Может, идет проверка принципа относительности или создание водородной бомбы, а я не знаю! Я ничего не знаю! Меня обходят, мне не говорят, от меня скрывают. Я никогда ничего не знаю! Свои же сотрудники!

— В следующий раз я обязательно посоветуюсь с вами, — быстро вставил Роберт.

— Что?! В следующий раз? Его не будет, заверяю вас. Вы уволены. Все! Идите жалуйтесь в РКК, местком, куда хотите... А что вы там делали? — он воззрился на Мильчевского, как разъяренный

носорог. Маленькие глазки со страшной силой сверлили, пронизывали лаборанта. Если б энергия этого взгляда могла превратиться в тепло, последнего было бы вполне достаточно, чтобы Мильч целиком перешел в парообразное состояние.

«Господи, надоумь меня научной чушью...»

— Я проверял проводимость полимеров...

— Полимеров? Ха! Ерунда! Полимеры — изоляторы.

— Мои друзья из НИИпластмасс дали мне образцы материалов, обладающих электропроводностью. Я хотел осуществить прямой электрообогрев... некоторых полимерных тканей.

— Почему работа не в плане? Что за тайны? Почему скрыли от меня? Я ж говорю, мне никогда ничего не сообщают! Я не знаю, что делается в моей лаборатории. Мне приходится все узнавать от дирекции!

— Я хотел сначала попробовать, получить какие-нибудь результаты, а потом...

— Глупости! Одни глупости! Сплошные глупости! Что вы можете? Вы же даже не научный работник, а лаборант...

Шеф еще продолжал бушевать, неистовствовать, грозить, но Мильч видел — ураган стихает. Высокие водяные валы сменились пологими ленивыми волнами, гром откатывался за горизонт, вот в разрывах туч мелькнул кусочек ясного неба.

— Завтра покажете ваши образцы, я посмотрю, что вы там накуролесили. Ступайте, — вдруг совершенно спокойно сказал Ефим Николаевич.

— А вы останьтесь, — обратился он к Епашкиной, — я вам докажу, что дело здесь не в форме, а в содержании. Точности поучитесь у Ван-дер-Ваальса, голубушка... У Констама. У Гиббса...

Мильч, благодарно склонившись, вытек из кабинета, предоставив шефу возможность оправдать свою несдержанность в терминах философской науки.

Разговор с Ефимом Николаевичем взволновал его. Он не сомневался, что ему удастся обмануть старика, подсунув материалы трехлетней давности, о которых уже все позабыли. Дело было не в том, как объяснить колоссальный расход электроэнергии. Нужно было и на будущее сохранить Рог изобилия в состоянии безотказного действия. Можно, конечно, попытаться включить в план работ какой-нибудь дурацкий раздел, вроде этих электропроводных полимеров... Но тогда ему дадут научного руководителя, кандидата наук, и прости-прощай самостоятельность и свобода... Контроль в гроб загонит.

Нужно искать новые пути. Время не терпит. Время не ждет. День пламенеет.

Заемаг Иосиф Ильич ехал на работу со щемящим чувством ожидания неприятности. Он не считал себя суеверным. Нет, конечно, он не суеверен. Суеверны дураки и люди с нечистой совестью. Ни к одной из этих категорий он не принадлежит. Это ясно. Но все же, если подумать... Вспомнить только, как сбилось тогда свидение...

— Приготовьте билеты, граждане.

Иосиф Ильич сукул руку в карман. Билета не было. В размышлениях о сне и свидениях Иосиф Ильич забыл оторвать билет. Он отчетливо помнил звон монеты, опущенной в кассу, но билет... Какая досада! Забыл, и все тут. Правда, еще не поздно, катушка вон за спиной этого в мохнатой шляпе-тирольке. Стоит только протянуть руку... Автобус тряхнуло, и, о счастье, его прижало вплотную к прозрачной урне. Два поворота катушки и билет будет...

— Как вам не стыдно? А еще в шляпе! Приличный пожилой мужчина!

— Я же бросал,— Иосиф Ильич чувствовал, как щеки его заливаются бурным пунцовым румянцем.

— Знаем, как вы бросали! Я почти целую остановку с вами еду. Не втирайте очки, гражданин!

Иосиф Ильич смятенно смотрел в голубые разъяренные глаза контролерши. Прямо под ними, поглотивши нос и щеки, разверзлась черная огнедышащая пасть, похожая на кратер вулкана. Из кратера с грохотом вылетали камни и пепел.

— Хорошо, я еще брошу,— покорно сказал он.

— Еще бы! Конечно, бросите. Еще как бросите! Никто вам не разрешит за счет государства на транспорте кататься. А сперва штраф заплатите, как безбилетник!

Иосиф Ильич поспешил выполнить указание. Ему было страсть как обидно отдавать ни за что, ни про что пятьдесят копеек, но он не мог устоять против обрушившейся на него лавины. Ах, какие же они грубые, эти контролеры! И почему они такие грубые? Конечно, им приходится иметь дело с разного рода людьми, но все же нельзя так. Нельзя. Нужно мягче. Мы не преступники. Мы еще не преступники. нас еще не приговорили к расстрелу, нам даже не дали пятнадцати суток... Так за что же? А?

Иосиф Ильич подумал что-то о жестокости мягких женщин и беззащитности мужчин, но в это время автобус остановился. Иосиф Ильич заторопился к выходу. Сзади продолжали обсуждать происшествие:

— По одежде приличный человек.

— Не говорите. Теперь по одежде не разберешь. Иной жулик, что народный артист вырядится, а другого академика от дворника не отличишь.

— В возрасте все же, казалось бы, не к лицу.

Иосиф Ильич сошел с автобуса вконец расстроенный. Вот он, сон-то. Сбывается. И это только начало, что же дальше-то будет?

Он с тревогой вглядывался в лица прохожих. Ревизия? Не страшно. Что-нибудь такое... этакое? Разве Алексей снова пустится в какую-нибудь авантюру. Нужно проконтролировать.

В магазине все выглядело по-прежнему. День начался как обычно. Бодряшкина опять не вышла. Значит, болен ребенок. Беда с этой Бодряшкиной. Пришлось поставить Алексея на две секции. Он парень оборотистый, только глаз за ним нужен.

Иосиф Ильич постепенно успокаивался. Жизнь текла своим чередом. Хлопали двери. Что-то выкрикивала кассирша Анна Львовна. В отделе украшений женщины выстроились в очередь. Тетя Настя ругала покупателей, не вытиравших ноги о лежащий у входа грязный половик. Иосиф Ильич сделал ей внушение — он вспомнил контролершу автобуса.

Беда разразилась в обед. Иосиф Ильич не успел еще дожевать свой традиционный бутерброд, как вбежал Алексей. Он был растерян и испуган.

— Иосиф Ильич! Скорее... там пожар!

Иосиф Ильич поперхнулся, вскочил и выбежал. От застекленного прилавка с кольцами и сережками валил дым. Пламя показалось также и в часовом отделе.

Иосиф Ильич, взглянув на мечущихся продавщиц и оторопевшего Алексея, скомандовал:

— Спокойно! Огнетушитель. Сюда.

Через несколько минут пожар был прекращен. Остался только сильный запах гари и лужи воды, в которых плавала желтая пена и черный пепел.

Иосиф Ильич собственноручно вывесил на двери магазина табличку с надписью «Закрито на учет».

— А теперь,— сказал он, обращаясь к сотрудникам,— в пожарную инспекцию. В милицию. И еще — позвоните Семечкину. Он у нас по этим делам главное начальство. Никому никуда не выходить из зала. Алексей, приготовь опись товара.

Иосиф Ильич подошел к окну и выглянул на улицу.

Кто-то тронул его за локоть. Он обернулся. Перед ним стояла Надя, самая молоденькая из продавщиц. Ее лицо светилось сочувствием.

— Иосиф Ильич,— прошептала она,— не огорчайтесь...

— Мне нечего огорчаться,— отрезал зав.,— огорчаться придется кому-то из вас. Такие штучки не пройдут.

Он с отвращением посмотрел на разбитое стекло и две черные зияющие дыры.

— Неужели вы не понимаете,— грустно сказал он,— что металл не горит?

Надя отшатнулась.

— Как?! Вы подозреваете...— она вскрикнула. Все продавщицы и Алексей возмущенно загалдели.

— Оно само загорелось. Мы-то при чем? Несправедливо!

Алексей выступил вперед и, прижимая руку к груди, сказал:

— Напрасно вы на нас, Иосиф Ильич. Мы тут совсем ни при чем. Оно само загорелось. Как будто маленькая бомба взорвалась.

— Ничего не знаю,— сказал Иосиф Ильич.— Ничего не хочу слушать. Будете рассказывать начальству. Оно разберется. А пока молчите. Молчите и ждите. И между собой не болтайте.

Он вновь повернулся к окну. У витрины стоял неизвестный молодой человек и делал ему какие-то знаки. Иосиф Ильич махнул рукой, предлагая незнакомцу немедленно удалиться. Неужели неграмотный? Написано учет, значит, учет. Но тот не сдавался. Он умоляюще жестикулировал, кивал головой. Чтобы отвязаться от назойливого посетителя, а заодно и оталечься от черных мыслей, Иосиф Ильич вышел к нему.

— Что вам?

— Простите, я хотел узнать, не проданы ли мои...

— Покажите квитанцию,— перебил его Иосиф Ильич.

Его отличительной особенностью была способность помнить владельцев почти всех наиболее ценных вещей. Взглянув на две помятые бумажки, он сейчас сразу же все вспомнил.

— Часы швейцарской фирмы и подвески с бриллиантами,— пробормотал он, придерживая ногой дверь.

— Ага,— негромко сказал парень.

Иосиф Ильич с недоверием покосился на молодого человека. За ним уже собралась небольшая группа людей, норовивших проникнуть в магазин, невзирая на заградительную надпись.

— Нет, не продано. Я подвески еще утром видел,— сказал Иосиф Ильич и захлопнул дверь.

Потом вечером, анализируя события дня, он отмечал, что после этого разговора все дальнейшее распалось на отдельные фрагменты, в которых нелегко было отыскать внутреннюю логическую связь. Отсутствие такой связи очень раздражало Иосифа Ильича.

Сначала приехали пожарники. На красной машине с выдвигной лестницей и шланговыми барабанами. Все были в зеленых касках и при топорах. Пришлось им довольно долго толковать, что ничего не нужно тушить и все меры уже приняты. Потом появился инспектор охраны, а за ним и Семечкин в неизменном ратиновом пальто.

Сколько ни напрягал память Иосиф Ильич, он так и не мог вспомнить, о чем шел разговор с инспектором. А разговор был долгий, это он знал точно. Запомнилась только зеленая ковбойка инспектора и серый галстук под смятым воротничком. Семечкин тоже что-то очень много говорил, и главным в его речи было слово «попустительство». Затем появились представители ОБХСС. Они разложили бумаги на столе Иосифа Ильича и принялись писать. Сотрудников по одному вызывали давать показания.

Иосиф Ильич затосковал. Эти люди, шум, подозрительные взгляды — все действовало ему на нервы. У него разболелась голова, стало ломить в затылке.

Шариком подкатился Семечкин. Лицо его было торжествующее и суровое.

— Ну вот, — сказал он.

— Что вот? — спросил Иосиф Ильич, подымая глаза на начальника. Впервые за пять лет совместной работы ему пришла в голову мысль, что Артемий Игнатьич дурак. Сейчас Семечкин был далеким и пыльным. Его толстые губы шевелились смешно и неуместно, как в немом кинофильме.

— Не сходится. Мы провели инвентаризацию, — донесся до Иосифа Ильича голос из космоса.

— Как так?! — встрепетулся Иосиф Ильич. — Я утром все проверил.

— Не сходится, — повторил Семечкин, — не хватает часов и подвесок с бриллиантами.

— Не может быть?! — воскликнул Иосиф Ильич. — Золото не сгорает!

— Получается, что сгорает, товарищ, — ехидно заметил кто-то.

Усталость и оцепенение словно рукой сняло. Неопределенное туманное подозрение превратилось в реальную опасность, и с ней нужно было бороться. На честь Иосифа Ильича пала тень, с этим он не мог примириться. Бросился к ящикам и сейфам. В который раз проверил наличие ценностей по описи. Обшарил все углы. Семечкин не ошибался. Не хватало часов и подвесок. Часы бы еще ничего. Часы, черт с ними, это дешевка. Но подвески! Их стоимость выражена цифрой с тремя нулями.

— Странная, очень странная картина получается, гражданин заведующий, — говорил потом следователь. Иосиф Ильич хорошо,

даже слишком хорошо запомнил слова следователя и жест, с которым тот стряхивал пепел в морскую раковину.

— Пока не решен вопрос об источнике пожара, я не могу сделать окончательного вывода, но тем не менее... Пропажа ценностей, вы ее, кстати, никак не можете объяснить, наводит на мысль об умышленной акции. Да... Вот характеристики ваших работников. Они как... соответствуют?

Иосиф Ильич пожал плечами.

— В общем, они все люди честные.

— Это в общем, а на деле?..

«Неужели Алешка? Но какая это глупость, наивность даже...»

— Как мог возникнуть пожар?

— По показаниям ваших продавцов, дело выглядит довольно нелепо. Внезапно вспыхнула дюймовая доска, из которой сделан прилавок. Так же неожиданно загорелся ящик в дубовом шкафу, где хранились часы. Все это выглядит очень... неубедительно.

Иосиф Ильич молчал.

— Ну, хорошо,— сказал следователь,— пока там будут анализы, вы свободны. О дальнейшем сообщим.

Иосиф Ильич понимал, что должен что-то сказать, как-то направить ход мыслей следователя в нужную сторону. В конце концов, можно было даже попросить его. Ведь не так все ужасно. Двадцать лет незапятнанной репутации что-нибудь да значат... Им вновь овладела давешняя усталость. Разве что-нибудь докажешь? Глупый бессмысленный случай. К усталости примешалось тупое безразличие. Иосиф Ильич сидел с напряженным, неестественно одеревеневшим лицом и молчал.

Когда следователь спросил, наконец: «У вас есть что-нибудь ко' мне?» — Иосиф Ильич понял, что ведет себя глупо, бездарно, недопустимо. Его охватило отчаяние, смешанное с обидой и досадой на себя. Он пытался было что-то сказать, но вырвался только короткий странный хрип. Потом с большим трудом произнес:

— Не знаю...— и пошел к выходу.

## 9

После ОБХСС Черныш поехал прямо в институт криминалистики. На несколько минут он заскочил к Захарову. Тот шумно ему обрадовался. Но тотчас же начал говорить о каких-то делах.

— Ладно, ладно, все потом,— отмахнулся Черныш.— Володя, скажи, где мы держим наши фальшивки?

— Как где? — удивился Захаров. — Все там же, в металлическом сейфе.

— Вот здесь?

Черныш внимательно посмотрел на массивный красный шкаф в углу комнаты.

— А часики?

— И часики тоже. Все материалы по этому делу там.

Черныш приблизился к шкафу и стал его разглядывать.

— Включи верхний свет, — сказал он, — а то здесь темно, как в старой России. И вообще, какого черта ты сидишь без света, ведь облысел весь?

— Заблуждаешься, — ответил Захаров, включая свет. — Как раз ночью-то волосы и растут, а днем вылазят.

— Ладно, ладно, — сказал Черныш, доставая лупу и рассматривая стенку возле шкафа.

— Ты что, рехнулся? — спокойно заметил Захаров. — Что ты там ищешь? Следы преступления? Я тебе дам ключ, можешь открыть и проверить. К чему эти сыщицкие ухватки? В сейфе все в порядке.

— Ты так думаешь? — усмехнулся Черныш.

Захаров оторопело замигал глазами, затем бросился к столу, выдвинул один ящик, другой, начал что-то искать. Бумаги летели на пол, один лист залетел в узкую щель между шкафом и полом и оттуда его уже, конечно, не извлечь, а, наверное, это важная бумага и где-нибудь ее ждут.

Захаров рылся торопливо и мучительно медленно. Наконец его худая спина распрямилась. Он нашел ключ и бросился к сейфу, но Черныш остановил его.

— Стой, не торопись, старик!

Захаров молча уставился на него.

— Нужно пригласить Гладукова, — нахмурившись, сказал Черныш.

Захаров позвонил по телефону.

— Срочно, да, очень срочно. Нет, дело не терпит отлагательств. Здесь Черныш. Да. Хорошо. Сейчас они придут, — сказал он и вернулся.

— А почему, собственно, ты так торопишься? — с недоумением спросил Черныш, — разве ты...

— На такое обвинение я отвечаю только действиями, — резко ответил Захаров. Кончик носа у него побелел.

Черныш удивленно вытаращил глаза. Потом дико захохотал.

— Ты подумал? Я тебя... — он бросился к Захарову и стал мять его в объятиях. Тот сердито отбивался,



— Отстань, чумной! Мало тебя по голове били! Ведь задавишь, отстань, говорю...

Но уже улыбался, со стыдом и радостью чувствуя, в какое глупое положение попал.

Гладунов застал их веселыми, оживленно разговаривающими.

— Вы за этим звали? — спросил он. — Хотите показать свое хорошее настроение?

— Нет, нет! — Черныш встал. — Дело серьезное, Тихон Саввич, очень...

— Присядьте, пожалуйста, — предложил Захаров. Гладунов недоверчиво оглядел Черныша.

«Давай, давай, — говорили его чуть близорукие глаза. — Выкладывай, мальчик, что там у тебя, а мы посмотрим».

Черныш примерно знал, что думает каждый из них, и это доставляло ему удовольствие.

— Помните, Тихон Саввич, как удивительная идентичность фальшивок и часов натолкнула меня на мысль о том, что мы имеем дело не с обычным преступлением, а с загадкой, тайной природы? Вы не согласились со мной и, наверное, остаетесь на своих позициях до сих пор. Но в подтверждение своих мыслей я получил новые материалы и сейчас их покажу.

Гладунов пожал плечами. Наверное, все же молодежи от жизни нужно нечто большее, чем истина. Им нужна еще и ложь успеха, треск славы, барабаны известности...

— Во-первых, книга. Воспоминания немецкого антифашиста, узника лагеря смерти Залсенхаузена. События, сходные с нашими. К этой книге прилагается перевод.

Гладунов взял книгу, посмотрел обложку, сказал:

— Что еще?

— Вам этого мало?!

— Вы сказали во-первых. Значит, должно быть и во-вторых? Черныш помолчал.

— Будет и во-вторых, но... здесь есть риск.

— Давай, давай.

— Значит так, — Черныш подумал. — Я утверждаю, что в Институте криминалистики произошла кража... нет, исчезновение следственных материалов.

— Ты понимаешь, что говоришь? — тихо спросил Захаров.

— Погоди, — остановил его Гладунов. — Ты сказал кража, потом исчезновение. Как понимать это?

— Я пошутил, — быстро поправился Черныш. — Речь идет об исчезновении. Только об одном исчезновении.

— Так, — Гладунов прищурился. — О каких материалах идет речь?

Скрывая улыбку, Черныш опустил голову, потом ответил:

— Прошу учесть, я целую неделю отсутствовал и только сейчас первый раз за все это время пришел в институт.

— Учтем. О каких документах идет речь?

— Я говорю о золотых часах швейцарской фирмы, которые были изъяты из комиссионных магазинов по делу о фальшивых деньгах.

Захаров шагнул вперед и протянул Гладунову ключ.

— Проверьте!

У Гладунова лицо моментально сделалось серым и скучным.

— Вообще-то,— нехотя протянул он,— у нас по таким вопросам существует специальная комиссия, но все же... Ну, хорошо, откройте сейф!

Захаров шагнул вперед, деревянно и напряженно, вставил ключ и резко повернул. Послышался скрип, но ключ не поддавался. Анатолий Павлович быстро потерял свою скованность, ожесточенно сился повернуть ключ.

— Завело что-то,— пробормотал он. Лицо его покраснело от натуги.

Наконец, Гладунов позвонил и вызвал слесаря с электродрелью. Через несколько минут замок был рассверлен. Но никто из присутствующих не решался взяться за ручку сейфа. Все сосредоточенно смотрели на металлические опилки, серой горкой павшие на пол, на израненную дверцу сейфа и молчали.

Черныш молчал, потому что не должен был касаться этой ручки. Захаров потому, что очень не любил новых неожиданных дел и ощущений. Даже когда его жена меняла старое платье на новое, он испытывал скрытую горечь и раздражение.

А Гладунов ждал. Сейчас откроют эту дверцу, и в комнату войдет что-то новое. Какое оно — неизвестно. Хорошее, плохое — трудно сказать...

— Открывай! — скомандовал Гладунов, и Захаров распахнул дверцу сейфа.

Пустота.

Захаров отшатнулся и побледнел. Даже Черныш широко открыл глаза, он надеялся увидеть там хотя бы деньги.

Внутренность сейфа была черная, покореженная. Темно-синяя краска собралась на стенках в гармошки, повисла рваными клочьями. На задней стенке, словно зарево, горело большое оранжевое пятно.

— Смотрите, следы! — возбужденно прошептал Захаров, указывая на дно сейфа. Черныш увидел две четкие темные тени. Полукружия часовых браслетов пересекались, словно змеенные кольца.

— Анатолий Павлович, все освидетельствовать и запротоколировать, понятно? — распорядился Гладунов. — Друзья, отойдите, пожалуйста, подальше. Нужно сфотографировать внутренность сейфа. Дело становится слишком серьезным.

— Я понимаю, все это лишь вступление, — сказал Гладунов, обращаясь к Чернышу, — вам, вероятно, известно кое-что еще?

— Немного, совсем немного... Но сначала я должен извиниться, что облек свое сообщение в столь глупую торжественную форму...

— Ничего, это произвело определенное впечатление, — заметил Гладунов, — а вы, наверное, этого и добивались.

— Да, я хотел остановить ваше внимание... — заметил Черныш, — мне казалось...

— Понятно, — прервал Гладунов. — Так что же вам еще известно?

— Дело вот в чем. Если вы обратили внимание, в сейфе, очевидно, развивались высокие температуры. Обгорела краска, окислилось железо. Следы действия высокой температуры видны даже на стене. Только действие это кратковременное. И хорошо, что Захаров не имеет привычки класть в сейф бумаг, чертежей, шляп. Потому пожар не состоялся! Зато он произошел в одном комиссионном магазине. Там сгорела пара золотых часов, правда, сгорели не только часы, но все равно...

Гладунов пристально смотрел на Черныша.

— Что за чушь?! — сказал он громовым голосом. — Как могут гореть часы, металл, стекло, минералы? Вы понимаете, что говорите? Ну, с комиссионным, где вы, очевидно, сегодня побывали, все понятно, это обычный прием воров: замечать следы огнем. Под эту лавочку там могли весь магазин растащить, не только какие-то жалкие часики. Но как, по-вашему, могли развиваться высокие температуры в сейфе, в закрытом сейфе?

Черныш упрямо опустил голову.

— Вы мне опять не верите, Тихон Саввич, а я снова повторяю, здесь мы имеем дело с загадкой природы, с еще неизвестной тайной материи...

— Ерунда, — оборвал его Гладунов. — Мы имеем дело с очень ловким неразгаданным преступлением. Как же, по-вашему, здесь возникли высокие температуры, уничтожившие деньги и испарившие золото? Нужно провести анализ стенок сейфа, — добавил Гладунов, обращаясь к Захарову. — Продолжайте, Григорий Ильич.

Пока Черныш развивал свои идеи о превращении материи в энергию, о страшном тепловом эффекте этой реакции, Гладунов думал о том, что все его предчувствия оправдались. Новое вошло

в жизнь всех троих. Оно уже заставило Захарова сесть за стол и с озабоченным видом исписывать страницы протокола.

Нет, но послушать этого фантазера, просто уши вянут... Какой вздор! Распад ядерный, распад радиоактивный... Все же он слишком молод, ох, молодо-зелено. Ой-ой-ой! Сидят где-то мастера своего дела и работают. Работают с выдумкой, на широкую ногу, рискованно.

Нужно продумать, как бы их найти. И все. Поймать их за руку. В этом вся задача. А Эйнштейн, Дирак и другие пусть остаются физикам.

Черныш почувствовал, что говорит впустую.

— Может, это и смешно, — сказал он, — но во всяком случае не только я так думаю. Немецкая книжка подтверждает мои слова.

Гладунов внимательно посмотрел на него.

— Хорошо, — сказал он, — время покажет. А пока придется расследовать сей казус. Я сам займусь этим.

## 10

Орт умер за пишущей машинкой. Но не работе над монографией были отданы последние секунды его жизни. Он составлял ответ на докладную записку, которую скорее следовало бы именовать клеветническим доносом.

Предшествовавшие этому моменту события развивались приблизительно так.

Иван Фомич ненавидел Орта рабской завистливой ненавистью. Как ни странно, эта ненависть развилась из сознания, что всеми своими успехами он обязан только Орту. Все в Орте раздражало Ивана Фомича. Он не мог понять, почему Орт прощал ему и многим другим мелкие подлости и закулисные наветы. Орт легко мог бы сокрушить его, но почему-то не делал этого. Иван Фомич, в силу известной односторонности своей натуры, не допускал и мысли, что Орт мог просто царственно не замечать весьма далекой от науки деятельности некоторых сотрудников. Деятельности, которая составляла смысл существования Ивана Фомича.

А Евгений Осипович торопился жить и глотал жизнь взахлеб. Он знал, как мало времени отводит природа человеку на настоящее дело, и спешил сделать как можно больше. Он просто не позволял себе отвлекаться на пустяки. Постепенно у него выработалась привычка вообще не реагировать на все, что он считал посторонним.

И это очень мешало в работе ему самому и всем честным порядочным людям, которые его окружали. В такой обстановке терпимости или, вернее, безразличия к нечистоплотным действиям возросла ненависть Ивана Фомича.

Как укор, как личное оскорбление воспринимал он шумную хлопочущую деятельность Орта. Евгений Осипович легко переносил неудачи и, улыбаясь, выходил из таких передраг, которые другим стоили не только здоровья, но и оптимизма. И то, что Орт был не просто талантливым ученым и великолепным организатором, но и стойким, всегда бодро настроенным человеком, часто выручало его, вопреки самым мрачным прогнозам недругов.

Недругов было немало, но еще больше было друзей. Преданных, прочно покоренных обаянием Орта, сохранившего детское, удивленное восприятие мира.

И это было ненавистно Ивану Фомичу. Орт был недостижим для его острых, но мелких зубов, иммунен к лживой и ядовитой ненависти. Смехом, шуткой, каким-то беспечным неприятием всерьез самых тяжелых обвинений он умел разрушать действие убедительнейших сигналов даже в ту эпоху, когда им придавалось большое значение.

При желании к Орту можно было придраться. Одним своим существованием он давал для этого бесчисленные поводы. По своему усмотрению он легко менял планы, утвержденные высшим начальством, подбирал людей, ни с кем не советуясь, и выгонял дураков, невзирая на их высокие связи. Создатель авторитетнейшей научной школы, он легко отказывался от своих взглядов, когда они казались ему устаревшими, чем вводил в смущение людей, хотя и добросовестных, но ограниченных. Ортодоксы считали его поверхностным.

Перед лицом истины для него не было ни свата, ни брата, и это создавало ему в глазах некоторых коллег репутацию тяжелого человека, с которым трудно ужиться. Научная молодежь боготворила его и верила безгранично. Не задумываясь, он поручал вчерашним студентам, если замечал в них божью искру, ответственные задания — и редко ошибался. Поддерживал задиристых петушков в их наскоках на дугие авторитеты и заскоружные догмы.

Все это бесило Ивана Фомича. Уж он-то вел бы себя иначе! Только бы стать академиком или пусть членом-корреспондентом, как Орт. Но здесь была не совсем обычная зависть к личным успехам. Еще более остро завидовал Иван Фомич беспечному безразличию Орта к высоким званиям и большим окладам. Академические титулы в принципе достижимы для каждого исследователя, но безразличие к ним — свойственно большим увлеченным людям.

Именно этого безразличия Иван Фомич никак не мог простить своему шефу.

Время для удара, по мысли Ивана Фомича, было выбрано удачно. Работая над монографией, Орт последнее время редко бывал в институте и не мог противопоставить потаенной интриге личное обаяние. Само по себе это уже много значило.

Кроме того, недавно академиком-секретарем их отделения был избран давнишний противник Орта. Казалось бы, при таких обстоятельствах можно было бить без промаха.

Но, несмотря на всю хитрость и изворотливость, Иван Фомич не был умным человеком. Он не мог достаточно точно оценить ни коренных перемен в жизни страны, ни психологии людей, на него самого не похожих.

Академик-секретарь не был похож на Ивана Фомича. Он, правда, не отличался большой терпимостью, порою даже бывал грубоват, но, крупный ученый и удивительно прямой человек, он терпеть не мог интриганов и склочников. Прочтя адресованную в Президиум Академии докладную, он брезгливо поморщился и спросил референта:

— Мы обязательно должны отреагировать на это..?

— Конечно, Валерий Никодимович! Ведь это не анонимка, и раз есть входящий номер, должен быть и исходящий.

— А ну вас... с вашими входящими-исходящими! Пошлите это директору института, пусть он и разбирается.

Так докладная Пафнюкова попала к директору института.

Алексей Александрович возмущился.

Зная, как относится к таким вещам Орт, он позвонил ему на квартиру.

— Евгений Осипович, тут на тебя твой лучший друг накапал. Всякая грязь, понимаешь ли, одним словом — ерунда. Не стоит выеденного яйца, но, сам понимаешь, реагировать надо... Ну да, переслали мне. Ты коротко напиши... ну, разъяснение, что ли. Ответь по пунктам и срочно пришли мне. А уж я задам ему перцу! Да, на мое имя. Ну, будь здоров! Я тебе сейчас pošлю ее с курьером. Как работа? Продвигается? К понедельнику закончишь? Ждем.

И Евгений Осипович, отложив монографию, стал отвечать по пунктам. Его глаза устало скользили по машинописным строчкам. Он прочел, что уводит лабораторию от решения кардинальных задач, что занят разработкой отвлеченной теоретической проблемы, которая никогда не даст выхода в практику.

«Злоупотребляя своим авторитетом, Е. О. Орт,— писал Иван Фомич,— неоправданно раздул штаты лаборатории, лишив тем самым соседние секторы необходимых единиц. Лично подбирая кад-

ры, он руководствуется странными и тенденциозными критериями и пренебрежительно относится к советам сотрудников лаборатории. Догматически понимая указания партии о выдвижении молодых работников, он возлагает решение важнейших вопросов на совершенно неподготовленных людей, лишенных необходимых знаний и опыта. Достаточно сказать, что, вопреки общему мнению, Е. О. Орт единолично назначил на конкурсную должность младшего научного сотрудника... артиста Московского цирка тов. Подольского, который не только не имеет отношения к разрабатываемым лабораторией проблемам, но и вообще никак не связан с физикой» (последняя строка была кем-то отчеркнута красным карандашом).

Далее Иван Фомич писал о разбазаривании государственных средств, беспринципном распределении премий, потоке никому не нужных диссертаций и т. д. и т. п.

Одна фраза задержала внимание Евгения Осиповича. В ней говорилось о его «неделовых» взаимоотношениях с «личной» стенографисткой Л. С. Самариной, которую «Е. О. Орт даже вызвал, за государственный счет, к себе в санаторий, где находился на излечение после перенесенной болезни».

Он отложил бумагу, снял очки и разгладил морщины под глазами.

Так недостающий до критической массы миллиграмм урана вызывает цепную реакцию. Так ничтожное сотрясение воздуха рождает снежную лавину в горах. Так капля переполняет чашу. Так падает на раскаленный песок навьюченный верблюд от груза последней соломинки.

Орт двуязычный, ему все нипочем, он все вынесет. Это стало привычкой. Он может руководить десятью аспирантами, направлять лабораторию, курировать институты, писать монографии, статьи и научно-популярные книжки, выступать на конгрессах и симпозиумах, редактировать и реферировать, быть оппонентом и участвовать в работе различных обществ.

А когда он мыслит?

Всегда. В троллейбусе и в столовой, на работе и дома, во сне.

А когда он «реагирует на сигналы»?

В перерывах между работой.

А бывают у него перерывы?

Нет!

Но перерыв наступил. У Орта остановилось сердце. Он схватился за грудь обеими руками. Попытался глотнуть воздух. И медленно сполз на ковер.

А дома никого не было. Все куда-то ушли. Ведь была суббота. Даже родные и близкие привыкают развлекаться самостоятельно-

но, если человек постоянно работает. И близкие люди не лгут, когда уверяют, что ему не нужен отдых. «Он отдыхает, чередуя работу». И это правда, потому что так было всегда. Они просто привыкли к этому. И никогда не задумывались, что могло быть иначе.

Вскрытие не подтвердило инфаркта. Это был просто сердечный шок. Если бы позвали врача, который жил в квартире напротив, Орт мог бы еще долго жить. По крайней мере, так говорили врачи. Впрочем, медицина, как и любая наука, не может учесть всего. Она предвидит лишь общее течение процесса. И действительно, иногда можно не учитывать частности...

Сначала никто не хотел верить. Но постепенно около дома, в котором жил Орт, собралась толпа. Большие и сильные мужчины плакали. Все как-то сразу и неотвратимо поняли, кого потеряли. Все и каждый в отдельности. Полетели телеграммы. Зазвонили телефоны в редакциях газет и толстых академических журналов.

Орт умер за несколько дней до своего шестидесятилетия, которое намечалось пышно отпраздновать. Юбилейная комиссия была срочно переименована в комиссию по увековечиванию памяти, а сданный в печать юбилейный сборник трудов лаборатории превращен в памятный.

После торжественной панихиды похоронная процессия отправилась на Новодевичье кладбище. Был и Иван Фомич и тоже плакал. Подольский крепко держал под руку Урманцева, который шагался от горя.

Больше сперва ничего не произошло.

Пытаясь прогнозировать дальнейшие события, мы встречаем уже значительно большие трудности. Удаление во времени от узлового пункта сопровождается увеличением числа неучтенных и даже неожиданных явлений. Такие флюктуации могут в корне перечеркнуть умозрительное представление и направить процессы совершенно в иное русло. Физик охарактеризовал бы такое состояние системы повышением ее энтропии. Но для систем бесконечно больших, примером которых может служить Вселенная, а тем более для явлений, протекающих в человеческом обществе, понятие энтропии мало применимо. Как и любое другое понятие, в неизменном виде привнесенное из одной области знания в другую.

Поэтому трудно было заранее предсказать, как сложатся взаимоотношения сотрудников Института физики вакуума после смерти Орта.



Когда Иван Фомич пригласил Подольского к себе в кабинет для беседы, Михаил почувствовал неожиданное облегчение. С тех пор, как умер Орт, он каждое утро испытывал тоскливое чувство стеснения и тревоги. Просыпаясь с этой устоявшейся тяжестью, он еще яснее ощущал ее, подходя к институту. Ему казалось, что оборвались какие-то очень важные нити, соединяющие его с институтом, точнее, дававшие ему право приходить сюда. Еще ему казалось, что все вокруг сомневаются в этом его праве и каждый раз удивляются приходу молчаливого и странного человека. Он старался меньше общаться с коллегами, реже обращаться к механикам, стеклодувам, снабженцам. Интуитивно ожидая, что в ответ на какую-нибудь просьбу его спросят: а кто вы такой и что здесь делаете? — он предпочитал обходиться своими силами. Незаметно он сам отделил себя невидимой стеной от коллектива. Стеной, которая вначале ему только мнилась и которой, ведя он себя иначе, могло не быть.

Но тяжелее всего он переживал внезапное сужение горизонта, закрытие полыхающих зарницами волнующих далей. Даже если ему и удастся благополучно довести начатую работу до конца, он тем самым сразу же обрубит последнюю связь. Впрочем, не это было главное. Он перестал чувствовать себя частицей огромной ликующей реки. Если первые ослепительные дни, когда он работал по заданию Орта, он был приобщен к ее целенаправленному потоку, то теперь видел, как постепенно река мелеет, разделяется на отдельные рукава, подсыхает на неожиданных излучинах.

Все это и заставило его ежеминутно ожидать решительного разговора с руководством, который, как ему казалось, не сулит ничего хорошего. И когда этот миг наконец настал, он не почувствовал ни удивления, ни испуга. Скорее, наоборот, сознание, что он не ошибся в своих предчувствиях, доставило ему какую-то невеселую радость. Еще он испытал облегчение, что это наконец пришло, и кончилось изнурительное ожидание.

— Давненько я с вами не беседовал, — сказал Иван Фомич, указывая на необъятное кожаное кресло. — Расскажите-ка мне, как у вас дела.

— Идут помаленьку, — ответил Михаил, усаживаясь на самый краешек.

— Это хорошо, что идут... А над чем вы сейчас работаете?

— Над схемой регулировки параметров тока в сверхпроводнике.

— Как, вы все еще не бросили эту... странную затею?

Михаил понял: Иван Фомич хотел сказать «дурацкую затею».

— Как я могу бросить дело, которое мне поручено?

— Правильно! Дисциплина прежде всего. Это я виноват, что вы потратили столько времени зря. Но за всем ведь не уследишь. А дел у меня по горло. Вот, хотя бы, смотрите,—Иван Фомич указал на заваленный бумагами стол,— нужно подготовить материал для Президиума Академии, написать два отзыва, выступить с докладом на философском семинаре... Да всего и не перечтешь,— он махнул рукой.— Но теперь вы можете считать себя избавленным от этой заведомо никчемной работы... Что бы вам такое подобрать?

— Простите, Иван Фомич, но я не считаю эту работу никчемной. Да, кроме всего, у нас договор о соисполнительстве с Институтом физпроблем.

— Вот-вот! Пусть Институт физпроблем этим и занимается. А мы серьезное учреждение, нам фантазии ни к чему.

— Простите, я не понимаю.

— А вы побывайте там и поймете! Достаточно послушать, как у них ученый совет проходит. Все с шуточками да прибауточками. Никакого уважения к науке. Ну, да это ихнее дело... Вашу тему я уже исключил из плана на будущий год. Мы вам дадим более серьезное задание.

— Могу я продолжить свои исследования в нерабочее время?

— Это ваше дело. Только для того, чтобы оставаться в лаборатории по вечерам, нужно разрешение директора.

— Хорошо. Я попрошу такое разрешение.

— Вот это молодец! Люблю увлеченных людей! В науке без увлеченности невозможно... Но и про трезвость забывать нельзя. Про трезвость! Мы должны быть очень трезвы. Вы думаете, я это так с вами говорю, просто потому, что не хочу, чтобы вы, проработав год-два, остались с носом? Не-ет. Я знаю, о чем говорю. Ведь то, чем вы сейчас занимаетесь,— чистойшей воды идеализм! Вы поняли? Идеализм!

— Позвольте! Ведь эту тему поставил Евгений Осипович...

— Ну и что? Ну и что, я вас спрашиваю. Вы думаете, великие люди не ошибаются? Ошибаются. Евгений Осипович был очень увлекающимся человеком. Вы его, может, один раз видели, а я с ним двадцать лет проработал. Двадцать лет! И он прислушивался к моему мнению. Будь он жив, он бы сам сейчас отказался от этой идеалистической идеи.

— Но при чем тут идеализм?

— Как при чем? Вы разве не понимаете, куда ведет идея о двойственности мира, о дуализме вещества и пространства? Впрочем, я забыл, вы ведь не физик... Откуда вам об этом знать.

— Да, Иван Фомич, в моем дипломе не сказано, что я физик, но это не мешает мне кое-что понимать. Случайно я знаю, что во-

уже скоро сорок лет физики говорят о дуализме частиц и волн. Это теперь не удивляет даже школьников! Известно мне, что идеи о диалектическом единстве вещества и пространственной метрики высказывали Мандельштам, Вейль, Капица, Картан, Амбарцумян и другие знаменитые ученые, как советские, так и иностранные.

— Это хорошо, что вы читаете литературу. Но, как я вижу, ни системы, ни глубокого понимания у вас нет. Так себе, скользите по поверхности, как водомерка... Ха-ха... Да вы не обижайтесь, я по-дружески... Вы лучше почитайте работы Эддингтона, Хойла, Бонди и других идеалиствующих физиков из папской академии в Ватикане.

— Читал я эти работы, Иван Фомич! Ни Эддингтон, ни Хойл с Бонди никогда в Ватикане не работали. Это крупные исследователи, обогатившие науку. А то, что они допускали идеалистическое толкование наблюдаемых явлений, давно уже вскрыто и философами и физиками. Не бывает идеалистических фактов, можно только идеалистически интерпретировать те или иные явления. И я тоже не идеалист, я учился в советской школе и советском вузе. Комсомолец я. Да и не во мне дело. Наша философия достаточно сильна, чтобы не бояться экспериментов над вакуумом.

— Плохо вы знаете философию, если так говорите. Когда идея эксперимента явно порочна, порочным будет и сам эксперимент. А идея получения вещества из ничего ведет к богу, к акту творения! Понятно?

— Не из пустоты, а из вакуума, Иван Фомич. Странно, что мне, не физику, приходится говорить об этом вам. В любом учебнике физики вы найдете, что вакуум не пустота, а некий материальный фон всевозможных виртуальных квантов, в котором плавают наша Вселенная. Если хотите, я вам Большую Советскую Энциклопедию принесу...

— Нигде в энциклопедии не говорится, что можно получать вещество из ничего.

— Не из ничего — из вакуума! И не просто получать, а выбивать виртуальные кванты, приложив огромный энергетический потенциал... Как же тогда, по-вашему, были открыты антипротон и антинейтрон? Или анти сигма-минус-гиперон, который академик Векслер получил на синхрофазотроне в Дубне?

— Я вижу, вы основательно успели подковаться. Одобряю. Но я знаю больше вашего. Я теорию Дирака читал, когда вас еще и на свете-то не было. И профессора Наана слышал на симпозиуме... Но у меня свое мнение и своя теория. Там, где вы различаете внешнюю сторону, я вижу суть вещей. Тематика лаборатории будет меняться. Капица, Векслер, Ландау, Амбарцумян — они пускай, чем хотят, занимаются — на то они и академики, а мы своим делом бу-

дем заниматься. Нам важно научиться получать хороший вакуум. А теорией пускай другие занимаются... Положим, я даже ошибаюсь насчет идеализма, но что даст такая работа народному хозяйству? Что?

— Как что? А астрономия что дает?

— Ну, хватил, мил-человек, астрономия! А космонавты наши? Как же без астрономии корабли-спутники выводить?

— Не это я имею в виду, Иван Фомич. Я о галактической астрономии говорю. Как с ней быть? К чужим галактикам человечество, может, и полететь-то никогда не сумеет. Шутка-ли — тысячи световых лет! Но ведь изучают галактики и звезды изучают, физику звезд! И большие средства государство отпускает на все это.

— А кто этим занимается, мил-друг? А-ка-де-ми-ки! Большие авторитеты! Звезды считать да спорить о конечности или бесконечности Вселенной — это заслужить надо. Сначала поработай как следует, не чураясь черного труда, принеси народу пользу, тогда и занимайся звездами. А сейчас нам с вами никто этого не разрешит. Так-то вот! То, что позволено было Евгению Осиповичу, никому другому не позволят. Потому что Евгений Осипович большой ученый был и заслуги перед государством имел немалые.

— Поэтому вместо того, чтобы продолжать его дело, вы решили изменить тематику?

— А вот об этом не вам судить. Отвечать за все я буду. Я могу ведь приказать, только хочу, чтобы вы поняли. Не о себе забочусь, на мой век хватит, а у вас еще все впереди. Сколько людей мечтает на вашем месте очутиться. Настоящих физиков, универсантов! А вы вместо того, чтобы думать о дальнейшей работе, упорствуете, хотите себе напортить. Кто вас перед отделом кадров защищает? Я! Если бы я не желал вам добра, на кой шут мне с вами тут время терять? А? Согласны со мной?

— Согласен, — преодолевая внутренний протест, промямлил Михаил.

— Ну, слава те, господи, наконец дошло! — и уже другим, будничным, тоном продолжил. — Я для вас приготовил таблички... Вот они. Тут их штук сорок. Вычертите мне их тушью на ватмане. Это демонстрационная графика для отчета. Только каждую отдельно, пожалуйста, и покрупней, чтоб издали было видно.

— Я не чертежник, Иван Фомич, а исследователь. Если, кроме чертежной работы, вы мне ничего не можете поручить, я лучше продолжу свои исследования.

— А вы к тому же и белоручка... В ваши годы я о самостоятельной теме и не помышлял. Делал что придется: чертил, мыл пробирки, перетаскивал тяжести. Я не могу приказать вам чертить для

меня таблицы. Формально не могу. Что же касается ваших, как вы говорите, исследований, я запрещаю заниматься ими в рабочее время. Наконец, вообще запрещаю заниматься ими до решения директора. О вашем отношении к работе я подам докладную.

— Тоже в Президиум Академии наук?

— Что? Что вы сказали?!

— Что мне еще рано на кладбище. Подавайте вашу докладную!

Сразу же после ухода Подольского у Ивана Фомича состоялся разговор с начальником отдела кадров.

— Он совершенно не нужен в лаборатории, Петр Ильич,— усеивал Иван Фомич.— Да и по своей квалификации он не соответствует должности. Ведь ничего общего с физикой!

— Раньше об этом нужно было думать, Иван Фомич,— ответил начальник отдела кадров, укладывая в темный зев громадного нескороаемого шкафа какие-то папки.— У меня нет никаких оснований... Да вы и сами знаете, как трудно сейчас уволить или даже просто переместить сотрудника.

— Но здесь-то дело совсем другое,— развел руками Иван Фомич.— Случайный он человек, случайный. Наконец, нарушает трудовую дисциплину, не выполняет приказаний начальника.

— Факты, Иван Фомич. Факты.

— Да я вам их целую кучу принесу!

— И хорошо. Вот тогда и поговорим.

— Ладно, ладно. Договорились... У меня еще есть дело к тебе, Петр Ильич. Подольский хочет проводить какие-то свои исследования в нерабочее время... Понимаешь, не могу я оставлять постороннего человека в лаборатории. Тревожно мне.

— Понимать-то я понимаю. Только не посторонний он... Раз наш сотрудник, значит уже не посторонний. И никто ему запретить не может, если только не вредные они, его исследования...

— В том-то и дело, что вредные! За тем и пришел к тебе, а ты мне помочь не хочешь.

— А коли вредные, запрети! Письменно запрети. А нарушит — пиши докладную.

— Так-то оно так... Только он к директору собирается идти за разрешением. А директора-то нашего ты, слава богу, знаешь. Подмахнет, не глядя, а мне потом кашу расхлебывать.

— Ну, не понимаю тебя, Иван Фомич, пойдй сам к Алексею Александровичу и растолкуй ему.

— Боюсь, он неправильно поймет... Дело это довольно тонкое. Чисто формально Подольский продолжает работу, начатую Ортом. Понимаешь? Орт, не подумав, как-то бросил идею, а тот и подхватил... Неудобно мне в это дело мешаться... Могут решить, что я зажимаю

работы Орта. Вот я и думал, что, может, ты... директору-то подскажешь. Тебя-то он во как слушает, не то что меня!

— Ну, это ты брось, Иван Фомич. Он всех одинаково слушает. А я тут ни при чем. Не мое это дело в науку путаться. Что же касается нарушения трудовой дисциплины, давай факты.

— Значит, не хочешь помочь старому другу?

— Не могу, Иван Фомич! Рад помочь, но не могу.

— М-да... Ну, ладно... Да! А как насчет того дела? Ну, о переводе Меконицкой и Лебедева из группы Урманцева?

— И это сейчас решить мы не можем. Сам знаешь, Урманцев-то в командировке.

— А зачем он нам сейчас нужен? Давай переведем их... временно. А вернется Урманцев — оформим все как полагается.

— Нельзя без Урманцева. Никак нельзя!

— Ой, что-то ты больно осторожен стал, Петр Ильич!

— Не понимаю, о чем это вы, Иван Фомич?

— Ну, хорошо. Бывай! Привет Марье Кузьминичне.

— Всего хорошего, Иван Фомич. Заходи.

— Зайду, Петр Ильич. Обязательно зайду.

Только в коридоре Иван Фомич утратил привычную, в складеньких складочках, улыбку. Нахмуренный и озабоченный, он сразу же стал выглядеть намного старше. Но его никто не видел.

В тот же день, проходя мимо кабинета Орта, где теперь сидел Иван Фомич, Подольский увидел плачущую девушку.

По-детски закрыв ладошками глаза, она стояла, наклонившись к стене. Юбка-колокол до колен открывала ее тонкие ножки. Сжатые горем плечики казались узенькими и хрупкими. Михаил узнал Ларису — стенографистку и машинистку — секретаря Евгения Осиповича.

Остановившись у нее за спиной, он некоторое время смотрел, как беззащитно она плачет, потом нерешительно дотронулся до ху-дого локтя.

— Что с вами, Лариса? Кто-нибудь обидел.

Не оборачиваясь, девушка отчаянно помотала головой. Рывдания усилились.

Михаил мучительно, не находя слов и не решаясь уйти, все еще касался застывшей рукой ее локтя. Неожиданно девушка обернулась и, не отрывая ладошек от ослепшего лица, уткнулась ему в плечо. Сразу стало жарко и неудобно.

— Может, воды принести?

Лариса попыталась ответить что-то.

— Я сейчас! Сейчас принесу! — заторопился он, безуспешно пытаясь прислонить ее обратно к стене.

Она затрясла кудряшками, что-то сказала, но он уже побежал по длинному высокому коридору мимо больших строгих дверей.

Ларисины зубки мелко стучали о край граненого стакана и крупные капли воды расплывались на ее коричневой кофточке темными пятнами. Она долго не могла отдышаться и все еще вздрагивала. Немного успокоившись, она достала из кармана пудреницу, но, увидев свое красное опухшее лицо, опять разрыдалась открыто и горько.

Произошло же вот что.

Лариса встретила в коридоре Ивана Фомича. Она поздоровалась с ним и прошла мимо. Иван Фомич проводил ее взглядом и вдруг позвал:

— Можно вас на минуточку?

Лариса обернулась и, увидев, что Пафнюков машет ей рукой, подошла к нему.

— Что-то давно вас не видно. Вы не болели?

— Каждый день бываю здесь, Иван Фомич. С девяти до пяти.

— Так-так. Ну, и что же вы здесь делаете каждый день?

— Когда что...

— Вы как будто еще где-то учитесь?

— В библиотечном институте, на втором курсе.

— Молодец какая! Прямо молодец. Да и куда теперь без образования? Все учатся. Но, кроме учебы, есть еще и работа. Вы меня понимаете? Евгений Осипович здесь многих разбаловал. Распустил! И вас, милая, в том числе. Да, да, я все знаю! Запомните, я лодырей и дармоедов в своей лаборатории не потерплю!

Иван Фомич грозно взмахнул рукой и пошел к себе.

А Лариса осталась стоять в коридоре.

...Михаил сжал зубы и тихо сказал:

— Пойдем домой. Я провожу тебя.

Они вышли на улицу. Было холодно. Но свежий запах весны уже щекотал ноздри.

Михаил мучительно не находил слов, хотя чувствовал, что Лариса ждет, когда же он что-нибудь скажет.

— Правда, что ты работал в цирке? — наконец спросила она.

— Правда.

— Почему ты ушел?

— Захотелось настоящего дела.

— А там было не настоящее?

— Не знаю... Мне казалось, я могу делать что-то большее, чем выдумывать новые фокусы.

— Там, наверное, было много красивых женщин? Гимнастки, наездницы... акробатки? И ты, наверное, жалеешь, что ушел из цирка? Правда ведь, жалеешь?

— Единственное, о чем я жалею, это о смерти Евгения Осиповича. И всегда буду жалеть.

— Он был хороший... Очень хороший! Все остальные и мизинца его не стоят... Тебе, наверное, сейчас очень трудно? После вольной цирковой жизни попасть к нам...

— Кто тебе наболтал о вольной цирковой жизни? Это такая же работа, как и всякая другая.

— Такая же? Ты что, и номерок там снимал?

— Нет.

— Ну, а теперь снимаешь!

— Как будто дело только в этом.

— Конечно, нет! Я имею в виду интриги, сплетни...

— Это ты везде найдешь... И в цирке тоже... Если, конечно, будешь искать. А не будешь — поймешь, что это не главное, а наносное, как пена в половодье.

— Собираешься читать мораль?

— Нет... Сколько тебе лет?

Она помедлила и ответила как-то недоуменно и тихо:

— Девятнадцать... А что?

— Просто я гораздо старше тебя.

— Ну уж! Сказанул. Тебе двадцать пять?

— Двадцать восемь.

— Все равно! Видали мы таких стариков...

Быстро спускался вечер. Разлапистые черные ветви деревьев на фоне побледневшего неба казались абстрактными композициями.

— Давай,— Михаил взял ее за руку,— пообедаем где-нибудь. Она покорно пошла за ним.

— Меня, наверное, уволят,— сказала Лариса, когда они вышли на Большую Грузинскую.— И скоро...

Грохот и лязг трамвая заглушил ее слова. Между темными колесами последним отблеском угасающего дня мелькали рельсы.

— Почему ты так думаешь? — спросил Михаил, когда проехал трамвай.

— Знаю. Только мне наплевать! Уж как-нибудь устроюсь.

— А мне бы не было наплевать...

— Но ведь тебя-то не увольняют... по сокращению штатов. И диплом у тебя есть.

— Как знать... Но дело не в этом. Я так мечтал работать в настоящей физической лаборатории! А теперь все рухнет...

— Ну почему?!



— Я был нужен только Евгению Осиповичу. Для остальных я так... случайный человек. Сегодня — физик, завтра — циркач. Если бы я еще поладил с Иваном Фомичом.

— А зачем ты не поладил? Ведь ты же хочешь работать у нас?

— Вот именно. Работать, а не служить. Служить от звонка до звонка можно, сколько угодно, в Москве таких мест много найдется. А вот настоящую работу мне очень трудно будет найти, к сожалению. Иди, доказывай в отделе кадров, что ты физик, когда на бумажке ты... В общем, с формальной стороны — все против меня.

— Говорят, в цирке ты получал больше?

— Да.

— А назад тебе туда нельзя?

— Можно, наверное... Только не хочется мне...

— А ты сходи к нашему директору. Или, еще лучше, поговори раньше с Урманцевым. Он человек хороший и понимающий...

— Говорил я уже с Урманцевым... Ничего он мне не обещает. Не знает, что с ним самим-то будет. Волнуется за свою докторскую диссертацию. Трудно без шефа. И вообще! Не понимаю, что с людьми вдруг сделалось. Все забились в щели, чего-то боятся, шушукуются. Неужели со смертью человека рушить все его дело? А?

— Смотря какой человек... Уж очень многое на одном Евгении Осиповиче держалось.

— Это его и погубило. Жаден он был на работу и необыкновенно расточителен на самого себя. Ты права. Делай он поменьше сам, теперь было бы легче... А так все растерялись, не знают, как дальше быть. Я несправедлив был только что, люди действительно растерялись. Не привыкли к самостоятельности. Боязнь за себя тут ни при чем. Скорее это я за себя боюсь... Куда ты думаешь пойти, если тебя действительно уволят?

— Не знаю... Была бы шея, а работа найдется. У нас безработных нет.

— Зря ты так... Хочешь в цирк? Там тоже машинистка нужна, наверное. И вообще, там можно что-нибудь найти для тебя.

— Ой! Ты это правда?

— Конечно! У меня там много друзей.

— Так ты поговори, Миша! Завтра! Не забудь только...

— Не забуду.

— Может, и ты в цирк вернешься?

— А может, хватит сегодня о цирке? Ты как бабочка на огонь летишь. Впрочем, каждому свое... Я бы на всю жизнь себе лучшей работы не пожелал, чем эта.

— Да брось ты в самом деле! Свет в окошке... Институт, как

институт. Зато и платят мало. Это старшим научным сотрудникам тут хорошо и докторам... А мне...

Лариса снова заплакала, тихо, изредка шмыгая носом.

Михаил сразу же растерялся.

— Ну, не надо... Ему это так не пройдет... Вот увидишь!

Лариса вынула из сумки маленький надушенный платочек. Он сразу же промок и сжался в комок. Михаил достал из кармана свой и протянул ей.

— Он в саже...

— Как в саже? — удивился Михаил. — Ах, здесь! Я совсем забыл... Это вчера, на эксперименте... Высоковольтный кенотрон сгорел. Вывинчивать руками горячо, да и закопченный он весь...

Она фыркнула и стерла последние слезы кулаком. Михаил тоже засмеялся.

— Зайдем в кино? — вдруг спросил он, когда они поравнялись с «Баррикадами».

— Билетов не достанем... Давай лучше еще погуляем... Расскажешь мне что-нибудь.

— Хочешь, расскажу про море Дирака?

— Это где такое?

— Везде... Вокруг нас, внутри нас.

— Только давай пирожков купим. Вон старуха с корзинкой, хорошо бы с капустой!

Они купили горячие, лоснящиеся маслом пирожки и тут же съели их.

— Хочешь еще? — спросил Михаил, вытирая своим испачканным в саже платком жирные пальцы.

— Нет. Теперь пить хочется.

— Ну, пойдем тогда в кафе-мороженое.

В длинном зале они отыскивали пустой столик, спрятавшийся между помпезными дорическими колоннами. Официантка поставила перед ними металлические запотевшие вазочки с разноцветными шариками пломбира и стаканы с малиновой водой.

— Ты хотел рассказать про море.

Михаил взял стакан и посмотрел на свет. Приклеившиеся к стенкам пузырьки заволновались и полетели вверх.

— В море Дирака, — начал он почему-то шепотом, — тоже есть свои пузырьки. Физики называют их дырками. Смешно, не правда ли?

— Нет. Я часто слышала это слово от Евгения Осиповича, когда писала под диктовку.

— Ах, да! Конечно... А об эволюции метagalактики ты тоже слышала?

— Нет,— она покачала головой. В тусклом свете люстр ее высоко взбитая прическа блеснула медным отливом хны.

— Тогда слушай... Это было давно. Очень давно. Наверное, пятнадцать миллиардов лет назад, когда, как уверяют некоторые ученые, не было ни атомов, ни даже самого времени. Вселенная тогда была очень маленькая. Она могла бы уместиться в пространстве теперешней земной орбиты. И вдруг произошел взрыв. Впрочем, это было не вдруг. Просто в какой-то момент скрытые эволюционные изменения привели к скачку, и вселенная взорвалась. Она кипела, как адский котел. Рождались частицы, атомы, элементы. Вселенная пухла, как на дрожжах, и разлеталась во все стороны, как осколочная мина. И все это уже протекало во времени, которое с тех незапамятных пор неумолимо отсчитывает секунды жизни и людей и звезд. А наша метagalактика все разлетается и разлетается. Уносятся прочь друг от друга звездные острова, меняется кривизна пространства, уменьшается тяготения. Может быть, и время меняется тоже и все ускоряет и ускоряет свой сумасшедший бег. Но главное не в этом. Разбегание галактик, рассредоточение вещества должно привести к разжижению вселенной...

Михаил взглянул на Ларису. Она лениво ковыряла ложечкой ноздреватые груды сиреневого мороженого, смешивая с шоколадным. Время от времени она кивала головой, скользя глазами по сторонам. Удлиненные, они казались странными и глубокими. «Совсем не слушает»,— подумал он и нарочно стал говорить запутанно и сложно:

— Чтобы спасти вселенную от разжижения, пришлось дополнить теорию концепциями творящего поля, рождения квантов из ничего. Это был тупик. Только на основе представлений Дирака о природе вакуума... Ты слушаешь меня?

Она вздрогнула.

— Конечно, слушаю. Ты рассказываешь очень интересно... Об этом... О звездах...

— А может быть, поговорим о чем-нибудь другом?

— Почему же? — слабо запротестовала она.— Так интересно было слушать.

— Мне очень трудно сейчас, Лариса,— неожиданно для себя сказал он, взяв ее за руку.— Еще недавно я был маленькой частицей большого потока... А теперь я остался один. Только частица, а потока нет.

Он даже поморщился от своих слов, почувствовал, что говорит не так.

— В общем, понимаешь, Орт хотел качественно и количественно промоделировать процесс рождения вещества из вакуума. Я по-

могал ему создать установку, с помощью которой можно было бы индуцировать трансмутацию пространства в кванты. Но Орт умер, и я остался один... Я не могу забыть об этом. Я должен, должен поставить такой опыт. Иначе я буду грызть себя всю жизнь.

— А какое практическое значение будет иметь этот опыт?

Михаил удивленно взглянул на нее и вдруг понял, что она опять ушла в себя и, стараясь казаться умнее, лишь повторяет где-то подслушанные фразы.

— Не знаю... пока... Может, тысячи лет люди не выжмут из этого ничего. Это же научный поиск, который не измеришь никакими деньгами и без которого человечество выродилось бы в шайку прагматических роботов. Правильно писал один академик — плохо еще у нас планируют научные работы. Разве можно порой предсказать результат и до копейки подсчитать экономический эффект от того или иного исследования? По крайней мере, в применении к поисковым работам это абсурдно... Ну да ладно, это уж другой разговор.

— Знаешь, Миша, я раньше думала, что про таких людей, которые за все душой болеют, только в книжках пишут. А ведь ты такой...

— А ты не такая? А Евгений Осипович? А Урманцев?

— Да, правда... Только Евгений Осипович академик... был. Ему положено за все отвечать.

— Эх ты! Если бы Евгений Осипович делал только то, что ему по штату положено, он бы еще сто лет прожил.

— Оно и плохо, что человек сердце свое на работу истратил.

— Может, для здоровья это и плохо. Да ведь и жить-то для жизни в общем вредно... Когда все люди будут жить и работать, как Орт, тогда болеть за дело и для здоровья станет полезно.

— Ты лучше расскажи, как у тебя с твоим опытом?

— Плохо. Иван Фомич работу запретил, так что я теперь только по вечерам буду этим заниматься.

— Поговори с Урманцевым.

— Не до меня ему сейчас.

— А ты все-таки поговори...

— Может и правда стоит поговорить? Ведь он-то действительно не знает, как у меня дело продвинулось... Ладно. Только сделаю первый опыт, самый грубый, приблизительный.

— Вот и молодец. И про цирк не забудь... Насчет меня.

— А ты точно знаешь, что тебя хотят уволить?

— Я сама там больше не останусь!.. Пойдем. Мне уже домой пора.

Он проводил ее до подъезда.

— А про море Дирака ты мне так и не досказал! — сказала она, подавая ему на прощание руку.

— Да-а! Знаешь что, тут у меня экземпляр популярной статьи Урманцева. Прочитай, тогда поймешь, — он писал ее для пионеров.

Этой ночью Михаил несколько раз просыпался, растревоженный запахом ее духов, который, казалось, навечно приклеился к его руке.

...А Лариса так и не прочитала перепечатанную на машинке статью. Ее Урманцев написал по просьбе редакции журнала «Знание — сила», но редактор усомнился в ее доходчивости и переслал в «Технику — молодежи».

«...Античастицы и проблема существования антимиров» стали предметом оживленных споров не так уж давно. Примерно с осени 1955 года, когда Эмилио Сегре и Оуэн Чамберлен сообщили миру об открытии ими антипротона. Но не тогда человеческий гений прорубил окно в антимир.

В 1928 году знаменитый английский физик Поль Дирак работал над теорией строения электрона. По мысли Дирака, эта теория должна была включить в себя не только новейшие достижения теоретической и экспериментальной физики, но и отвечать тем требованиям, которые вытекали из теории относительности.

Тогда-то и было выведено замечательное уравнение, определяющее силы и магнитные свойства электрона. Несмотря на то, что теория не расходилась с результатами экспериментов, она насторожила многих ученых. И недаром. Новая теория предполагала существование электронов с отрицательной энергией и отрицательной массой. Под влиянием электростатических сил подобные электроны должны были бы двигаться в направлении, противоположном обычным. Нечего говорить, что термины «отрицательная энергия», «отрицательная масса» были в то время малопонятной абстракцией. В природе этого не наблюдалось, и физики не спешили с признанием «электронов-ослов» (так прозвали тогда дираковские электроны). Тогда Дирак построил теорию, которая стала известна под названием море Дирака.

Представьте себе, что электроны получили отрицательную энергию. А то, что мы называем пустотой, на самом деле есть бесконечное множество таких вот электронов, которые обладают самым различным запасом энергии. Но электромагнитные и гравитационные поля этих электронов в сумме равны нулю. В том «море» дираковских электронов, подобно пузырькам воздуха в воде, заключены пузырьки или дырки свободного от электронов пространства. Дырка — это как бы антиэлектрон. Когда в такую дырку попадает обычный электрон, происходит их взаимное уничтожение

с выделением электромагнитных квантов. Это, как в алгебре. Минус один да плюс один в итоге дают ноль.

Излишне говорить, что дырку свободного пространства все-таки необходимо было чем-то «наполнить». Поэтому некоторые теоретики пытались представить отвлеченную дираковскую идею в виде единственной известной тогда положительной частицы — протона. Но и здесь возникали препятствия. Во-первых, почему в атомах протон и электрон достаточно долго уживаются, тогда как дираковская теория требует почти немедленного уничтожения противоположно заряженных электронов, а во-вторых, куда девается тогда разница в массе электрона и тяжелого протона? Чем глубже погружались теоретики в море Дирака, тем меньше оно им нравилось. На помощь Дираку пришел... космос.

В 1932 году в космических лучах был обнаружен предсказанный Дираком антипод электрона — позитрон. Равный электрону по массе, позитрон обладал положительным зарядом и противоположно направленным магнитным моментом.

Так была обнаружена первая античастица. Первый посланец антимира!..

...Можно ли получать вещество из пустоты? Да, можно. Не надо забывать только, что физический вакуум — это не пустота, а особая форма материи. Если создать в лаборатории космический вакуум или, наоборот, вынести лабораторию в космос, то это можно подтвердить экспериментально. С помощью сильного электрического разряда из вакуума выбиваются электронно-позитронные пары. Через очень небольшой промежуток времени электроны и позитроны аннигилируют, в результате чего выделяется довольно значительная энергия. По силе таких «микровзрывов» можно судить и о концентрации вещества, полученного из... вакуума».

## 11

Спустившись во время перерыва в буфет, Михаил обнаружил на доске приказов свою фамилию. На узкой полоске папиросной бумаги было напечатано:

«За самовольный уход с работы 18, 21 и 27 февраля с. г. младшему научному сотруднику Лаборатории теории вакуума Подольскому М. С. объявить выговор. Основание — докладная записка зам. зав. лабораторией И. Ф. Пафнюкова».

Под этим стоял лиловый штамп «верно» и подпись начальника канцелярии.

Недоуменно шевеля губами, Михаил два раза прочел приказ, но так ничего и не понял. Он не мог вспомнить, что именно делал 18, 21 и 27 февраля, но самовольный уход с работы? Нет, здесь явно была какая-то ошибка.

Он оглянулся и, увидев, что у доски собралось несколько человек, боком проскользнул к лестнице. Поднявшись бегом на второй этаж, с независимым видом пронесся по коридору в тщетной надежде не встретить никого из знакомых.

Остановившись у приемной директора, он взялся за ручку двери, отдышался и уже спокойно вошел.

— Здравствуйте, Розалия Борисовна,— обратился он к секретарю.— Алексей Александрович у себя?

— Он сейчас не принимает. У него секретарь партбюро... Как же это вы оскандалились, Подольский?

— Я, собственно, за этим и пришел... Никогда я не уходил с работы самовольно, Розалия Борисовна. Если куда я и уезжал в рабочее время, то отмечался в книге.

Розалия Борисовна раскрыла амбарную книгу с голубой линованной бумагой, в которой сотрудники фиксировали связанные с работой отлучки.

— Здесь записано, что 18, 21 и 27 вы уезжали в электромеханические мастерские. Так?

— Но я действительно ездил в мастерские! Там это могут подтвердить!

— Не в этом дело. Иван Фомич сказал, что запретил вам посещение мастерских.

— Когда? У нас и разговора-то об этом не было!

— Он же перевел вас на другую тематику. А вы вместо того, чтобы выполнять порученное вам дело, ездите зачем-то в мастерские.

— Да, Розалия Борисовна. Вместо того, чтобы чертить какие-то таблицы, я работал над экспериментом, который был задуман Евгением Осиповичем. Думаю, что это важнее, и акатывать мне выговор...

— Это приказ директора и обсуждайте его с директором.

— Вот я и пришел поговорить с директором.

— Он сейчас занят.

— А когда он освободится?

— Не знаю.

— Вы мне не позвоните в лабораторию, когда он сможет меня принять?

— Если каждому, кто хочет попасть к директору, я буду звонить, то, знаете ли, у меня и рук не хватит.

«При чем тут руки»,— подумал Михаил и молча вышел из приемной.

Впервые в жизни он чувствовал себя таким безвыходно одиноким. С каким-то безнадежным равнодушием поднялся он в лабораторию и взялся за привычную работу.

Вот уже два месяца он, вопреки всему, открыто работал над ортовским экспериментом. Опустив свинцовое кольцо в дьюар с жидким гелием, он позвонил лаборанту.

— Никто не отвечает,— сказала телефонистка, и в трубке слышались частые гудки.

Куда-нибудь смотался, разгильдяй, усмехнулся Михаил и, достав листок бумаги, принялся писать объяснительную записку на имя директора. Потом смял бумагу в комок, бросил в корзину и подошел к окну.

В желтоватых небесах неслись слабые весенние облака. Базарными леденцами таяли искрящиеся на солнце сосульки. На темных и грязных тротуарах появились большие сухие пятна. Длинноногие девочки в коротеньких пальтишках прыгали через веревочку. Мальчики играли в расшибалку.

Все у меня как-то не так получается. Стремлюсь, лечу, а под конец — срыв. Как в детской игре в царя горы... Стоит этакий мерзавец — царь и толкает тебя в грудь, когда ты, кажется, уже сумел взобраться...

В соседних отсеках гудели приборы, звякало стекло, время от времени доносились обрывки разговоров, смех. Михаилу вдруг захотелось, чтобы кто-нибудь подошел к нему, расспросил и сочувственно помотал головой.

«Может быть, они еще ничего и не знают?»— подумал он. А внизу на тротуаре совсем крошечная девчушка ловко скакала сразу через две летящие в противофазы веревки. Это напомнило Михаилу схему работы лампы обратной волны.

Он отошел от окна и, натянув резиновые перчатки, достал из стеклянного кристаллизатора с ацетоном свинцовый диск с круглой дыркой в центре. Осторожно переложил его в кристаллизатор с эфиром и, подойдя к стенду, включил форвакуумный насос. Взыл электромотор, застучали передаточные ремни. Ровный установившийся гул покрыл все звуки, доносившиеся из соседних отсеков.

Михаил потянулся было к телефону,— еще раз позвонить Мильчевскому, но подумал, что обойдется и своими силами, и не позвонил. Высушив тяжелый скупно поблескивающий диск в струе нагретого воздуха, он установил его в гнездо и повернул ручку патра. Стрелка амперметра дрогнула и стала медленно уползать от



нуля. Михаил сбросил напряжение и сразу же пустил жидкий гелий. Когда температура в сверхпроводнике уравнилась, вновь дал ток. Момент не был упущен. Все шло отлично...

## 12

Собираясь на заседание Ученого совета, Урманцев с непонятным для него самого облегчением ощутил, что именно сегодня, через какой-нибудь час, наступит развязка. Он ждал ее, понимая в то же время, что ничего хорошего она не принесет. Но сохранять обманчивое статус кво, основанное на принципе «худой мир лучше доброй ссоры», казалось уже немислимо. Атмосфера в лаборатории была сродни той, которая царила в Европе накануне сараевского выстрела. Тайная война шла полным ходом, и каждый знал, что вот-вот придется схватиться в открытую. Нужен был лишь первый выстрел.

Впрочем, именно здесь вольно или невольно Урманцев заблуждался. Выстрел уже был. И не один. Противник буквально забрасывал Урманцева снарядами самых разных калибров. И то, что он с кислой улыбкой принимал их за булавочные уколы, дела не меняло.

Теперь он ясно ощутил, что, надеясь избежать войны, просто не отвечал на огонь. А это, как известно, плохая тактика.

Прежде всего, здесь сказались последствия необычайной терпимости Орта. Во времена средневековья такие, как он, с блуждающей улыбкой шествовали на костер, зная, что оставляют после себя нечто неподвластное огню. Пока был жив Орт, всплески потаенной вражды были подобны белогривым валам, грозным и гневным, но едва достающим золотых лодыжек Родосского колосса.

Во всяком случае, было очень удобно и спокойно думать, что все именно так и обстоит. Ради этого не замечались такие, говоря словами Рабле, ужасающие деяния, о которых стоило вещать пожарным колоколом...

...В сорок девятом году у Орта были большие неприятности. Он не мог не ощущать их, но по-прежнему вел себя так, будто ничего не случилось. Легкость характера и сказочное везение оказались надежнее любой брони в те времена, когда любая броня могла оказаться ненадежной. Туча прошла стороной. Но за это пришлось расплачиваться. Орт получил первый инфаркт и вынужден был обособиться в кремлевском корпусе Боткинской больницы.

Тогда-то и появилась в газете знаменитая статья, инспирирован-

ная профессором Федосовой и Иваном Фомичом, или, как их именovali за глаза, «парой нечистых».

У Елены Николаевны вообще были обширнейшие знакомства, с автором же статьи, известным очеркистом «на моральные темы», ее связывала давняя дружба. Статья была посвящена только что вышедшей книге Орта «Майкельсон и мировой эфир». Книга была раздолбана как угодническая перед Западом, а сам Орт оказался причисленным к космополитам. Оргвыводы должны были последовать с минуты на минуту.

Но Елена Николаевна действовала быстрее разящих молний Зевса. Она вложила в большой конверт два экземпляра газеты со статьей о «безродном космополите» Е. О. Орте и заказным письмом отправила прямо в Боткинскую больницу.

Газета попала к Орту в кровать еще до того, как ее распространители в киосках Союзпечати! Говорят, что он закричал тогда: «Хотите убить меня? Не выйдет!» Состояние его резко ухудшилось. Тройчатка из камфоры, промедола и атропина каждые полчаса выскальзывала из тонкой иглы и спешила смыть вздрагивающее израненное сердце. Ночи проходили на сплошном кислороде. Синеющий дрожащий рассвет начинался внутривенным вливанием магнезии.

Но Орт выжил.

Безоблачным летним утром появился он однажды в лаборатории, все такой же большой, жизнерадостный и небрежный. Разве чуть-чуть похудевший. Внутренне он как будто не изменился. Если и были какие-то изменения, знал о них только он один. Елена Николаевна встретила его, как Пенелопа Одиссея. Тихо улыбаясь, Иван Фомич вынес свои бумаги из кабинета Орта.

Евгений Осипович был со всеми одинаково ласков и мил. Как будто ничего не изменилось. Через некоторое время к этому привыкли. Лаборатория работала хорошо, и у начальства сложилось мнение, что Орт создал удивительно дружный, спаянный коллектив.

«Мы все виноваты в его смерти,— думал Урманцев,— мы отсиживались за его широкой спиной».

Те времена, когда спорить с демагогами было опасно, прошли, но Урманцев и такие, как он, все еще не преодолели в себе рудиментарные отголоски. Брезгливо сморщив нос, проходили они мимо тайных подлостей, утешаясь сомнительным доводом, что порядочные люди в такие дела не вмешиваются.

А порядочные люди вмешивались. Все более активно и властно...

Урманцев не замедлил бы выступить против явных открытых

нападок на дело Орта, на его воспитанников и друзей. Здесь он не знал компромиссов. Но и в этом тоже сказывалась известная его ограниченность. Он не учитывал, что мещане с высокими учеными званиями лучше приспосабливаются к условиям среды, чем все остальные приматы. Тайный интриган и ловко мимикрирующий демагог, равнодушный ко всему, кроме собственного покоя,— вот с кем нередко приходится схватываться настоящим ученым. От укусов эlegantных научных скорпионов нет предохранительных сыворотов. Они — плоды зависти и невежества, и бороться с ними можно только светом. За ушко да на солнышко. Противно брать их за ушко? Ну что ж, омой после руки одеколоном и тщательно вытри косовым платком. Другого выхода ведь нет.

Собирая бумаги в черную капроновую папку, Урманцев внутренне готовился к борьбе. Настроение у него было приподнятое и нетерпеливое. Он решил драться, не задумываясь о последствиях, не надеясь ни на чью помощь. Но тут он опять ошибался. Радуюсь и удивляясь происходящим в себе переменам, он не заметил, что такие же перемены происходят и в других. Не заметил потому, что это была эволюция, постепенный, но неуклонный и необоримый процесс, следовавший за решительной, революционной ломкой догматических норм. Коренной поворот нельзя проглядеть. Хотя бы потому, что о нем вовремя напишут в газетах. Но последующие за этим изменения видны лишь на определенной временной дистанции.

До какого-то момента их не замечают, а затем вдруг с удивлением обнаруживают, что все вокруг изменилось, и люди живут совсем не так, как несколько лет назад. Это тоже поворотный пункт. Для каждого он наступает в разные сроки и по-разному ощущается. Но чем скорее он наступает для всех, тем скорее растет и развивается все общество в целом.

Урманцев был только частицей всеобщей крепнущей нетерпимости ко всему, что мешает нам строить будущее. Он готов был к борьбе и вместе с тем продолжал считать себя одиночкой. А был он на самом деле солдатом огромной армии единомышленников. Он двигался в русле мощной реки, но, не видя за тающим туманом берегов, не разглядел и самой реки.

Недооценка собственных сил ведет обычно к мрачным прогнозам. Естественно, что Урманцев не ожидал от предстоящей битвы с таким ловким противником, как Иван Фомич, скорых лавров. Он вообще не надеялся на лавры, но на драку шел.

Дело всей жизни Орта стояло на грани срыва. Люди были издерганы и раздражены до предела. Лаборатория разваливалась на глазах. Как это ни чудовищно, но десятки умных, хороших людей

не могли справиться с двумя-тремя склочниками и интриганами. И все потому, что в одиночку. Урманцев не замечал, что тоже собирается воевать в одиночку.

Позиции директора, парторга, членов Ученого совета были ему совершенно неясны. Поэтому он готовился к худшему. Встретив в коридоре директора, он кивнул и хотел пройти мимо, но тот задержал его.

— Значит, Ивану Фомичу лабораторию поручим? Как полагаете, Валентин Алексеевич? — спросил директор.

«Вот оно, — подумал Урманцев. — Начинается». И ответил медленно, спокойно, почти не разжимая крепко стиснутых зубов:

— Это ваше право. У меня же свой взгляд.

— Какой, интересно?

— Диаметрально противоположный. И я его буду отстаивать везде...

— Хорошо, что вы такой упорный. Только не худо бы и меня для начала ознакомить с особым мнением.

— Мое мнение разделяет почти весь коллектив лаборатории.

— Простите меня, Валентин, я ведь вас еще студентом помню, но вы сильно поглупели. Расскажите мне сначала, в чем дело... А вообще, мне кажется, что вы ломитесь в открытую дверь. Ну да ладно!... Заходите в кабинет, там поговорим. Для этого, собственно, и собираемся сегодня.

Директор открыл кожаную дверь, пропуская Урманцева вперед. Почти все члены Ученого совета были в сборе. Рядом с Иваном Фомичом стоял свободный стул. Иван Фомич улыбнулся, приветливо кивнул и указал на свободное место.

Урманцев холодно поклонился и деревянной походкой прошел к Ивану Фомичу. Он проклинал свою интеллигентность. Пройти бы мимо и сесть на другой стул. Но теперь ничего не поделаешь. Он был готов к самому худшему. Короткий разговор с директором только укрепил его в этом ожидании.

Иван Фомич тоже готовился к борьбе. В отличие от Урманцева, он недооценивал противостоящие ему силы. Он вообще не знал своего противника. Им мог стать всякий, посягнувший хоть на частицу того, что Иван Фомич считал своим. Но сегодня он таких посягательств не ждал. Урманцева он недолюбливал, как недолюбливал и остальных своих коллег, однако не думал, что встретит с его стороны особое противодействие.

С того дня, как умер Орт, Иван Фомич считал себя хозяином лаборатории и единственным наследником ее всемирной славы. Все это время он чувствовал себя прекрасно, испытывая незнакомое до сих пор ощущение безопасности и уверенности. Он открыто

именовал себя продолжателем дела Орта и с удовлетворением видел, что и другие постепенно свыкаются с этой мыслью. Ничего неестественного в такой ситуации он не видел.

Он искренне не считал себя виноватым в смерти Орта. Да он никогда и не желал ему смерти. И это была правда, как правда то, что никто не хотел, чтобы Евгений Осипович умер. И ни на кого в отдельности нельзя возложить вину за эту смерть. Каждое событие этой трагической цепи было случайным, однако (по прошествии нескольких месяцев это стало понятно многим) все вместе они слагались в целенаправленный процесс, который и привел Евгения Осиповича к смерти. Но жизнь всегда ведет к смерти.

Сейчас, в кабинете директора, Ивана Фомича волновал только один вопрос: кого назначат заведующим лабораторией.

Чтобы застраховать себя от неожиданностей, он провел ряд неофициальных бесед и наметил несколько кандидатур на эту должность. Все это были люди, с которыми, по его мнению, можно было ужиться. Правда, он не знал, как каждый из них поведет себя в роли начальника. Подобная метаморфоза порой существенно меняет взаимоотношения. Но во всяком деле неизбежен риск, и Иван Фомич не мог пустить такое дело на самотек.

Прищурившись в традиционной улыбке, он зорко оглядел членов Ученого совета, пытаясь проникнуть в их мысли.

— Прошу твердо запомнить одно! — директор приштамповал увесистую ладонь к зеленому сукну. — Не только начатые, но и задуманные Евгением Осиповичем работы будут продолжаться. Это вопрос решенный. Но... жизнь, товарищи, тоже продолжается, и лаборатория не может больше оставаться без руководства...

Урманцев внутренне вздрогнул и насторожился. Иван Фомич покраснел.

— Собственно, она и не оставалась без руководителя, Алексей Александрович, — улыбаясь, произнесла Елена Николаевна, с которой у Ивана Фомича накануне состоялся конфиденциальный разговор.

— Что вы имеете в виду? — спросил директор, приподняв нахмуренные мохнатые брови.

— Ну как же? — она обвела улыбкой присутствующих. — А профессор Пафнюков? Он еще при жизни Евгения Осиповича числился его заместителем.

— Значит, так! — директор нагнул голову. — Лаборатория не может больше оставаться без руководителя. Это не простой вопрос, товарищи... Школа Орта должна жить. Здесь нужен человек, которому близки идеи Евгения Осиповича. Я уже не говорю о про-

чих качествах, они сами собой подразумеваются... Какие будут соображения? — он распрямился и откинулся в кресле.

— Выдвигать нужно кого-нибудь из наших? — спросил один из членов Ученого совета.

— Конечно! — воскликнула Елена Николаевна. — Зачем мы будем приглашать варягов.

— Можно и варягов, — сказал директор.

Сердце Ивана Фомича дернулось вниз.

— Хотя и не обязательно, — директор принялся рисовать в блокноте чертиков.

Иван Фомич облегченно перевел дух.

— Ну, тогда, я думаю, вопрос ясен... — начала было Елена Николаевна.

— Извините меня, — прервал ее директор. — Я полагаю, мы сначала заслушаем мнение Ивана Фомича. Елена Николаевна права, что он наиболее... компетентен в данном вопросе... И его опыт будет для нас очень полезен, — он обернулся к Пафнюкову. — Я не решаюсь возложить на вас, Иван Фомич, это бремя. Я понимаю, как вы заняты... Да и здоровье вам, наверное, не позволит. В общем, зная, что вы все равно не согласитесь взять лабораторию на себя, я очень прошу помочь нам в подборе подходящей кандидатуры.

Среди мертвой настороженной тишины Иван Фомич почувствовал, что лоб у него стал холодным и мокрым. Им овладело ослабленное спокойствие безнадежности.

— Благодарю, Алексей Александрович, — он облизнул губы, — за... заботу. Вы очень хорошо поняли и вошли в мое положение... Я ведь действительно стал здорово прихварывать... Что же касается заведующего лабораторией, то, мне думается, Глеб Владимирович мог бы...

— Это какой Глеб Владимирович, — перебил Урманцев, — из электрофизического института?

— Да. Владимцов.

— Ну что ж, очень знающий человек! — в голосе Урманцева звучало глубокое удовлетворение. — Правда, в пятьдесят седьмом году в этот институт вернулись некоторые люди, и Владимцову почему-то никто теперь не подает руки.

Иван Фомич сидел с застывшей, как маска, улыбкой.

— Кто еще хочет высказаться по данному вопросу? — спросил директор.

— Трудно найти замену Евгению Осиповичу... — прервал наступившую тишину ученый секретарь.

— Евгению Осиповичу найти замену невозможно, — сухо отрец

зал директор.— Речь идет только о назначении нового руководителя лаборатории... Но я вижу, вопрос не подготовлен. Отложим до следующего раза. Временно исполняющим обязанности заведующей лабораторией я назначаю Валентина Алексеевича Урманцева... Вы не возражаете, Валентин Алексеевич?

— Не возражаю. Уж лучше я...

— Включите в приказ! — перебил его директор, обращаясь к ученому секретарю...— Что у нас дальше?

— Вопрос об аспирантуре на будущий год,— сказал ученый секретарь.

— Давайте тоже перенесем на другой раз... Что еще? Все? Валентин Алексеевич, попрошу вас немного задержаться.

Члены ученого совета поднялись. Сидеть остался только Урманцев. Директор стоя ждал, пока все уйдут.

Секретарша внесла поднос с чаем. Директор подвинул стакан и розеточку с сахаром к Урманцеву.

— В лаборатории нездоровая атмосфера, Валентин Алексеевич,— директор давил ложечкой подтаявшие кусочки сахара.— Не в вашей и не в моей власти убирать людей, которые нам не нравятся, и назначать более симпатичных. Тем паче, когда это касается работников высшей квалификации... Да и объективных данных к этому нет. Всем вам придется еще долгие годы работать вместе. И отношения должны быть соответствующие. В общем, на работе это не должно отражаться. Вы согласны?

— Не во всем.

— В чем именно?

— Есть процессы, за которые я и другие работники не можем брать на себя ответственность. Короче говоря, не все исходит от нас.

— У вас хороший работающий коллектив, Валентин Алексеевич. Это большая сила. И там, где надо, можно так дать по рукам, что... Но нужны факты. Факты! А всякой закулисной лирики противопоставьте коллектив. Если стадо хорошее, то и паршивая овца будет вести себя хорошо. Ясно?

— Ясно. Только...

— Что?

— Это уже, как говорится, из другой оперы. Нужен генеральный эксперимент, Алексей Александрович.

— Считаете, пора выносить в космос?

— Пора.

— Ну что же, попытаюсь провентилировать это в координационном совете... Уж больно много всяких заявок! А спутник — дело дорогое.

— Биофизики ведь добились? И другие институты тоже...

— Ну, ладно! Попробуем. Может, и я чего-нибудь добьюсь. Пишите докладную.

— Вам?

— Нет. Прямо председателю координационного комитета космических исследований.

— Минуй вас!

— Они мне не начальство. Может и минуй меня! — улыбнулся директор. — Хитрый вы парень, Урманцев! Молодой, а хитрый.

— Вас тоже бог не обидел, Алексей Александрович.

— Ну ладно, ладно... — проворчал директор. — Да, постойте... Читал вашу статью. Там все правильно? Действительно, чувствительность 10—10?

— Подтверждено экспериментом. Интерференция появляется за порядок до этой величины.

— Значит, в космос хотите?

— Хочу.

— Ну, добро! Значит, мы договорились. В координационном комитете я это дело провентилирую, а вы обещаете мне примирить разбушевавшиеся страсти в лаборатории. Так?

— Никаких особых страстей-то и нет, Алексей Александрович, если бы Иван Фомич...

— Не объясняйте, я все знаю. Не хочу больше слышать про вашу лабораторию! Что, у меня других дел нет? И докладные записки от Пафнюкова мне не нужны.

— Так я же...

Но директор опять прервал:

— Вы теперь руководитель лаборатории. Пафнюков ваш подчиненный. За его художества спросится с вас. А уж как вы будете его утихомиривать, — ваше дело. Только чтоб я больше ничего о вас не слышал!.. Кроме хорошего, разумеется.

— Понятно, Алексей Александрович. Я вам больше не нужен?

— Располагайте собой, Валентин Алексеевич.

Урманцев, миковаа двойную дверь, прошел через секретариат в коридор. Он был зол, но доволен.

## 13

— Нет смысла быть плохим человеком, если это не доставляет никакого удовольствия, — сказал однажды себе Мильч.

Никто не возразил против мудрой сентенции — в комнате никого не было.



— То же самое можно сказать о хорошем человеке,— изрек Мильч, и снова никто не отозвался. Тогда он ответил сам:

— В наше время хорошим быть легче, а плохим — интереснее.

Период душевного кризиса и тактических сомнений миновал. Зима тревоги нашей позади. Мы не станем повторять ошибки великого комбинатора, наш путь будет верен, как некрасивая жена, и прямолинейен, как мышление ортодокса. Дорога открыта к успехам...

За последнее время рокфеллеровская деятельность потеряла для Мильча всякий смысл. Хранить и сбывать продукцию он не мог — слишком рискованно. Нужно было искать другие пути...

И он нашел.

Сначала разыскал Подольского.

Это был самый подходящий объект. Эрудит-одиночка, у которого не было почти никаких знакомых в административных кругах института вакуума. Разглашения тайны здесь как будто ожидать не приходилось. Михаил сидел перед кипой схем и чертежей и устало смотрел на какой-то график с аperiodическими кривыми. На бледном лице его явственно проступало тщательно скрываемое отчаяние.

— Электрокардиограмма? Биотоки мозга? — осведомился Роберт, указывая на график.

— Не дури, Роби, садись,— изображая улыбку, приветствовал его Михаил.— Как проблема радости?

— Проблема решена и получила практическое воплощение. А ты что не весел?

— Да так...

Что он мог ответить? Дело шло из рук вон плохо. Подольский чувствовал себя последней бездарностью. Если бы Евгений Осипович был жив! Да, но тогда несдобровать бы ему, Михаилу Подольскому. Все бы увидели, какая он бездарность. За это время он не сдвинулся ни на шаг. Проблема буксовала, как грузовик в весеннюю распутицу. Валентин Алексеевич, конечно, славный мужик, он поддерживает и помогает, но это же не его проблема, а сейчас он завлаб и у него столько забот... Дай бог, раз в неделю переговоришь, да и то на ходу, где-нибудь в коридоре. Ах, если б Евгений Осипович видел, как он завяз, безнадежно завяз в поисках решения, которое, может быть, находится где-то рядом...

— Сон наяву? Приятные галлюцинации? Нирвана? — важливо спросил Мильч.

Если не обманывать ученых, кого ж тогда обманывать в наши дни? Впрочем, современный ученый сам кого хошь надует. Но в Подольском что-то есть от ископаемого вида так называемых чистых

ученых. Чистота их помыслов гармонирует с грязью на воротничке и нечесаной шевелюрой. Обязательно ли сосуществование моральной чистоты и натуральной безалаберности?

— Я пришел тебя пригласить,— торжественно начал Мильч.

Михаил удивленно поднял голову.

— Ты женишься?

— Там, где прошла женщина, мне делать нечего,— брякнул Роберт.

Михаил подозрительно посмотрел на него.

— Ну, выкладывая, зачем пришел?

— Понимаешь, это надо посмотреть своими глазами,— протянул Мильч,— так на словах трудно объяснить, да.. и я сам толком не знаю, как это...

Он рассудил, что глупо держать Рог на складе, рискуя ежеминутно быть накрытым. Он перекрасил его в черный цвет, покрыл лаком, отхромировал рукоятки, вставил в него потенциометр и под видом старого хроматографа перетащил в основное лабораторное помещение — в ту комнату, где работала Епашкина. Ольга Ивановна пыталась было протестовать, но Роберт шуточками и улыбочками успокаивал ее.

Вначале это было нелегко. Но когда Мильч обнаружил у Епашкиной одну маленькую слабость, он безжалостно ею воспользовался. «Наши слабости — это ступеньки прогресса», — говорил он, закупая в букинистических магазинах дорогие издания дореволюционных поэтов. «Ваши слабости — наша сила», — думал Мильч, перепродавая за бесценок Ольге Ивановне тонкие книжечки с ломкими страницами. И Епашкина сдалась. Она позволила Роберту укрепиться в ее помещении под сладкоголосый лепет Северянина и буйные возгласы Андрея Белого.

...Подольский окинул взглядом комнату.

— А где Ольга Ивановна?

— Изволили отбыть в командировку, — улыбаясь отвечал Мильч, — где и пребудут до конца месяца.

— А-а.

Мильч посмотрел на него и вздохнул. Ну, ладно, решился, стало быть решился. Новый путь есть новый путь. Как правило, он хуже старого. Ну, да ладно...

— Шутки в сторону! Перед тобой, Миша, чудо.

— Знаешь, Роб, ты...

— Ну, ладно!

И Мильч начал действовать... Когда внутри ящика возник уже знакомый сияющий овал, образованный сплетением разноцветных лучей, а на стенках загорелись сложные узоры, напоминающие

не то кровеносную систему, не то сложную радиосхему, он удовлетворенно сказал:

— Ну, вот.

Подольский, с восторгом и изумлением наблюдавший за происходящим, взволнованно воскликнул:

— Здорово! Что все это значит?

— Ого! Для того, чтобы это понять, — торжественно провозгласил Мильч, — нужно пройти иску́с посвящения! Выдержавший испытание будет удостоен высочайшей мудрости познания и сможет пить прохладную влагу Истины из рук самой Исиды, или в автомате газированной воды.

— Но все же ты мне можешь объяснить по-человечески, что все это такое?

— Дело в том, — доверительно зашептал Роберт, наклонившись к уху Подольского, — что я пригласил тебя на помощь. Я надеюсь, ты поможешь мне разобраться в этой штуке. Я сам не понимаю, что с ней происходит, почему она такая.

— Ну, хорошо, хорошо. Расскажи мне хотя бы, как это у тебя появилось.

— К беде неопытность ведет, а любопытство — тем более.

— А на каком питании он у тебя работает?

— Он? — вздрогнул Мильч.

— Ну да, этот черный ящик. Ведь это же Черный Ящик? Так?

— Пусть Черный Ящик. Работает на электричестве, там внизу подводка.

— Прямо в корпус?

— Прямо в корпус.

— И больше ничего?

— Ничегошеньки. Ты же видел, какой он был, когда я вытянул потенциометр: голые стенки — и все.

— А потенциометр зачем?

— Потенциометр, братец, бутафория. Для легализации Черного Ящика.

— И никто, кроме тебя, не знает об этой его особенности? Ты разве никому не говорил? — удивился Подольский.

— Видишь ли, я хотел сначала понять сам. Но... очевидно, у меня не хватает культуры, литературы и смекалаторы. Посему я обратился к тебе. Хочется сначала разобраться, а уж потом поднимать шум.

Михаил кивнул и приблизился вплотную к Черному Ящику. Вглядываясь в световое панно, он испытал какое-то странное чувство — смесь любопытства и благоговения.

— А ты не боишься? — спросил он Мильча.

- Техника безопасности здесь на высоте.
- Где ты его взял?
- Пусть тебя это не мучит.
- Но все же?
- Хочешь честно?
- Конечно.

— Нашел на свалке. На нашей, институтской. А потом... обнаружил это свойство иллюминации. Сломал голову, вывихнул мозги, свернул шею от многочасового недоумевающего покачивания перед Ро... перед Черным Ящиком. Теперь решил подключить к этому занятию тебя.

Безмолвно сплетались и расплетались кольца и полосы, овал внутри ящика из сиреневого становился оранжевым. Михаилу слышалась музыка, чудесная, без звуков, музыка линий и радужных цветов.

- А что, если туда сунуть что-нибудь?
- Не знаю, не пробовал,— быстро проговорил Мильч.
- Боишься?

— Нет, просто такая мысль не приходила мне в голову. Один ум — хорошо, два — лучше, и путь открыт к успехам, как говорил Швейк.

- Я попробую?..
- Что же ты хочешь сунуть?
- Ну... хотя бы руку.

— А, руку! Руку можно, я совал, кичево не изменилось,— облегченно сказал Мильч,— у меня даже голова как-то туда влетела. Потерял равновесие, и упал вперед. Ничего не случилось, только в глазах блеснуло. Оно неосязаемо, как солнечный луч.

— Значит, с человеческим телом оно не взаимодействует,— сказал Михаил, растопыривая пальцы и погружая их в глубь ящика.— А с металлом, деревом, пластмассой пробовал?

Мильч покачал головой. В этот момент ящик загудел, из него посыпались искры, Подольский испуганно отдернул руку. Все стихло.

— Странно,— удивился Мильч,— у меня такого еще никогда не было. А ну, попробуй еще.

Подольский посмотрел на него и вытянул руку. Ящик снова загудел, но уже глубоко и мерно, без потрескивания. Внезапно беспомощно и бесполезно парившие в пустоте пальцы нащупали нечто вещественное. Михаил потянул к себе, поползла какая-то лента, словно сматываясь с невидимой катушки.

— Смотри! — возбужденно воскликнул Роберт.— Смотри, какая штука!

Лента очень медленно спускалась книзу, и там исчезала, точно растворялась. Сверху донизу сверкающая ослепительно белая ее поверхность была покрыта маленькими черными значками. Не веря своим глазам, Подольский всматривался в них. Он узнал их! Узнал!

— Бумагу, скорей! — крикнул он.

Роберт, оценив торжественность момента, принес несколько страниц писчей бумаги и, предупредительно сняв колпачок с авто-ручки, подал Михаилу. Тот начал быстро записывать.

Лента казалась бесконечной. Формулы сменялись цифрами, цифры чертежами каких-то узлов, чертежи графиками, графики снова чертежами. А Подольский, скорчившись, строчил.

Мильч молча стоял рядом. Ай да Рог изобилия! Ай да штучка! Вот какие номера ты способен откалывать. Оказывается, твоя работа зависит от человека? Я предполагал, но не очень верил. Мне ты выдавал дубликаты! И правильно делал, товарищ Рог. А впрочем, какой ты Рог? Ты и впрямь Черный Ящик. Темная лошадка. Лишнее неизвестное. Металлический Хоттабыч, вот ты кто. Я хочу понять тебя, Черный Ящик! Можешь ли ты мне открыться?

Белый лист внутри ящика исчез, на его месте медленно вращалась смешная установка, напоминающая миксер. Подольский лихорадочно зарисовывал ее.

«Как торопится, — ласково подумал Мильч. — Я раньше тоже торопился, волновался, расстраивался. Теперь не то. Успокоился, завелся. Чудо-ящик воспринимаю, как нечто само собой разумеющееся. Вот так».

В этот миг Подольский прекратил писать и устало откинулся на спинку стула.

— Что случилось? — улыбаясь, спросил Роберт.

— Ты ж видишь.

Внутри по-прежнему переливался разноцветный овал, формулы и чертежи исчезли.

— А ты еще пошуруй, может, там что-нибудь осталось, — предложил Роберт. Михаил строго взглянул на него.

— Не шути, дело серьезное.

— Боишься?

— Я боюсь?

— Да, ты.

— Ну да, боюсь, а что? А ты не боялся?

— Боялся, Мишенька, еще как боялся. Но теперь уже не боюсь. Я ни в чем не уверен, но спокоен относительно одного — ящик безопасен. Он не будет взрывать тебя, отравлять, облучать и так далее. Он как сама природа — изощрен, но не коварен. От него можно ожидать всего, кроме смерти.

— Как знать,— хмуро произнес Михаил,— все же, откуда он у тебя?

— Я же тебе сказал, с институтской свалки.

— А туда как он попал, из какой лаборатории?

Роберт пожал плечами.

— По-моему, это дело рук всаваышнего.

— Или дьявола.

— Я не вижу ничего сатанинского...

Михаил долго молчал, шуршал бумагами, наконец, схватился за голову и с веселым ужасом на лице гаркнул:

— Не может быть! Понимаешь, не может быть!..

— Один тоже пришел в зоопарк и впервые увидел жирафа. Стоит, смотрит, качает головой, говорит: «Не может быть, такого не бывает!» Целый день простоял, пока сторожа не выгнали. Так и не поверил.

— Но ты понимаешь, это решение Ортовской задачи энергетического расщепления вакуума. И приведена конструкция установки. Конструкция, понимаешь? Значит, все сложнейшие расчеты, которые мне предстояло проделать в электронном центре, уже выполнены! Но не в этом суть...

Михаил задохнулся.

— Откуда оно, черт побери, знает, что мне нужно решение такой задачи? Что это такое, Мильч? — крикнул он.

— Сэр, меня самого это несказанно удивляет, я в недоумении. Мне он формул и чертежей никогда не показывал.

— А что ты из него извел?

— Так,— уклончиво ответил Мильч,— различные безделушки. В основном, красочные картинки вроде северного сияния, ну и... в общем, пустяки. Ничего стоящего внимания...

— Может, мне еще попробовать? — спросил Михаил.

— Трудно сказать. Попробуй. Ящик очень капризный...

Подольский осторожно сунул руку в сияющий овал, некоторое время подержал, повертел пальцами,— ящик был безмолвен и глух.

— Все,— сказал Мильч.— На сегодня баста. Обеденный перерыв. И действительно, световые лучи померкли, радужный круг распался, гудение смолкло. На них смотрели гладкие стенки шкафа.

— Ты его отключил? — хрипло спросил Подольский.

— Нет.

— А как же?

— Он сам отключается.

— И включается?

— Нет, обычно он включается, когда я подвожу к нему электроток. Но здесь нет прямой зависимости.

— То есть?

— Я могу подвести к нему электричество, могу включить рубильник, а ящик будет стоять такой вот серый и немой, как сейчас. А потом вдруг загорается, сам загорается, и начинает работать. Выбросит штук, то есть нет, посветит так минут десять, двадцать и снова гаснет. Знаешь, иногда он работает без электричества. Я однажды проходил мимо и слышу: гудит. Открыл дверцу, смотрю, действительно, работает. Овал на месте и лучики по нему бегают. Все как надо.

— Ах, черт! Как же это так?

— Да вот так, брат. Я же тебе сказал, что перед тобой чудо. Возможно, у него неизвестная нам особая система аккумуляции энергии. Мало ли что в нем может быть. Одно слово — Черный Ящик.

Они снова замолчали, на этот раз надолго.

— Ну вот что, — сказал, наконец, Михаил, — мы сами в этом не разберемся. Нужно привлекать академическую общественность. Пусть посмотрят специалисты. Пусть изучают, пусть, наконец, создают вокруг него целый институт. Это же действительно чудо! Может, его к нам подбросили из других галактик? Может, это визитная карточка внеземных цивилизаций?

Мильчевский сидел, опустив голову.

Разоткровенничался, старый дурак! Ну и что? Сейчас они распилят твой Рог изобилия и разложат его по полочкам. Аналитики-классификаторы... Все бы вам анализировать! Ну, попало в руки чудо, почему бы самим не пользоваться, почему бы не разрешить другим подонть божью коровку? Эх вы, ученые!

Роберт ощутил прилив злого вдохновения. Он посмотрел на Подольского, как сапсан на суслика.

— Может быть, это и есть та самая машина времени, заброшенная к нам из будущего? — разглагольствовал Михаил. — Осуществилась мечта фантастов, поэтов, ученых. В несколько неожиданном плане, правда... Не мы отправились в будущее, а будущее пришло к нам в виде этой замечательной машины! Это же здорово! Об этом надо кричать, нужно трубить во все трубы, созвать конгресс...

— Погоди, — перебил его Мильчевский, — погоди и помолчи. Отставить литавры!

Подольский осекся. Он никогда не видел Роберта в подавленном состоянии. Даже не верилось, что этот бодрячок и оптимист может быть таким несчастным.

— Я должен рассказать тебе все, — медленно выговаривая слова, начал Мильч, — я не хотел об этом говорить, чтобы не пугать

тебя, но раз ты уж завел речь о разглашении, то... Надо, чтоб ты знал. Это не простая штука, очень не простая. Когда я вначале сказал себе, что она безопасна для людей, это была правда. Черный Ящик не взрывается, не излучает смертоносных потоков неизвестных частиц, он химически безопасен и биологически не активен. Но есть какая-то связь... Понимаешь?

— Не понимаю,— растерянно прошептал Михаил. Он смотрел на бледное лицо Роберта и чувствовал себя неловко, напряженно.

— Есть связь между теми, кто знает о Черном Ящике, и самим ящиком,— Роберт говорил деланно спокойным тоном,— и я свидетель тому, что такая связь может стать смертельно опасной для человека. Поскольку ты уже причастен к этому делу, я тебе расскажу всю правду...

Он передохнул, а Михаил подумал: «Чертовщина какая-то! Вот луч солнца на стекле, вот чернильница, а вот журнал опытов и на нем фамилия Епашкиной обведена красным карандашом,— и тут же этот иррациональный Черный Ящик...»

— ...Я наврал тебе, будто нашел его случайно на свалке,— продолжал Мильчевский,— сначала я о нем узнал от Асторянова, который научил меня обращению с ним и рассказал одну загадочную историю. Я, правда, долго не верил, пока не убедился кое в чем своими глазами.

— Асторянов умер в прошлом году, еще до моего поступления в институт? — спросил Михаил. — Я читал кое-какие его работы.

— Да,— кивнул Мильч,— слушай. Оказывается, Черный Ящик, или Рог изобилия, как его называл Асторянов за то, что из него, как из рога, сыпались всякие штучки-мучки, уже давно находится в нашем институте. Как он попал сюда, неизвестно. Кажется, после войны или в конце ее завезли его сюда со всяким репарационным оборудованием. Как видишь, ведет он себя произвольно. В некоторый день и в некоторый час ящик проявил себя, и кто-то им заинтересовался. Наверное, это был неглупый человек. Он рассказал о находке доверенным лицам или даже одному доверенному лицу, но к этому было вполне достаточно. От одного ко второму, от второго к третьему. И пошло, и потянулось...

— Так что же? Почему же...

— Они все умерли.

— Врешь!

Михаил улыбнулся.

— Точно тебе говорю! Не ерепенься! Асторянов мне рассказывал, что он проанализировал ход событий и пришел к страшному выводу. Смерть обладателя Черного Ящика наступала в тот момент, когда он пытался разгласить секреты этой таинственной машины.



— Вот как,— опять недоверчиво усмехнулся Михаил, рассматривая говорившего.— Это пахнет липой.

— Представь себе, что я подумал точно так же, когда Асторянов начал свою беседу со мной заклинанием, чтобы я никому ни слова не говорил, даже не намекал на существование этой страшной машины. Дело было так. Аврак Кульбетович давно работал в нашей лаборатории, я его хорошо знал, приходилось даже выпивать вместе, и неоднократно, одним словом, товарищеский шараш-монтаж. Он мне не начальник, я ему не подчиненный, все хорошо, общий привет. Потом я заметил, что он ко мне присматривается. Расспрашивает о семье (а какая у меня семья!), о родителях (отец убит), одним словом, что-то выведывает. Я насторожился. Думаю, что это еще за милые штучки? Однажды у нас пошел откровенный разговор, и он сказал, что хочет поделиться со мной важной тайной. Почему именно со мной? Ну, вроде того, что мне нечего терять. Ни семьи, ни особых обязательств. Потом я поразмыслил, что Аврак оценил меня как никчемный элемент. Не очень лестно, зато правдиво. Да...

— Так что же? — зевая спросил Михаил.

— И поведал он мне тайну Черного Ящика, или Рога изобилия, как хочешь, так и называй.— Мильч, видимо, успокоился. Бледность сменилась румянцем, глаза погасли, с трагического срывающегося шепота он перешел на ленивый скептический говорок.— У этой тайны два конца, один в прошлом, другой в настоящем. Концы завязаны в узел, в центре которого Асторянов. Что было до него? К сожалению, я мог судить об этом только с его слов. Здесь одни неизвестные, но я верю Авраку Кульбетовичу. Он сказал мне, что есть вот такой чудесный ящик, обладающий удивительными свойствами. Не ящик, а бог какой-то. Все может... Асторянов выяснил, что каждый человек, находящийся в контакте с Рогом изобилия, обречен на смерть при первой попытке разглашения тайны.

— За кого ты меня принимаешь? — Михаилу стал уже надоедать весь этот горячечный бред.

— Чаще всего человек погибает от несчастного стечения обстоятельств. Все как будто вполне естественно. Болезнь плюс еще что-то. Воспаление легких, и кто-то забывает на ночь закрыть форточку и т. д. и т. п. Асторянов говорил, что до него погибло трое, с ним и Ортом — будет пятеро.

— С Ортом?! При чем тут Орт?! — Михаил вскочил с места.

— Погоди. Все в свое время, как сказала одна старушка, когда гости спутали ее свадьбу с поминками. Аврак заметил еще одну особенность проклятого Рога изобилия. Человеку, который лично не контактировал с этой машиной, не знал, где она находится, не

видел ее никогда, а только слышал о ней с чужих слов, такому человеку ничего не грозит. Он может разглагольствовать о Черном Ящике на всех перекрестках, и ничего с ним не случится. Он не попадет под машину в институтском дворе, как это было с нашим замдиром по научной части, посвященным, кстати, в тайну Рога изобилия. Он не умрет от воспаления легких, это в наши-то дни! А так, между прочим, умер наш бывший завлаб. Это его сменил Доркин. И так далее. Асторянов придумал интереснейший ход... Он сделал точное описание всех наблюдений над ящиком, составил какие-то таблицы, графики, одним словом, оформил серьезный обстоятельный документ. Всю эту муру Асторянов отнес к самому одаренному человеку в нашем институте.

— Ору?!]

— Именно. Тот почитал, расхохотался и спросил, почему Асторянов после стольких лет дружбы решил его разыграть. Кое-как с руганью и криками тот заставил Евгения Осиповича дослушать сказку про таинственного черного бычка. Орт не поверил. «Покажи»,— говорит. Сколько Аврак ни убеждал, ни страшил его, Орт не сдавался. Покажи, и все! Не покажешь — ни о каком привлечении специалистов и речи быть не может. Аврак отказался, но Орт сам накрыл его как-то после работы, когда тот священнодействовал с Рогом. Так состоялось посвящение Орта. Это случилось в нашей лаборатории. Асторянов знал, что им обоим грозит, но Орт только посмеивался. Все же он согласился пока ничего не предпринимать. Он здорово заинтересовался Черным Ящиком и принялся анатомизировать его. Но затем у него начались неприятности, он долго болел, чуть не умер. Аврак навещал его по нескольку раз на неделю и умолял молчать. Орт обещал, да и не до ящика ему было. А между тем Аврак пришел к гениальному решению. Он придумал пустить в дело посредника. Какого-нибудь типа, вроде меня, которому нечего терять, он решил снабдить бумагами, в которых излагался секрет Рога. Оные бумаги я должен был огласить в соответствующий момент и в соответствующем месте.

— Ты согласился? — Михаил успокоился и решил терпеливо дослушать все до конца.

— Еще бы! Конечно. Я обеими руками ухватился за предложение Аврака. Мне плевать было на его страхи, меня интересовала машина. Из бумаг следовало, что это совершенно гениальная штука. Имя Орта только укрепляло мои надежды на нечто необыкновенное. Впрочем, Евгений Осипович писанины Асторянова не видел, и я не уверен, согласился ли бы он с некоторыми формулировками. А написано там было много. Рог изобилия превозносился как чудеснейший феномен всех времен. Впрочем, ты сам видишь,— это

действительно так. В бумагах не говорилось, где находится Рог изобилия и как он устроен. Итак, наступает торжественный день, когда я должен был положить на стол директора бумаги Аврака и торжественно заявить о наличии Черного Ящика в Институте физики вакуума.

Я попал в несколько глупое положение. Сам посуди. Легко ли убедить директора в том, что ему даже смотреть на чудесную установку нельзя. А еще Аврак Христом-богом молил не называть его имени. Сам он за несколько дней перед этим смотался к себе в Армению, якобы по семейным делам. Он ужас как боялся Рога. По-моему, у него это приобрело форму мании.

Итак, Орт в больнице, Аврак — в Армении, а я иду к директору разглашать тайну Рога изобилия, которого я и в глаза-то не видел. И надо же такому случиться, что накануне этой знаменательной даты, прекрасным летним вечером, я нарезаюсь в дребезину, в беспамятстве попадаю в вытрезвитель, а утром со мной нет ни единой бумажки. Пропала моя студенческая папка, а в ней все высоконаучные изыскания Аврака! И все же я пошел к директору. С головной болью, помятой мордой и глубоким чувством вины. Я говорил, говорил... Он слушал, слушал, покрутил носом, открыл форточку и сказал: «Я освобождаю вас на сегодня от работы и готов забыть все, что вы мне сказали».

Я ушел, а на другой день пришла телеграмма, что Аврак погиб в автомобильной катастрофе. По правде сказать, я тогда только немножко испугался. Но когда умер Орт, я понял, что это страшная штука.

— Орт тоже что-то такое предпринимал?

— Не знаю. После смерти Асторянова он однажды разговаривал со мной. Оказывается, Аврак рассказывал ему и о своем замысле и обо мне тоже. Орт поинтересовался, был ли я в дирекции. Я честно рассказал ему, какая история приключилась с бумагами Асторянова. Евгений Осипович покачал головой, улыбнулся и сказал, что займется этим. Но ему не довелось. Он поехал в Индию, на конгресс, еще куда-то, а когда вернулся, то сразу же началась эта история... Миша, ты что? Ты меня слушаешь?

Мильч замолчал. На лбу его выступил пот, вдохновение требовало больших внутренних сил. Но, кажется, работа сделана чисто, без помарок.

— Нечего сказать,— заговорил Подольский,— все слишком неправдоподобно, чтобы... Не знаю, что и думать даже... Вот только эта формула, она просто гениальна и...

— Он растерянно замолчал. Мильч сидел в трагической позе, прикрыв глаза рукой. Вся его фигура выражала отрешенность и уста-

лость. Что ему веселье мира, солнца свет, улыбки звезд... Он человек без будущего.

— Скажи,— осторожно спросил Подольский,— а почему ты решил обратиться именно ко мне? Ведь...

— Примерно по тем же соображениям, которыми руководствовался Аврак, обращаясь ко мне. Человек ты почти одинокий, свободный, ну и... А самое главное, я один со всем этим справиться не могу. Я не ученый, а к Ящику нужно подходить с головой. Его можно разгадать, он совсем не такой страшный, как кажется. Я думаю, у него есть... ну, зацепка что ли, которая его как на крючке держит. Понять ее — и дело в шляпе. Можно будет приступить к бессрочной эксплуатации, соблюдая при этом правила техники безопасности. Никакой тебе вендетты не будет. Но для того, чтобы раскусить Черный Ящик, нужно пошевелить мозгами. А они у меня... Одним словом, ты приглашен в качестве консультанта. Мне, как и президенту Щгатов, нужен личный мозговой трест.

— С соблюдением всех правил секретности?

Мильч даже не взглянул на Подольского.

— Мне, конечно, неудобно просить тебя молчать,— сказал он очень тихо и серьезно,— ведь речь идет о моей жизни, а не о твоей.

— Почему? Я тоже находился в контакте с Ящиком и его гнев за разглашение тайны падет на меня. Если падет вообще...

— Сначала на меня. У него строго соблюдается очередность в ликвидации трепачей. Так уже было.

Они закурили и долго сидели молча.

— Ну, ладно,— резко поднявшись, сказал Михаил,— подумаем, как быть. На сегодня хватит чудес. Детальный анализ спектакля проделаем завтра. Бывай.

Подольский ушел, а Мильч остался сидеть за письменным столом.

Похоже, первая птичка клюнула. Хотя, конечно, полной уверенности нет. Мильч вынул стопку оттисков статей из различных физических журналов. Улыбаясь, полистал их, зевнул и громко сказал:

— А что, Рог, не подсунь я тебе случайно пачку научных журналов, ты вряд ли выдал бы столь квалифицированную информацию? Как видишь, без Мильча ты тоже... не очень-то...

Никто ему не ответил — Мильч был один в комнате.

События развивались. Пока это были вялые, ленивые движения, почти не уловимые человеческим глазом, но их проекция в будущее выглядела угрожающе. Она предвещала взрывы и катаклиз-

мы, которые доселе не снились мирным обитателям гавани Институт-де-вакуум.

Подольский показал списанные с ленты Черного Ящика формулы Урманцеву. Сделал он это после нескольких дней мучительных колебаний. Ведь это не его работа, а приходилось выдавать за свою, иначе на свет извлекался бы тот бесконечный хвост вопросов, на которые он не имел права отвечать. Конечно, можно и не показывать Урманцеву. Можно вообще никому не показывать. Но здесь уже срабатывали автоматические рефлексy научного работника. Подольский не мог не обнародовать свою запись — она содержала новое. Новое, следующий шаг по пути к истине!..

Михаил Подольский почувствовал на себе всю неотразимость истины. Он положил свои записи перед Урманцевым и, борясь с удивлением, сказал:

— Во-от...

Валентин Алексеевич отложил в сторону какую-то бумажку, подвинул стопку листов и углубился в чтение. Его лицо постепенно принимало растерянное и доброе выражение, которое появляется у людей, чем-то чрезвычайно увлеченных.

— Здорово! — не прекращая чтения, он хлопнул по столу рукой. — Гениальный ход!

Его глаза быстро бегали по строчкам. Потом он нахмурился, полез в ящик стола, достал логарифмическую линейку, что-то прикинул, неодобрительно повертел головой. Михаил терпеливо ждал. Слишком уж эмоциональный человек Валентин Алексеевич, чтобы устоять перед неотразимостью истины. Сотрудники лаборатории знали, что красота удачного математического решения способна вызвать у него слезы на глазах. Впрочем, сам Урманцев скрывал эту слабость. Он считал, что шествие Истины по холодным мраморным плитам вечности должно совершаться в торжественном молчании.

Будучи очень чувствительным, он считал эмоцию в науке чем-то в высшей степени неприличным.

Дочитав, Урманцев отложил расчеты в сторону и посмотрел на Михаила влюбленными глазами.

— Хорошо, — сухо сказал он, подумав. — Я бы даже сказал, потрясающе. Есть одна ошибка. Использован очень старый метод расчета. Таковой применяли еще до сорокового года, сейчас есть более короткий и верный путь. Затем тут есть одна формула, я ее не знаю, откуда ты ее выцарапал?

— В «Анналах физики», у Берда.

— Не ври. Этой формулы нигде нет. Я сразу понял. Сам получил!

Михаил кивнул и покраснел. Клубок запутывался...

Если бы посторонний наблюдатель следил в эти дни за коллективом Института физики вакуума, он обнаружил бы по крайней мере два странных явления. Но, обнаружив их, он все равно остался бы в полном неведении. Это напоминало мимолетную тень на лице собеседника, существовавшую доли секунды. Вроде бы она только что была и в то же время... ах, черт, может, это игра воображения! Мелькание солнечных пятен. Но что-то все же было.

Прежде всего, слухи. Они ползли со всех сторон, их источали, кажется, сами стены института. Это не были обычные серые зауряд-слухи, которые составляют ежедневный фон любого учреждения. Не какие-нибудь «Иван Иванович сказал», или «ее видели с... вы меня понимаете?» Нет, дело со слухами в Институте вакуума обстояло иначе.

Не то, что фамилии, но даже местоимения он или она не упоминались. И действие тоже не называлось — в общем, странные были слухи в Институте вакуума. И вот, несмотря на всю эфемерность, призрачность этих слухов, они как-то будоражили и беспокоили научные умы, не обремененные значительной плановой работой. Многие стали раздумывать и гадать, отчего бы это? Некоторые и всерьез задумывались. Уж очень странные это были слухи. У людей оставалось ощущение, будто что-то происходит и в то же время... не совсем. В самый последний момент крепкая нить рассуждений ускользала и в руках ничего не оставалось. Конечно, были и такие, что все на смех подымали. Дескать, все это страхи и прочие трал-аали. Бодрячки-лакировщики. Но их никто не слушал, потому что и раньше, в другие времена, такие бодрячки тоже кудахтали, а все оборачивалось совсем иначе. Оптимизм этих людей не принимали в расчет, понимая, что такие жизнерадостные уверенные люди по статистике должны присутствовать в каждом коллективе. Но не они — определяющая сила. Определяющей силой было то, о чем никто не говорил, но все понимали и прислушивались. Прислушивались и подозревали, ибо подозрение является началом любого научного поиска.

И вот тогда все обратили внимание (и это было второе странное явление в Институте вакуума, которое мог бы заметить беспристрастный посторонний наблюдатель) на то, что в их среде появился выдающийся человек. Конечно, лаборант Мильчевский не претендовал на какую-то особую ведущую роль. Он не заседал на Ученом совете, не собирался защищать диссертацию и не участвовал в диспуте «Физики и лирики», устроенном доктором физи-

ко-математических наук Зой Ложечкиной. Одним словом, ничем таким Мильчевский себя не проявил. Многие говорили, что он даже школы не кончил. Но это уж доподлинная ложь, так как кто-то видел у него зачетную книжку. Но мало ли у кого есть зачетная книжка студента заочного института? Больше половины лаборантов и механиков учатся заочно. И многие успешно кончают. А вот Мильчевский...

Он вдруг как-то взял и возник. И так сразу всем понадобился, так стал в центре и утвердился, что многие просто диву давались. Откуда бы это? И как?

И начинали вспоминать, ломать головы, ахать. Но сходились в одном. Вначале Мильчевского не было. Не было, и все! Будто бы где-то он там работал на задворках у Доркина. Но всего этого можно было не принимать в расчет. Затем стали замечать его дружбу с бывшим циркачом-иллюзионистом. Все они вдвоем да вдвоем. Наконец Мильчевского видели с разными крупными учеными института. Заместитель Орта, милейший Валентин Алексеевич тоже с ним прохаживался бок о бок и под локоток.

И вдруг все узнают, что Мильчевский уже давно не работает в лаборатории Доркина, а выделился в отдельную группу. Работа по спецтематике. На дверях звонки да пломбы. Ответственным руководителем этой группы из одного человека Урманцев назначил Ивана Фомича Пафнюкова.

Вот здесь-то Мильч и возник. Бесперебойные телефонные звонки, консультации, переговоры, трам-тарарам.

Роберт Иванович Мильчевский между тем переживал жесточайший кризис. У него сломался Черный Ящик. Проклятая машина внезапно отказалась работать. Однажды он включил, как обычно, аппарат, но ящик не загудел. Роберт испуганно заглянул в темный провал шкафа и стал ждать.

Шли секунды, минуты, часы, а чудесное отверстие Рога изобилия в сиянье радужных лучей не появлялось. На Роберта насмешливо поглядывала серая пустота. Ему казалось, что кто-то там внутри хитро подмигивает и скалитя. Роберт тряс головой, отгоня наваждение, и с отчаянием убеждался, что Черный Ящик безмолствует.

Так прошел один рабочий день, второй, третий... Время обрело свойство каучука: тянуться и не рваться.

Роберт ждал. Неожиданная катастрофа потрясла его. Черный Ящик сломался! Кто б мог подумать? Казалось, нет сил, способных оказать хоть какое-то действие на эту машину, и вот на тебе! Как его отремонтировать? Не везти же в мехмастерские: почините, пожалуйста, волшебный Рог изобилия, у него чудо-двигатель не рабо-

тает. Заштопайте ковер-самолет, вшейте подкладку в шапку-невидимку!

И главное — когда! Когда сделаны такие авансы, наступление на научную общественность Института вакуума находится в разгаре и перед Робертом Мильчевским открываются необозримые, захватывающие дух перспективы! Ах, черт, какая досада, какая жалость, какая обида...

Они все сидят в этом Ящике. Даже директора удалось к нему подтолкнуть. Это уж совсем смешно и здорово. Но что толку теперь? Сейчас самое горячее время, нужно давать и давать результаты, нужно держать их в напряжении. Урманцеву — его интегралы, Мишке — расчеты и чертежи, Ивану — кое-какие документки, Доркину и директору — что сама машина выдаст. Но где машина? Нет машины. Кончился Рог изобилия. Был и весь вышел!..

Мильч готов был плакать от обиды. Уже пятый день он сидел в центре своей большой светлой комнаты, заставленной дорогими сложными приборами и красивой мебелью. По лбу его катились крупные градины пота. Ящик не работал...

Что делать?

Он тупо смотрел на притихший Рог. Перед этим он несколько раз тряс и колотил его, но стальная машина не отзывалась.

Что делать?..

Раздался телефонный звонок. Роберт снял и положил трубку на рычаг.

Что делать?..

Несколько раз он менял концы электропровода, но это не помогло. Потом решил изменить напряжение, притащил тяжелый трансформатор, но Черный Ящик остался безмолвным.

Приходили Иван Фомич, Подольский и еще кто-то. Роберт всех выставил без особенных церемоний. Он даже не объяснил им, в чем дело, просто прогнал всех и знал, что они не обидятся. Пока, во всяком случае.

Что делать?..

Отчего вышел из строя этот сундук? Он перебирал возможные причины. Перевозка из лаборатории Доркина совершилась благополучно. Ведь после этого Рог изобилия выдал много интересных штук. Так почему же?

Почему?..

Может, он обиделся на Роберта? Чушь, мистика! Такого не бывает...

Внезапно Мильчу пришла в голову здравая, заслуживающая внимания мысль.

Перегрузка! Последние месяцы он нещадно эксплуатировал



свою золотую жилу. Черный Ящик, не переставая, светился по десяти часов в день. Он не перегревался (за режимом работы Роберт следил внимательно), но кто знает, какие тонкие механизмы были приведены в движение, какие неизвестные элементы необратимо срабатывались. Может, все это привело к нарушению интимнейших связей в сложнейшем аппарате...

И Мильч понял. Он перегрузил машину информацией. Как человек не может перенести избытка солнечного тепла, так Черный Ящик не смог одолеть поток очень запутанной разнокачественной информации, которую обрушил на него Мильч. Черный Ящик надорвался.

Эта мысль привела Роберта в отчаяние.

Значит, все рухнуло!..

Значит, он останется только правонарушителем, который сидит, дрожит и ждет, когда его заберут.

Значит, он всю жизнь должен увязывать баланс ничтожных доходов с убогими расходами? Ведь без помощи Рога ему в крупные научные работники не выбиться!

Мильч оцепенел в безысходном отчаянии. Он полулежал в кресле, его козенький с иголки костюм был в масляных пятнах, руки в порезах и ссадинах, галстук съехал набок, ворот рубахи расстегнут... Поверженный герой. Заштатный демон без диплома. Мефистофель на пенсии.

Так прошло несколько часов, и Мильч постепенно успокоился. Жулики — большие оптимисты и жизнелюбцы. Без этого не пойдешь против течения жизни.

— Будем закрывать лавочку, — сказал он. — Поиграли, и хватит. В оправдочку я не пойду. Мешает багаж личной собственности. Займусь творческой деятельностью.

Он отыскал под верстаком молоток и приблизился к Черному Ящику.

— Прощай, любимый Rog! Мы славно трудились и, кажется, не остались в обиде друг на друга. Ты, правда, в последний момент подкачал, ну что ж... И с лучшими жокеями бывают неприятности.

Он ударил по крышке Черного Ящика.

В обращении со сложными механизмами человека характеризует универсальный подход. Когда нет возможности разобраться, в каком месте нарушен один из тысячи контактов, составляющих данную схему, человек сердится. А некоторые люди, когда сердятся, пускают в ход кулаки.

По телефонам-автоматам обычно бьют кулаками. Если б все эти Пожиратели Двухкопеечных Монет имели уши, они бы сгорели от стыда за тех, кого им приходится обслуживать. Самая отборная

ругань, сопровождаемая толчками и ударами, щедро изливается на бесстрастные металлические лица этих разъединителей в Наиболее Ответственный Момент.

Автоматы, торгующие газированной водой, обычно избиваются ногами. Пинки, удары коленями, толчки бедрами, говорят, помогают бороться с этими жадными механизмами.

Для того чтобы нормально заработал телевизор, у которого начался приступ оптической шизофрении, нужно громко кричать и топтать ногами по полу.

Каждому автомату свое.

А Черному Ящику помогла кувалда.

Он засветился и загудел. Но это был странный свет, это был неожиданный звук. Такого Мильчу еще не доводилось видеть...

## 15

После того как по Черному Ящику был нанесен злополучный удар молотком, в жизни Мильча произошли странные события.

С большим сожалением мы вынуждены констатировать пробел в нашем повествовании. Никаких документов или свидетельских показаний у нас нет. А сам Мильч наотрез отказался говорить на эту тему. Он как-то сразу осунулся, сник и замкнулся в себе. Впрочем, такое состояние можно приписать и весьма конкретному событию. Дело в том, что «гр. Мильчевский Роберт Иванович» получил повестку от следователя районной прокуратуры.

Не будем утверждать, что это вызвало в нем бурю противоречивых чувств и заставило дать немедленный зарок стать на стезю добродетели. Но одно достоверно: Мильч решил рассказать все без утайки. Все как есть...

Исповедь Мильча нам неизвестна. Но кое-что о результатах ее мы сможем узнать из одного письма директора Алексея Александровича Самойлова, адресованного старому доверенному другу. Вот отрывок из письма:

«...Ну, знаешь, такое нужно самому пережить, иначе не поймешь! Я до сих пор, как говорится, отдышаться не могу. Не знаю, с чего и начать. Но поверим лучшим образцам детektivов и используем хронологическое изложение событий.

Сегодняшнее утро началось с того, что секретарша доложила о неожиданных гостях. Один немец из ГДР и с ним какой-то паренек. Входят, здороваются. Немец высокий, худой, со шрамом на

лице. Представляется: «Август Карстнер, публицист». А парень, совсем еще мальчишка (такие у меня в аспирантах бегают), заявляет, что товарищ Карстнер в совершенстве владеет русским языком, поэтому, дескать, не затрудняйтесь вспоминать немецкие глаголы. Не точно так, но в этом смысле. Я тогда смотрю на этого парня и думаю: а ты-то кто такой, голубчик? Он тут же и отрекомендовался.

— Научный сотрудник Института криминалистики Григорий Черныш.

Наверное, на моем лице отразилось недоумение. Мальчишка даже заулыбался. Но тут же смутился и посуровел. А я тем временем лихорадочно соображаю, происходило ли за последнее время в институте что-нибудь невероятное, преступное и подсудное. И, конечно, ничего не могу вспомнить. Так ничего и не придумал. Да и немец тут при чем?

Криминалист объясняет, что дело очень сложное и они займут у меня довольно много времени.

А я, наконец, сообразил, что если бы случилось что-то такое, прислали бы следователя, а не научного сотрудника.

— Хорошо,— говорю,— товарищи, рассказывайте, с чем пришли.

Он начал с того, что в деле, о котором пойдет речь, переплелись, как он выразился, интересы правосудия и науки. Он лично считает, что интересы правосудия здесь, в основном, удовлетворены, так как главные действующие лица уже изолированы. Зато интересы науки остаются невыясненными, а поэтому неудовлетворенными.

Я таращил, таращил на него глаза, затем спрашиваю:

— Это очень интересно, но при чем здесь я и наш институт? И... может, мы сначала выясним миссию нашего гостя, журналиста из ГДР?

— Товарищ Карстнер приехал в Советский Союз по нашему приглашению. Он и свидетель,— ответил Черныш,— и заинтересованное лицо одновременно.

Черныш предъявил свои документы и сопроводительное письмо на мое имя от директора Института криминалистики.

Ну, я, понятно, согласился помочь, Карстнер улыбнулся, а Черныш начал свою декларацию.

Что я понял? Попробую сгруппировать факты и изложить их без излишних комментариев.

1. Примерно с полгода назад работники угрозыска стали замечать оживление деятельности группы валютчиков, руководимой неким Турком. Сбываемая этой компанией продукция была вполне

обычной: деньги, золото, драгоценности. И тем не менее, она вызвала недоумение специалистов. Все предметы, будь то часы или банкноты, оказывались идеальной копией некоторой исходной вещи, послужившей матрицей. Так было и с деньгами, и с украшениями. Затем обнаружили, что эти предметы обладают странной способностью исчезать. Иногда исчезновение происходит со взрывом, иногда — неощутимо, бесследно.

2. Следствие показало, что валютчиков товаром снабжал сотрудник моего института Мильчевский.

Представляешь себе ситуацию? Потом выяснилось, что имеется исторический прецедент.

Карстнера после побега из концлагеря приютила подпольная организация сопротивления, располагавшая, как он считает, аппаратом, изготовлявшим точные копии документов и денег. Аппарат этот проделывал и другие чудеса. В частности, по мнению Карстнера, он возвел перед преследовавшими его эссовцами стену. Понятно, что посланный Карстнеру запрос вызвал с его стороны живейшее участие и желание разобраться, наконец, в загадке, мучившей его в течение двадцати лет.

— Я должен дознаться, наконец, — заявил он, — кто был человек с седыми висками, который спас жизнь мне и многим моим товарищам.

Такова выхолощенная, выжатая и поэтому уже немного неправдоподобная суть дела. Я лично к этой выжимке добрался через барьер из тысячи одного отступления и повторения. Черныш объяснял, немец добавлял, а я едва успевал головой вертеть.

В нашем институте! Наш сотрудник! Это, признаться, в первые минуты меня обеспокоило больше всего.

Одним словом, часа через два мы уже порядком устали.

— Так что же надо делать? — спросил я.

Черныш сказал, что он считает здесь главным именно научный аспект.

Странное состояние овладело тогда мной, дружище. Как во сне слушал я. Все Рог изобилия да Рог изобилия, золото, деньги... И вспомнил я Орта, его мечты об изобилии, об избавлении человечества от материальной зависимости. Удивительное дело! Странная штука жизнь. Никогда не перестану поражаться ее способности совмещать самое светлое с самым низменным и темным. А Черныш улыбается и говорит, что не так легко будет определить состав преступления Мильчевского. Его фальшивки — по сути дела не фальшивки, а золото — не ворованное. Одним словом, юристы еще ломают себе голову над формулировкой обвинительного заключения, хотя, конечно, за этим дело не станет.

Когда с меня схлынула волна потрясения, я почувствовал, что сгораю от любопытства. Воры, валютчики, Мильчевский меня уже не интересовали. Главное — машина! Что же это за штука, черт побери! Неужели чудеса возможны?! А здесь еще Карстнер масла в огонь подливает, рассказывает, какие с ним фантазмагории в Германии приключились. Для себя я уже поставил два вопроса, на которые следовало получить ответ.

Первый:

Происхождение машины.

Когда, где и кем она изготовлена?

Какой неведомый миру гений сумел так опередить свой век?!

Второй:

Технологические функции, принцип и назначение машины.

Зачем она?

Как работает?

Для чего была предназначена?

Так и сидели мы все втроем, пригорюнившись. Загадка жжет, а за что ухватиться?

В этот момент в кабинет врывается Подольский. Возбужденный такой, растрепанный. Увидев людей, он малость запнулся, порываясь что-то сказать, но вдруг покраснел, махнул рукой и выбежал вон. Я хотел было его удержать, но Черныш сказал, что не худо бы осмотреть машину. Мне и самому не терпелось.

На лестнице я встретил Ивана Фомича, у него был такой вид, словно он проглотил ложку касторки и куда-то очень торопится. Оказалось, он с таким видом направлялся ко мне. Я его отпустил, просил зайти завтра. А уже возле самых дверей «секретной» комнаты Мильчевского мы столкнулись с Урманцевым. У этого здоровенный синяк под глазом. Налетел на косяк, говорит. Я его пожалел и отправил в медпункт.

Мне даже неудобно перед гостями стало. Хорошее же впечатление вынесут они об институте. Один сотрудник — комбинатор, другой — малость не в себе, третий — тоже странноват, четвертый — по виду алкоголик или дебошир... Но не в этом, конечно, дело. Просто сумасшедший день выдался у меня. И все так странно...

Институт физики вакуума  
АН СССР

Институт кибернетики  
АН СССР

# ВЫПИСКА

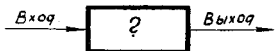
из протокола экспертной комиссии по обследованию  
гомеостаза\* неизвестной конструкции

1. Кодирование информации гомеостаза, безусловно, осуществляется по двоичной системе. Информация, предположительно, обрабатывается вакуумным пространством по принципу: виртуальный электрон-1, дырка-0 (или наоборот).

2. Согласно п. 1 гомеостаз не подчиняется принципу Бреммермана, согласно которому никакая система не может обработать информации больше, чем  $1,6 \cdot 10^{47}$  бит.грамм/сек. Очевидно, информационная емкость в данном случае будет неизмеримо больше. В связи с этим целесообразно измерять ее в бит  $\cdot$  см<sup>3</sup>/сек, так как мерой памяти скорее является объем пространства, чем количество вещества.

3. Вероятно, гомеостаз представляет собой нечто подобное «усилителю интеллекта» (термин, предложенный Эшби).

4. Исходя из этого предположения, можно констатировать, что мы имеем дело с «черным ящиком», о конструкции и принципах работы которого нет никаких сведений и судить о них можно лишь по конечным результатам его действия. В этом случае принципиальная схема выглядит следующим образом:



\* В основу понятия «гомеостаз» (понятие, введенное Нэнкином) положены следующие принципы: 1) каждый механизм «адаптирован» для достижения своей цели; 2) его цель состоит в удержании величин тех или иных существующих переменных в физиологических пределах; 3) почти все функционирование вегетативной нервной системы животного обусловлено такими механизмами (из книги У. Р. Эшби. Конструкция мозга, М., ИЛ, 1962).

5. В соответствии с п. 4 предполагается следующий порядок исследования: целенаправленное варьирование сигналов на входе и корреляция их с сигналами на выходе. В этом случае задача сводится к изучению систем, на которые влияют внешние воздействия или на вход которых подаются изменения. Отсюда, если вектор может принимать  $n$  значений, то система может иметь  $n$  различных или частично совпадающих полей.

6. Исследования принципов входа показали, что «черный ящик» сам устанавливает контакт с человеческим мозгом посредством слабого поля неизвестной природы, что не исключает, однако, обычного подсоединения через проводники. Последнее было установлено при анализе отверстия, напоминающего патрон под электролампу, в верхней части корпуса. Вероятно, у прибора существовала некая деталь, подходящая под это отверстие, назначением которой было осуществление контакта между объектом и 160 изолированными точками машины, предположительно являющимися входом.

7. В соответствии с п. 6 представляется необходимым соединение этих точек с печатающей электронно-счетной машиной для развертки и последующей расшифровки информации.

Председатель комиссии  
(подпись)

Члены комиссии  
(подписи)

## 17

Выписка из акта испытаний гомеостаза неизвестной конструкции:

Согласно п. 7 протокола экспертной комиссии было проведено испытание гомеостаза. Результаты испытаний изложены на 160 стр. машинописного текста. При сем прилагаются документы, полученные непосредственно из гомеостаза. Эти документы следует рассматривать как прямой ответ на вопросы (см. стр. 112), поставленные гомеостазу.

### Документ № 1

...Я растворюсь в Ней. Отдам себя целиком. Ручейком перелюсь в это море. Усилие воли. Напряжение внутреннего зрения.

Нужно лишь сосредоточиться и представить себе ярко-ярко. Припомнить мельчайшую деталь, неуловимый оттенок, невыразимый запах. До головокружения, до шума водопадов в ушах. И вдруг наступает облегчение. Это пар, разорвав котел, белой струйкой уходит в застиранное июльское небо. Так я переливаю себя в Нее. Но еще есть отбор. Я брожу по стиснутым стенами улочкам Старого города, прислушиваюсь к яростному ветру, что треплет метлицу на дюнах и гонит желтую морскую волну. И что-то оседает во мне и густеет, как янтарная смола. Я машина первичной переработки. Меня обдувают все ветры вселенной, меня засасывает вся смрадная грязь земли. А ей достанется теплый янтарный шарик, квинтэссенция тревоги и радости, тинктура надежды, резонансный пик эфирных бурь моего радиоприемника.

Какие годы неслись над планетой! Какие годы... А мы ничего не замечали, жили отвлеченной идеей, курили благовония перед материализованным идолом мечты.

Я думал, что мир внутри меня. Я его фильтровал сквозь совершеннейшую систему сердца и нервов. И по капле переливал потом в Нее, как вливает поэт свои строфы в самую совершенную оболочку версификации — в венки сонетов.

Какой чудовищный самообман! Наркотическое опьянение мечтой. Я понял, как велик и неисчерпаем мир, когда он сузился вокруг меня кольцом беды, сковал мой город звездной плотью спрессованных событий. Вселенная треснула. Безупречный часовой механизм распался, превратился в грудку пружин и зубчатых колесиков. Звезды упали на Землю белыми карликами газет... Каждый карлик может оказаться последним, взорваться от переполняющей его звездной материи отчаяния и растерянности. Говорят, что немецкие танки удалось остановить у поста через Юглу. Не знаю. Я видел их черные самолеты у мостов через Даугаву. Они пролетали так низко, что можно было видеть пилотов в очках. Самолеты переворачивались набок, рассыпая в серой воде Даугавы белые бешеные столбы. Рваные осколки шуршали в листья каштанов и замирали в пылевых фонтанчиках на стенах домов...

Гамлет, принц датский Гамлет... Мир расшатался, но скверней всего, что ты рожден восстановить его. Исушающая раздвоенность, чудовищная рефлексия. Неужели и сейчас я должен думать о Ней? Есть минуты, когда от человека требуется высочайшая цельность. Они пришли в вое сирены и нестройном топоте народного ополчения. Они пришли, эти минуты. Почему же я думаю о Ней? Мысленно говорю с Нею? Или моя цельность в раздвоенности? Нет... в единении с Ней моя цельность. У каждого свое место. Мне не надо корить себя. Только почему же так тоскливо, так горько и смутно?..



Где-то близко горит нефть. Точно обесцвеченное небо исходит черным дождем. Ветер уносит дым и лохматые хлопья. И надо всем парит равнодушный к векам петушок Домского собора. Гулкий орган. Разноцветные пылинки, танцующие в цветных лучах, наклонно падающих от витражей. Запах сухого камня. Голуби на многогранных плитах базилики.

Как испуганно они кружатся в дымных волокнах. И голубь обернется вороной, и собака не узнает своего хозяина...

Бедный искалеченный трамвай. Тебя сбросило с рельсов, и ты уткнулся циклопным глазом фонаря в афишную тумбу. Неяркий вечерний глянец лег на брусчатку мостовой. Синими огнями вспыхнули осколки рифленого стекла. Это вытек твой глаз. А вот осколки твоих разбитых окон. Перебирает ветер бумажки и несет их по умершей колее.

Когда-то ты вез меня от этих тихих платанов и затененных скамеек на Бривибас или на улицу Барона. Я стоял на площадке в корпорантской шапочке, молодой и глупый. Вот так же застывал слепящий оранжевый отсвет в окнах четвертого этажа, и в воздухе плавал тополиный прилипчивый пух. Но не рыли во дворах щели, не уродовали автобусы желто-зелеными маскировочными пятнами и было мне двадцать лет.

Он вскочил тогда на подножку, загорелый, изысканный, элегантно-небрежный. И уже тогда у него были седые виски.

— Комильтон\* Виллис! Какая встреча...

Он еще что-то сказал мне, но я не слышал или не понял его слов. Я стоял оглохший от счастья. Щеки мои пылали. Оказывался, Криш Силис знал мое имя! Сам Криш стоял со мною рядом, дружески улыбался и что-то мне говорил. Как блестели зубы на темном его лице и светились белые виски!

Он был уже ассистентом, этот Криш Силис — кумир университета, покоритель девушек и гордость профессоров. Он лучше всех танцевал чарльстон, водил яхту, выбивал 95 из 100 в тире, говорил по-немецки с настоящим берлинским акцентом и легко выпивал дюжину светлого под копченую салаку. Вот кто был этот Криш Силис, который почтил своим вниманием скромного студента!

Мы сошли с ним на Рыцарской улице, у Народного дома. Фонари еще не зажигались. Но день угасал, дрожь и вспыхивая. Ветер с Янтарного моря нес рваные облака. За черной решеткой отцветал жасмин. Запорошенный моховым налетом, тамплиерский герб на ослепшем фасаде двухэтажного особняка показался мне позеленевшим медяком.

■ \* Комильтоны — члены одной и той же студенческой корпорации в буржуазной Латвии.

Мы вошли под темную арку и, спустившись по изгрызенным ступеням, проскользнули в улочку, подобную водосточной трубе.

— Это ваш рассказ напечатали на прошлой неделе в «Брива земе»? — спросил Криш и чуть-чуть сдвинул набок яхтменскую фуражку. — Почему вы избрали математику? Вы же прирожденный художник! Мне трудно судить о вашем умении строить сюжет, но ваше образное видение мира просто поражает. Вы какой-то эмоциональный конденсатор. Причем тут бесстрастная абстракция математики? Мне непонятно.

— Какой-то физик сказал, что математика — это язык, на котором бог изъясняется с людьми. Я хочу знать этот язык.

— А вы верите в бога?

— Бог и смертность непримиримы. И поскольку я смертен...

— Вы хотели бы жить вечно?

— Не знаю...

— А я хотел бы... Вечные формы... Или вечно обновляющиеся формы. Отливы и приливы поля жизни... Мы еще поговорим с вами об этом. Хотите?

— Конечно... Это так хорошо для меня! Я и думать...

— Ах, пустое! — перебил он меня. — Не поскользнитесь.

Кленовые листья прилипли к сточной решетке. Тихо и грустно журчала внизу вода. Мы опять свернули под какую-то арку и дворами прошли к центру.

Зажглись огни, и сумрак сгустился над сквером. Пахнуло прохладой с реки. Бронзовая русалка сделалась синей. Нагретые камни возвращали тепло. Цокали копыта. Неистово пахли цветы. Словно спешили скорей раствориться в отлетающем дне.

Мы зашли в «Фокстротдиле». В баре было светло и жарко. Кельнер причес пива и жареных миног. От сотрясения поставленной на мраморный столик тарелки коричневый студенистый жир задрожал и в полупрозрачной глубине его зажглись крохотные огоньки.

— Чем вы думаете заняться после университета? — спросил Криш, стирая пальцем туман с кружки.

— Боюсь, что мои возможности весьма ограничены. Поведу преподавать куда-нибудь в Видземе.

— Ах, Видземе! Грустное ситцевое озеро. Костры на Ивана Купалу. Девушки, прыгающие через огонь... А что если вам остаться при университете?

— К сожалению, это невозможно.

— Почему?

— У меня нет никаких связей. Да и способностями я не блистаю. Мои успехи в науках весьма скромные.

— Ну, не скажите, комильтон. Просто наука требует полной отдачи. А вам нужно еще и писать.

— Пишу я немного. Мне удалось опубликовать лишь два рассказа и несколько небольших эссе. Очень трудно передать все, что чувствуешь... Будто грозовое облако, раздираемое молниями, уронит вдруг скупую холодную каплю и растает в небе!

— Но и капля способна вместить в себя целый мир. Все отражается в ней — и солнце, и дюны, и пестрая толпа на пляже. Нужно лишь сохранить это отражение... Представьте себе некий волшебный сосуд, в котором можно хранить отраженные каплями картины! Мы возьмем каплю с севера и каплю с юга, мутную слезинку и ртутный шарик термометра, и росу с цветочного лепестка...

— Вы хотите спрятать многоликий мир в бутылку, как джина из арабских сказок?

— Я хочу помочь вам остаться в университете...

Криш смотрел на меня, не отрываясь. И даже отблески люстр не дрожали в глубине его зрачков.

— Я не шучу. Вы нужны нам, Виллис, нужны мне.

— Кому это... вам? — я спросил его тихо и трудно, стараясь унять непонятную внутреннюю дрожь.

— Вы клубок обнаженных нервов, Виллис. Природа наделила вас горьким счастьем остро воспринимать мир. Вам доступны такие взлеты восторженности и такие колодцы отчаяния, о которых мы лишь слабо догадываемся, читая Эдгара По, Вилья де-Лиль-Адана или Д'Оревиля. Я не шучу с вами. Вы могли бы стать большим писателем и умереть от стужи и голода. Но я совсем не то говорю... Эдгар По тоже носил тучу, ронявшую бесценные капли. Эти капли остались на страницах его книг, а туча исчезла вместе с ним. А что, если бы кто-нибудь попытался сохранить эту тучу навечно? Вы понимаете меня? Навечно!

— Вечны лишь боги.

— Но вы мне сами сказали, что небожители говорят с нами уравнениями высших порядков! Отчего бы не попытаться?

— Речь идет о каком-то исследовании?

— Да.

— Но я не такой уж сильный математик.

— Зато вы художник с драгоценной тучей в груди.

— Таких, наверное, тоже немало.

— В сочетании с математическим образованием и аналитическим складом ума — это редкость.

— Не уникальная.

— Но других я не знаю, а с вами имею честь состоять в одной корпорации.

- Вы сузили круг до точки.
- И точка эта — вы. Согласны?
- Еще бы! Хотя я ничего не понимаю.
- Тогда спрашивайте.
- Боюсь. Все может рассеяться, как дым.

— Банальное сравнение. Все может осесть и сублимироваться, как пена в этой кружке. Вам придется целенаправленно избегать банальностей. Только тогда что-нибудь может выйти. Без напряжения нам не достичь цели. Вы понимаете, о каком напряжении я говорю? Нужно попытаться выразить невыразимое. Найти новые слова для описания самых обыденных вещей. Создать символы, способные точно передать любую эмоцию.

— Каждый художник ставит себе эти цели, но никогда их не достигает.

— Потому что он делает это ради своей поэмы, скульптуры, сонаты. Вы же будете делать это ради совершенно идеальной цели, которую никто еще не смог отлить в законченные формы. Понимаете?

- Нет.
- Напряжение станет для вас самоцелью.
- Но зачем?!
- Чтoб вдохнуть душу в мертвый мрамор. Знаете миф о Пигмаллоне и Галатее?

— Галатея — это ваш волшебный сосуд?

— Да. А сверкающая капля — это чудовищное напряжение вашего мозга.

— Что ж, в идеале задача понятна. Но ведь это сказка, сверкающая эфемериды...

- Вы можете доехать со мной завтра на взморье?
- Конечно.
- Тогда я заеду за вами утром, часов в одиннадцать.

Он резко встал. Положил на столик монету в два лата и, ловко лавируя между танцующими, исчез в темном провале винтовой лестницы. Только разорванные пленки табачного дыма обозначили его путь в горячем настое алкоголя и одеколona. Я бросился вслед. Пробежал мимо гардероба и выскочил на улицу. Она была пуста. От желтого фонаря тянулись гнойные нити. Извозчицья пролегка глухо и мерно пророкотала по мостовой...

С моря надвигалась гроза. Солнечный свет неистово слепил. Он казался тяжелым и грозным. Веки сами собой закрывались. Вокруг было слишком много белого: виллы, песок, полотенца, чайки

и нестерпимо яркие точки, лениво вспыхивающие на оцепеневшей воде.

Криш быстро разделся. Небрежно бросил одежду на песок и побежал к воде. Он и словом не обмолвился о цели нашего приезда. Все время шутил, рассказывал забавные анекдоты. Мне начинало казаться, что он вообще забыл о вчерашнем разговоре. Что ж, пусть так...

Кругом было много красивых женщин. Я не умел смотреть на них просто, как смотрят на дома и деревья. Делалось как-то стыдно. Я тоже разделся и лег на спину. Синело небо далекое и чистое. Точно не было зловещей асфальтовой завесы на горизонте. Но чайки кричали тревожно, и у самой земли проносились ласточки, и морские блохи прыгали по песку. Гроза приближалась, и никто не мог отвести ее. Так и война. Конечно, Криш называл бы сравнение банальным. Но я еще не научился оживать галатей и думать, как все. Это на бумаге сравнение войны с грозой выглядит банально. А в жизни... Впрочем, в жизни все гораздо сложнее. Грозы часто бывают благодатными, войны — никогда.

Дыхание войны чувствуется издали. Албания, Абиссиния, Испания, Китай... Это так далеко и так близко. Но небо еще голубее на грозовом фоне. И тишина ощутимее в раскатах грома. У нас тишина. Она пахнет лавандой и хвоей, нагретым песком, гниющими водорослями, женскими духами.

На лицо легла тень. Я лениво повернул голову и увидел начищенные до блеска сапоги. В них дрожало море и пестрые купальные костюмы. Сапоги тоже могут по-своему отражать мир. Не только капли. Я поднял голову. Возле меня стоял офицер в нарядном айзсарговском мундире. Щурясь из-под руки, он смотрел на море. Коллющее солнце срывалось с его ордена Трех звезд. Орден тоже по-своему отражал мир.

Отражения ничего не отнимают у мира, не могут его исказить, хотя он и выглядит искаженным в глянце сапога и в гранях орденских звезд. А как он выглядит в нашем воображении? Каким он видится нам до обеда и после обеда? В тоске и в радости? Из окон ресторана Эспланада и из окон дома на улице Альберта. Говорят, что там избивают политических заключенных. Как болезненно, наверное, корчится мир в мозгу человека, которого избивают... Какое же мир на самом деле? И где те идеальные зеркала, которые ничего не искажают. Криш говорил мне что-то о теории отражения. Надо будет поинтересоваться. Правда, я не силен в философии... Физика — другое дело. Законы отражения, преломления, поглощения. Это настоящие законы. Они незыблемы и объективны. С их помощью я могу понять сущность любых искажений. Будь то чер-

ное зеркало сапога или цветные пятна в глазах близорукого человека. Но мозг... Таков ли действительно мир, каким мы его видим?

На песок упал тяжелый душный китель. И солнце упало в каждую пуговицу.

— Вода, должно быть, очень теплая.. А, господин студент?

Айзсарг тяжело вылез из галифе, кряхтя, опустился на песок, стащил сапоги.

— Отойду немного, и пойду к кабинкам,— сказал он, вытирая платком шею.— Исккупаться хочется... А сосны-то как пахнут! Смола вся растопилась, поди. Жарища! А вообще-то хорошо. На свете жить хорошо.

Я закрыл глаза и увидел красные круги. Они вспыхнули и померкли. А откуда-то из тьмы вылезли зеленые пятна с неровными краями.

Это от солнца. Так его отражают закрытые глаза. Но мозг не верит им. Он знает о солнце от глаз, открытых и зорких. Его не собьешь. Не всему, что мы видим, он верит. Он постоянно делает коррективы. Интересно, есть ли об этом в теории отражения?..

Криш прибежал счастливый, смеющийся, с мокрыми блестящими волосами. Он тянул за собой девушку. Она вырывалась, упиралась ногами в песок, но не убегала. У меня никогда не было такой девушки. И я никогда не смог бы так дурачиться с ней, как это делал сейчас Криш.

— Виллис! Помогите мне! Я никак не могу заставить ее подойти к вам. Она ужасно стесняется.

Но я продолжал лежать, сдерживая сердцебиение.

— Почему вы так покраснели, комилтон? — со смехом спросил Криш. Он упал на песок и увлек девушку за собой.

— Это... от солнца. Ко мне очень плохо пристает загар.

— Хотите, я дам вам орехового масла? — сказала девушка. Она тяжело дышала. Волосы выбились из-под косынки и на смуглой коже еще дрожали капельки моря...— Криш ужасно бестактен. Он даже не дал мне привести себя в порядок. Меня зовут Линда.

— Виллис Лиепине.

— Я знаю. Мне уже рассказывал о вас Криш. Очень приятно с вами познакомиться.

Я пожал ее тонкую руку и отвернулся. Я все еще не мог прийти в себя. Криш Силис рассказывал ей обо мне! И он привел ее, чтобы познакомить со мной. И она рада этому. Впрочем, это всего лишь ничего не значащая фраза. Ее произносят бездумно и легко. И все же...

— Линда — моя кузина, коллега. Она большая проказница.

Буквально вытащила меня из воды, когда узнала, что вы сидите один на пляже.

— И вы верите ему, Виллис?

Глаза ее смеялись, и я вдруг понял, что у них с Кришем совершенно одинаковые глаза.

— Нет, яункундзе\*, конечно, не верю.

— Это почему же? — спросил Криш, приподнявшись.

— Просто не стоило покидать из-за меня море.

— Чрезмерная скромность перерастает в гордость, — сказала Линда. Поднялась и, отряхнув песчинки, неторопливо пошла к воде. Но вдруг обернулась и помахала рукой. — До свидания, Криш! Прощайте, господин Виллис!

— О чем вы думаете сейчас? — спросил Криш.

— О разнице между прощайте и до свидания.

— Вам предстоит найти ее, Виллис. И еще многое... Вы Робинзон, которому нужно заново открыть целый мир... Ну, будем одеваться, нам пора. Да и дождь вот-вот хлынет.

Море потемнело. Прибой приобрел оттенки бутылочного стекла. Ветер налетал короткими резкими порывами. Гнал по пляжу обрывки газет. Сухо шуршала на дюнах метлица. Люди собирали одежду. Многие уходили. Некоторые переместились под полосатый тент. Моторные лодки спасательной службы прижимали плесцов к берегу.

Добравшись до бетонированной дорожки, мы вытрясли из сандалий песок и быстро зашагали по затененной улице. Уже хлопнули ставни и надсадно скрипели флюгера. Быстро темнело. Сильнее запахло жасмином и сиренью. В Корсо уже зажгли свет и кто-то настраивал скрипку. Под ногами скрипел песок. Деревья легко покачивались, листва терлась о черепицу крыш.

Миновали Лидо и, пройдя узкую полосу соснового бора, вышли на шоссе. Криш купил в ларьке сигарет. Долго прикуривал, загоразживаясь от ветра. Над дорогой летели тучи пыли. Упали первые холодные капли.

— Побежим. Нам уже близко, — сказал Криш, наклонив фуражку до бровей.

Мы побежали. Но ливень догнал нас. Одежда быстро намокла и сандалии наполнились теплой водой. Шоссе стало серебряным и серым. Запрыгали крупные пузыри. Потекли первые пенные ручейки.

Наконец мы добежали до уединенной виллы и влетели на пустую веранду.

Здесь было пыльно и сумрачно. Валялись разбитые горшки с давно высохшими кактусами, обрезки провода, фарфоровые изоляторы, ржавый садовый инструмент. Кое-где цветные стеклышки повывлетели, и быстрые струйки воды стекали по грязному окну на пол, одеваясь в мышиный наряд пыли.

Криш вытер платком лицо и шею. Снял фуражку и расчесал густые волосы.

— Вот мы и пришли,— сказал он, отворяя скрипучую дверь.

Мы поднялись по винтовой лестнице на антресоли. Тощая кошка испуганно соскочила с резных перил и шаркнулась в темноту. Скрипнула еще одна дверь. Криш посторонился и пропустил меня вперед. Мы оказались в большой полутемной комнате, заваленной старинными фоллиантами. Сквозь тусклые окна еле виднелось мокрое небо. На подоконниках стояли пустые пыльные бутылки. В самом темном и неудобном углу, свесив голову, спал сбрюзгший старик. Его подагрические руки обреченно свисали с подлокотников ветхого кресла.

— Это профессор Бецалелис,— тихо сказал Криш.— Не обращайтесь внимания на... некоторые его чудачества. Он великий ученый и несчастный человек.

— Перестаньте молоть чепуху,— неожиданно огозвался старик. Он поднял голову и разлепил один глаз, блеснувший из отечного мешка, как янтарь из кучи морского хлама.— Вы принесли водки?

— Нет, профессор. Простите, но я не принес вам водки.

— Тогда убирайтесь к чертовой матери! У меня разыгрался радикулит, и я не могу сходить за ней сам. Почему не принесли?

— Дождь помешал. Мы и так промокли до нитки.

— Э-э. Дождь только начался. Вполне могли купить водки... И не говорите, что собирались взять ее в нашем ларьке. Кого вы привели?

— Это тот самый студент... Я уже рекомендовал его вам, профессор.

Я поклонился, испытывая самые противоречивые чувства. Все это было немножко противно, страшно, но интересно.

— Что вы умеете делать, студент, кроме пакостей и рассказов?

— Он умеет глубоко чувствовать, профессор,— мгновенно отозвался Криш.

— Дайте листок бумаги, Сидис.

Криш метнулся в противоположный угол. Сбросил с крохотного столика стопку книг, взорвавшихся, как начиненные пылью гранаты, и принес несколько измятых листков почтовой бумаги.

— И стило.

Криш протянул ему авторучку.



— Вы, кажется, математик, студент?

— Да, профессор.

— Сейчас я дам последовательность,— он стал что-то царапать на бумаге, близко поднося ее к глазам.— Вы попробуете ее разгадать. Если догадаетесь, то продлите этот ряд,— он протянул мне листок.

Там было только десять букв: О Д Т Ч П Ш С В Д Д.

Сначала мне пришло в голову, что это начальные буквы слов какого-то известного стихотворения или пословицы. Но я никак не мог подогнать их под хаотические отрывки, лихорадочно всплывающие в памяти.

— Не знаете?... Эти числа натурального ряда. Один, два, три и так далее... Если бы догадались, то написали бы О Д Т Ч и так далее...

— Я подумал, что это стихи.

— Вы восторженный интеллеktуал, милейший, а не точный сухой математик. Ни черта из вас не выйдет. В математике, разумеется... Силис! Дайте ему мой тест.

Криш протянул мне отпечатанную на папиросной бумаге анкету. Вопросы были пространные. Начинная от «краснеете ли вы, попадая в знакомое общество», до «способны ли вы ударить женщину?»

— Вы должны отвечать только «да» или «нет». Да — единица, нет — ноль. Не вздумайте лгать. Тест учитывает и эту возможность. Пишите все, как есть. Тогда результат может оказаться благоприятным.

Я быстро заполнил листок, хотя вопросы, вроде «любите ли вы коммунистов?», несколько меня озадачили. Трудно ответить определенно. Но анкета была пристрастной и безразличного отношения не предусматривала.

— Сколько у него, Силис?

— 01101110001101.

— Чувствительный интеллигент, отрицающий всякие принципы. Внутренне порядочный, но скрывающий это даже от самого себя,— старик раскрыл, наконец, и другой глаз.— Что ж, на сегодняшний день это не худший представитель рода человеческого. Но может дать опасные мутации, если наступят более суровые времена.

— Зачем такой скоропалительный вывод, профессор? — вмешался Криш.— Он nepазволительно априорен. Вы только окончательно смутите коллегу Виллиса.

— Эх, молодые люди! Мне приходилось жить, как сказал Монтень, в такое время, когда вокруг нас хоть отбавляй примеров невероятной жестокости. В старинных летописях мы не найдем рас-

сказов о более страшных вещах, чем те, что творятся у нас повседневно.

— Вы всегда удачно цитируете, профессор. Но цитата не может оправдать предвзятого отношения. И не сгладит обиды.

— Э-э. Если он сразу же не разучится обижаться на меня, мы не сработаемся. Помните, как ветхозаветный Гидеон вопрошал господа? «И сделай мне знамение, чтобы я знал, что ты говоришь со мной». Я, конечно, не господь, но тоже не могу предупреждать каждый раз: не обижайтесь, сейчас я начну злословить... Кто ваш любимый художник, молодой человек?

— Гоген.

— Из-за яркости красок или из-за близости к некоему сверкающему откровению?

— Не знаю.

— А вы не склонны к пантеизму? Не кажется ли вам, что мировая душа разлита во всей природе?

— Я слишком рационалист, чтобы допустить это.

— Ничего не бывает слишком... Вы читали Спинозу?

— Только «Этику».

— Математика всегда привлекают теоремы... Но мне-то, собственно, безразлично, читали вы Спинозу или не читали. И изменить это ничего не может... Чему предначертано свершиться, то и случится. Но я, впрочем, начинаю болтать чепуху. Сидис! Голубчик. Спуститесь в погреб. Там, кажется, должна быть бутылка прозрачной. Принесите ее сюда. И кусочек соленого лосося, пожалуйста.

— Но, профессор... — попытался возразить Криш.

— Никаких но! Я должен быть сегодня в форме. У нас с молодым человеком будет серьезный разговор... А я так плохо чувствую себя, Криш. Сходите в погреб. Очень прошу вас.

Криш пожал плечами и вышел. Я слышал, как скрипели ступеньки под его ногами.

— Такие вот дела, милый Петер, — вздохнул старик.

— Меня зовут Виллис, господин профессор. Виллис Лиепень.

— Нет. Ты — Петер. Петер Шлемиль\*, у которого я хочу отнять тень. Ты знаешь, как дьявол купил тень у Петера? Знаешь... Ну вот и я хочу купить у тебя тень. Только денег у меня нет... Нет золотых гульденов, чтобы оплатить твою бессмертную душу. И латов-то не всегда хватает на бутылку-другую прозрачной. И куда только уходят деньги... Конечно, я мог бы иметь ведра серебряных пятилатовиков, кадки золотых блестящих двадцаток. Благо на монетах нет номеров и всяких там серий. Они все одинаковые. Им и поло-

\* Герой рассказа Шамиссо «Чудесные похождения Петера Шлеммеля».

жено быть одинаковыми, как однайцевые близнецы... Да! Я мог бы... Но не хочу. Не хо-чу! Нельзя осквернять чистое дело. Даже ради него самого. Цель не оправдывает средств. Напротив, средства иногда пятнают цель. Я занимаюсь только белой магией и не хочу иметь дела с черной. Пусть я умру с голоду. Впрочем, с голоду я не умру. У меня в погребе четыре пур<sup>\*</sup> картофеля, бочка соленой лососины, мучица. Есть и бочонок масла, мед, ящик копчушки. Что еще человеку надо? Только немного водки. А она кончилась, и Силис не принес мне. Какое у нас сегодня число? Ах, так! Значит, скоро жалованье! Ну вот, видите, все идет превосходно, и я покупаю вашу тень, милый Петер Шлемиль... А вот и Силис! Ну давайте ее сюда, Силис. Давайте!..

Не вставая с кресла, старик извлек откуда-то грязный граненый стакан и фаянсовую кружку с отбитой ручкой.

— Больше посуды у нас, кажется, нет... Впрочем, может, молодой человек не будет? — он выжидательно уставился на меня.

— Да, профессор. С вашего разрешения, я лучше откажусь.

— Ну и великолепно! То есть, я хотел сказать, что очень жаль. Но не смею настаивать. Не смею... Держите кружку, Силис.

Он быстро плеснул в кружку и медленно и осторожно наполнил стакан до краев. Втянул губами немножко и решительно перелил в глотку остальное. По запрокинутому небритому подбородку прошла волна.

— Можете вылить остатки. Хватит на сегодня. Пора приниматься за дело... Или... уж лучше сразу покончить с этим? Все равно больше у нас ничего нет. Разлейте, Силис.

— Нет, профессор. Вы сказали — вылить. Будьте последовательны. *Erreg si thuove\*\**. Видите, какая воронка? Кириолисово ускорение.

Профессор сосредоточенно смотрел, как Силис выливает водку в форточку.

— Вы безжалостный ученик, Силис. Никогда вам этого не прощу. И не надо слов! Не надо... Помогите мне лучше подняться, идюг. Пусть ваши дети оплатят вам тем же. Бог видит, как вы издеваетесь над старым учителем. Я же отец вам, Силис. Неблагодарный вы щенок. Ой! Проклятый радикулит! Проводите меня к роялю. Мне нужна нервная разрядка.

Он сел за рояль, морщась от боли.

— Откройте его, студент. У меня совсем распухли пальцы. Все соли. Откладываются на костях и откладываются. Если не разминать бедные пальцы, совсем перестанут сгибаться. Боюсь, что библия не

\* П у р а — 50 килограммов [латышск.].

\*\* А все-таки она вертится [лат.].

врет про жену Лота, обратившуюся в соляной столб. Простое преувеличение клинических симптомов подагры. Я по себе это чувствую. Быть мне соляным столбом. Почему у нас нынче соль, Силис? Я завещаю вам мои отложения. Для вас ведь нет ничего святого.

Он тронул клавиши и долго прислушивался, как гложет в пыльных углах звук. Потом заиграл. Сидел он неподвижно, склонясь к инструменту и не разводя широко руки. И узкий диапазон звуков был под стать дождю и скудному выморочному свету.

Падали льдинки, дробились и таяли в черных водокрутах дымящейся среди заснеженных берегов реки. Темная стыкущая вода вбирала в себя последний свет короткого дня и копила его в глубинах, копила. А холод высушивал застекленные белым матовым льдом лужи, в которых цепенели прелые дубовые листья. Но кто-то наступал вдруг ногой, и лед трескался сухо и звонко.

И была окраска — две чередующиеся высокие ноты. Не нарастая и не падая, плыли они под затянутым белесой мутой небом, напоминая чем-то переливы домского органа. А дождь за окном хлестал по веткам. Они бились о стекло, обреченные, мокрые. Листья дрожали под ударами капель. Грустная мокрая зелень без света. Это зелень веков на куполах.

Мне сделалось вдруг зябко и беспринютно. Надо мной гулко шумели высокие своды соборов. Каменные плиты отбрасывали эхо, и оно умирало в звонницах. Дождь хлестал по зеленой черепице готических шпилей. Влажный заплаканный ветер врывается сквозь выбитые витражи, и совы рыдали под черными балками колоколен.

Но были чисты эти звуки. Чисты и холодны, как дождь, заливающий стекла, пузырящийся и лопающийся водяной пылью. И схематичны. В них было что-то от формул, объективных и равнодушных. Как прост и холоден лед в непогоду, смутна и кристально сера дождевая вода, так, холодны и бесцветны, срывались с черно-белой клавишной палитры округлые законченные ноты. Они рассыпались шариками в математические фигуры. И я поспешно искал законы, чтобы выразить их смутную суть, торопясь перед закатом этого иллюзорного мира. Да, я искал уравнения, вобравшие в себя смерть, и судьбу, и неизбежное расставанье. Но рушилось все у меня в мозгу. Я не поспевал за музыкой, мне не удавалось догнать ее, задержать хоть на мгновение. Так мы несемся по жизни и никогда нам не остановить время. Оно всегда чуть-чуть впереди. И не надо протягивать руки. Мы не успеваем. Оно уносится вперед.

Дождь стал утихать. Но ветер качал кусты и сдувал с них темно-светлые капли.

А под сводами соборов сгущался мрак и малежкие-маленькие люди стояли внизу, оглушенные близостью высокой суги.

Я мотнул головой, чтобы вырваться из этой ледяной чистоты, обесцвеченной и суровой.

Зачем мне эта мерещущаяся истина? Абсолютная, беспощадная правда? Откровение без слов утешения и проблеска надежды? Зачем? Во имя той высокой сути, которую не дано познать, в которую можно лишь верить, верить?..

Дождь. Серый дождь сечет наш убогий хутор. Почерневший дом и амбар, черные мокрые срубы. Черепица, как матовое серебро. Выбеленный на солнце камыш над хлевом и поникшая нива на раскисшей земле. Над Ригой тоже дождь. Он барабанит по восьмискатной крыше дома на улице Блаумана. Моя мансарда, мой убогий чердак. Привычка ослепляет, учит прощать. Желтизна и прозелень пятен на стенах, странная белизна умывальника и ветка засохшей лаванды за треугольным осколком зеркала. Пусть убога и жалка моя крепость, но она моя. Надышанная мною обитель. Мое тепло. Самоуспокоение — вот бесценный дар богов. И коварный яд, уводящий от реальности.

Профессор неожиданно перестал играть и уставился в окно. В небе появились проталинки анемичной голубизны.

— Вам знакомо, что я играл? — он повернулся ко мне и уголки его рта желчно опустились.

— Я плохо знаю музыку. Может быть, это Бах, или Мендельсон, или Хиндемит...

— Случайно попали. Бах. — Он кивнул головой, и обрюзгшие щеки его обозначились еще резче. — Месса h-moll. Эти пьесы написаны для органа и большого оркестра. Синтез полифонии и контрапункта... Но не в том суть. Вы можете и не знать Баха. Совсем не обязательно его знать. Но... могли бы вы передать хоть часть тех ощущений, которые испытывали, слушая музыку? Или вы ничего не испытывали?

— Сейчас мне кажется, что мог бы. Я представлял себе это очень ярко.

— Что представляли?

— Музыку, которую вы играли.

— Это же абстрактнейшая вещь? — искренне удивился он.

— Все равно, были какие-то картины... Не сюжетные, нет, скорее олицетворение. Такой метафорический сгусток, — мне было трудно выразить свою мысль.

— Нечто вроде теории символов, — шепнул профессору Криш. — Может быть, именно здесь и заложен мост? Символ эмоции сначала рождает информацию о ней, а потом информационный пакет становится эмоциональной производной. Как вы думаете?

— Об этом потом, — оборвал его профессор и, наставив на

меня распухший изуродованный палец, спросил, точно хлестнул бичом.— Вы знаете каббалу?

— Что-то читал об этом, но... Нет, не знаю.

— И я тоже не знаю. И знать не хочу. Но мне нужен кусочек пергамента с каббалистическими письменами. Дайте мне его.

— Н-но у меня же нет...

— Есть! Вы об этом не знаете, а мы знаем... Как меня зовут?

— Что?

— Я спрашиваю вас, как меня зовут.

— Господин профессор Бецалелис.— Я вспомнил предупреждение Криша и уже ничему не удивлялся.

— Вот именно, Бецалелис. Бе-ца-ле-лис! А о Леви ибн Бецалеле вы слышали?

— Нет. Никогда.

— Очень жаль. Возможно, я его потомок. Сч Бецалель, а я — Бецалелис. Великий каббалист рабби Леви ибн Бецалель, говорят, жил в конце шестнадцатого века в Праге. Он создал из глины великана — Голема и вдохнул в него жизнь при помощи куска пергамента, исписанного именами ветхозаветного бога. Голем всесилен. Для него нет ничего невозможного. И он полностью покорен воле своего создателя. Он может творить добро или зло. Я хочу, чтобы он сделал людей лучше. Но как сделать людей лучше? Нужно облегчить им жизнь, и они станут добрее. Накормить и одеть их, избавить от тяжелого труда, и у них появится досуг для чтения моралистов, тяга к наукам и искусству. Для этого я и создал своего Голема... А может, мне это только так кажется? И создал я его из-за одного лишь любопытства, которое всегда толкает исследователя к чему-то непознанному, а порой и к недоступному... Лягушку к змее тоже, возможно, толкает любопытство исследователя. Но я о другом. О моем Големе. Я создал его, но у меня нет волшебного пергамента. Как вдохнуть в него душу? Продайте мне вашу тень, почтенный Петер Шлемиль. Я должен оживить Голема... Короче, согласны вы быть моим сотрудником?

— Простите, господин профессор, конечно, хочу, очень хочу. Но я никак не разберу, где кончается сказка... Не пойму, где начинается шутка. Вы это всерьез, господин профессор?

— Серьезно, Виллис. Абсолютно серьезно.— Криш резко повернулся ко мне и смахнул с рояля на пол стопку книг.

— Что вы делаете, сумасшедший? — вскрикнул профессор.— Это же альдины\*, настоящие альдины! Вы хоть знаете, что такое альдины? Вы слышали?

■ \* Альдины — кникубабулы, первопечатные книги, напечатанные в типографии Альдо Манучи в Венеции.

— Простите, профессор. Я нечаянно,— он нагнулся и стал осторожно собирать с пола пропыленные томики.— Я знаю, это очень ценные издания... Такие, с дельфином вокруг якоря. Пятнадцатый век.

— Пятнадцатый! Шестнадцатый! Это же целое состояние! Я достал их, чтобы проститься с ними. Им цены нет.— Он трепетно и нежно погладил корешок.— Но придется продать их, Силис. Она ведь пожирает столько денег!

— Нет, профессор. Не надо. Лучше я продам свою маленькую яхту. Знаете эту голубую красавицу? Класс «дракон»! Четыре рекорда! За нее дадут хорошие деньги.

— А что вы думаете?! И яхту придется продать, и штаны тоже. Она съест нас! Съест вместе с потрохами и с этим молодым человеком, если он не раздумает идти к нам. Но, как говорил мой отец, дай бог ей здоровья, лишь бы не болела... Вы можете оживить ее, Петер Шлемиль?

— Ради бога, профессор, объясните мне, о чем идет речь! Я же совершенно ничего не понимаю!

— Ладно... Хватит парадоксов. Отведите меня в кресло, Силис! Вот так... О, уже солнышко выглянуло! Ступайте за водкой, Силис! Ступайте, ступайте без всяких разговоров! А мы пока поговорим. Почему вы не трогаетесь с места? Морфий, по-вашему, лучше? Да? Идите же!

— Только один стакан. Перед сном.

— Хорошо, хорошо! Сами налейте. Отправляйтесь. И еще я не отказался бы от хорошей колбаски.

Он откинулся в кресле и прикрыл глаза. Птицы за окном неистовствовали. Капли искрились. И зелень, казалось, была напитана медом.

— Раскройте окно,— сказал он, устало прижимая ладонь к лицу.— Не все окно. Только форточку.

Тугой влажный ветер принес цветочное благоухание и пронзительный запах сосновой смолы.

— До чего же все-таки прекрасен мир, студент! И как мало нужно человеку для счастья. И так много... Мы с доктором Силисом создали машину. Не время сейчас говорить о том, как она устроена. Считайте, что она работает на пустоте, и покончим с этим. Важно другое... Для чего мы ее сделали — вот, что важно. Но и об этом долго говорить. Вы все узнаете в свое время. А если коротко, мы создали искусственный мозг. Нет, это не подобие человеческого мозга! Нечто совсем иное, но в чем-то тождественное. С ассоциативными связями, саморегулировкой и дублирующими друг друга центрами. Мы, конечно, с большим удовольствием повторили бы

простой человеческий мозг. Но помешала одна малость. Мы не знаем, как он устроен. И никто не знает. Пока это непознаваемое, пусть не в том смысле, как у Спенсера, но непознаваемое. Так мы и создали нечто, в чем еще плохо разбираемся сами. Оно моделирует некоторые мыслительные категории, способно давать ошеломляющие представления о предметах... Но способно ли оно мыслить? Быть или не быть — вот в чем вопрос... Как вы полагаете, студент, что станет с ребенком, которого сразу же после рождения заточат в башню?

— Скорее всего, он погибнет.

— Ах, нет же! — он раздраженно поморщился. — Вы понимаете меня слишком буквально. Ребенка, конечно, будут кормить... и ухаживать за ним надлежащим образом. Словом, все как полагается. Но никакого общения! Ни звука, ни прикосновения. И полная темнота.

Он замолк и грустно задумался о чем-то, глядя на книжные труды и танцующую в солнечном свете пыль.

— Ребенок не умрет. — Он тихо вздохнул, точно сожалея об этом. — Он вырастет идиотом. Нет, не идиотом — никем. Он станет никем. У него не будет памяти. А что такое душа, студент, как не память? Понимаете теперь, зачем мне нужна ваша душа?

Гудят гудки на «Вайроге» и ВЭФе. К набережной везут противотанковые ежи и мешки с песком. Проходят хмурые ополченцы. У некоторых винтовки с узкими штыками, зеленые противогазные сумки через плечо.

На Известковой улице убили командира. Стреляли с чердака. Говорят, в лесах орудуют целые банды. Портят дороги, перерезают провода, убивают красноармейцев и беженцев.

Самолеты почти не бомбят нас. Они летят дальше на восток. Черные кресты, оттененные белыми уголками, вертикальная желтая полоса перед хвостом. Я видел сбитый юнкерс. Груда алюминия, переплетение тросиков, искаленные приборы. Он напоминал мертвого зверя. Красивого и беспощадного.

В зоопарке долго выла раненная осколком гиена. И дети не толпились перед клетками.

Ветер реал торопливо прилепленные к стенам плакаты. Но в кондитерских пили кофе, ели пирожные.

Я бродил по городу, как лунатик. Мне казалось, что он пуст — мертвый Брюгге, охваченный немотой и оцепенением. И когда с реки подымался туман, съедающий мосты и звуки, на меня накатывала тоска! Хотелось быть на расплывчатое пятно луны. Я спускался



к воде и провожал угасающий масляный свет на ней. Вдыхал сырой, чуть гнилостный запах и прислушивался к крику чаек. А нефть все горела, и медленно падал черный пушистый снег. В воздухе бесшумно лопались и растворялись мертвенным светом ракеты. Их отражения змеились в воде аperiodическими синусоидами. Это были энцефалограммы агонии.

Мы поехали тогда в Сигулду втроем: Криш с Линдой и я. Как это было хорошо! По обе стороны гладкого, извивающегося шоссе цвела желтая сурепка и крупный душистый клевер. Тугой ароматный ветер бил в ноздри. Мы подымались все выше, и на наши лица ложились причудливые пятна кленовых листьев. Жужжали шмели, где-то сверху гудели тиссы и грабы.

Мы полезли на турайдскую башню. Тонкие железные перила дрожали от наших шагов. Бесконечные лестницы. Запах сырости и запустения. После яркого света здесь было темно, точно в склепе. Но за поворотом какой-нибудь винтовой лестницы вдруг открывалась амбразура, и солнце атаковало нас пучком стрел.

Я видел, как вспыхивала и золотилась щека Линды и ее загорелое плечо, проступали веснушки и радужно поблескивал еле заметный пушок. Но за ступенькой набегала ступенька, и все гасло в сумрачной тени.

— Долго еще? — кричала Линда. — Я уже совсем выбилась из сил. Не могу!

«Гу-гу-гу», — откликалось угрюмое древнее эхо. И откуда-то сверху долетал смех Криша:

— Потерпите немного. Осталось совсем чуть-чуть!

Новые повороты. Неожиданные переходы и спуски, за которыми крутой подъем. Тяжело дыша и счастливо смеясь, Линда храбро перебегала от стены к стене по хрупким дощатым мосткам и торопилась все выше, выше. Мне казалось, подъем никогда не кончится, и я всегда буду догонять ее на этом пути к небу.

Над головой вспыхнул ослепительно синий квадрат люка. Последний пролет, и мы плывем в головокружительной синеве. Отсюда виден весь мир. По крайней мере, та его часть, которая была подвластна турайдскому архиепископу.

Причудливые меандры Гауи блестят неподвижно и ровно. Зеленый благословенный мир. Облака в реке. Тени мняка у правого берега. Звон кузнечиков. Медвяный запах цветов. Солнце и тишина. У меня навернулись слезы. Я прижался щекой к теплому ноздреватому камню. И мир сузился. Сквозь трещины пробивалась чахлая травка. По раскрошившемуся камню сновал крохотный муравей.

Я дунул. Взметнулся игрушечный вихрь песчинок — и насекомое исчезло.

Раскаленная синева поплыла у меня перед глазами. Я представил себе, как долго и трудно полз муравей на страшную незнакомую высоту. Одно лишь дуновение! Оно положило конец всему. От одной только спички запылали амбары барона фон Рибикова. Батрака Мартина забили тогда насмерть... Маленькая спичка погубила человека. Рибиков, говорят, уже уехал в Германию. Все они теперь уезжают в свой рейх. А Польши не стало. Чужие трубачи идут по улицам Варшавы. Ветер медленно покачивает повешенных. Зато какая тишина у нас! Но не вернутся ли те, кто грузит сейчас свой скарб на пароход «Гнейзенау», на танках, с автоматами в руках? Не повторят ли завтра историю с радиостанцией Глейвиц нацисты в латышской форме? Почему же такая тишина вокруг, когда где-то очень рядом уже никогда не будет тишины! Немецкий эмигрант Эрих Вортман рассказывал мне, что происходит у них в стране. Он лишен немецкого гражданства и на него приказ о высылке не распространяется. Он уже прошел через все акции и «оздоровительные» лагеря. Для него никогда не будет тишины. Она взорвалась в его ушах и ревет сиреной.

Как жаль, что Криш не захотел взять его сегодня сюда. Он как-то инстинктивно сторонится Вортмана. Непонятно, почему. Даже старик относится теперь к Эриху с полным доверием. Отличный специалист! Он мог бы здорово помочь в наших мытарствах с Ней. Но Криш решительно против. Он держит Эриха на вторых ролях. Да, впрочем, и я сам могу лишь смутно догадываться о возможностях машины и принципах, на которых она работает. Она молчалива и непроницаема, как сфинкс... Но бывают дни, когда между нами прорывается какая-то плотина. И я чувствую, что Она понимает меня, вибрирует каждой провололочкой.

Как-то после сеанса я стал свидетелем интересного разговора между Кришем и стариком. Не знаю, как это происходит. Все идет ничего, ничего, затем сразу падает, как занавес. Усталость — и все отключается. Я лежу на старом буграстом диване и, приходя в себя, слышу голос Криша:

— Такой высокий уровень эмоционального напряжения опасен.

— А вы за него не волнуйтесь, — это старик, он, как всегда, брюзжит.

— За меня нечего бояться, я уже... — бодро лепечу я.

— А я за тебя не боюсь. — Криш спокоен, чуть насмешлив. — Меня волнует поведение машины. Ее реакция необычна.

— Вы еще не так удивитесь, когда проверите контакты, — нарочито безразлично замечает профессор. Я слышу, как Криш бро-

свется к машине, гремит там, с чем-то возится. Я сажусь и вижу его изумленное, радостное лицо.

— Профессор, беспроводная дистантная связь? Это же...

— Как видите. Но только при большом волнении, при сильном желании, даже если его хотят подавить. Одним словом, слабое био-поле человека должно стать достаточно сильным, и тогда Она войдет в психический контакт.

— Если добавить сюда Ее способность узнавать, считывать текст, ориентироваться в любой зрительной символике, то...

— Никаких то. Все это должно еще пройти проверку.

Я как-то осмелился пригласить Линду на прогулку. Вечер тонул в Даугаве малиновыми и синими отсветами. Мальчишки ловили под мостом корюшек. Зелено-бронзовые и голубые рыбки беспомощно бились в банке и умирали от тесноты и нервного шока.

Мы поднялись наверх. В костеле шла какая-то торжественная служба. Линда споткнулась, подвернула ногу и сломала каблук. Она была в отчаянии. Я сказал, что понесу ее на руках, но она только засмеялась, и я почувствовал облегчение. Не знаю, как эти слова сорвались у меня с языка! Я бы не смог взять ее на руки: ноги мои отяжелели и жар прихлынул к горлу, когда я только представил, что она обнимает меня за шею, а я касаюсь ее колен. Но она только засмеялась и с досадой оглянулась по сторонам. Я заметался вокруг нее. Потом забежал в какой-то двор и схватил булыжник.

Кое-как я приколотил каблук и она, опираясь на мое плечо, доковыляла до ближайшего извозчика.

— Спасибо. Не провожайте меня,— сказала она, протянув на прощание обтянутую перчаткой руку.

Я отправился домой по синим сумеречным улицам. Красноватая лампочка под косым, в зеленоватых разводах, потолком моей мансарды показалась мне невыносимой. Я погасил свет и раскрыл окошко. Крыши лоснились и угасали, как чешуя засыпающей сельди. Красавка на подоконнике совсем съежилась, но вода в кувшине кончилась, и мне нечем было полить цветок. А идти вниз не хотелось. Где-то вскрикнул локомотив. Тихая воздушная струя пахнула в лицо полынью и догорающим углем.

Я зажег свет и решил докончить маленький рассказ о любви, который обещали взять у меня в дамском журнале. Но чернила в бутылочке загустели и нависали на острие пера комьями болотной грязи. И опять мысль о том, что нужно идти за водой, чтобы развести проклятые чернила, сделалась мне ненавистой. Я попы-

тался читать, но статья Канта о духовидцах показалась мне такой скучной и непонятной, что я раздраженно зашвырнул книжку под кровать. Со смертной скукой оглядел я пыльные корешки Тухолки, Блаватской и Анни Безант. Чахлый смешной отголосок мертвого, а может быть, и вовсе не существовавшего мира.

Мне стало душно. Хотелось что-то сделать или сказать. Но что я должен был делать? И с кем я мог поговорить? Я взглянул на часы. Последний поезд на взморье отходил через час. Можно успеть. Но у меня не было ни одного лата на извозчика. Я перерыл все карманы, обшарил чемодан и полку, где лежало белье. В поисках случайно закатившейся монеты даже отодвинул от стены крохотный шкафчик. Пока я лихорадочно рыскал по комнате, желание во что бы то ни стало попасть сегодня на взморье переросло в какое-то ожесточение, словно от этого зависела жизнь.

Споткнувшись о ведро, я больно ударился лбом об умывальник. Мыльница и зубная щетка упали на пол. Как ослепленный циклоп, простирая вперед руки, я выскочил на улицу и чуть не налетел на какого-то моряка.

— Осторожнее, юноша! — сказал он, подхватив меня за локоть. — Вы рискуете получить еще один синяк.

В свете уличного фонаря белый воротничок его сверкал, как фосфорический. Это было все, что я успел увидеть. Еще я запомнил, что от него вкусно пахло душистым табаком. И совершенно неожиданно я крикнул:

— Дайте мне два лата, капитан! Мне очень нужно.

Он спокойно сунул руку в карман и, достав кошелек, молча протянул мне монету.

Я схватил ее и, не поблагодарив, умчался. Потом я долго дежурил у подъезда, ожидая этого незнакомого мне моряка. Но он так и не появился. Когда я вспоминаю о нем, на душе становится тепло и стыдно.

Я успел на последний поезд. До виллы я добрался уже за полночь. Огромная луна висела над колючими канделябрами молодых елей. Высоко-высоко холодновато светились серебристые облака, на фоне которых кружились летучие мыши. Вилла казалась черной и неживой. Лишь тускло поблескивали стекла. Я осторожно отпер дверь и, стараясь не скрипеть половицами, чтобы не разбудить старика, прокрался к Ней.

Мне хотелось излить душу. Когда я ехал сюда, то думал, что смогу рассказать очень многое! Но, надев на голову обруч и застегнув на запястьях электроманжеты, я понял, что ничего ведь в сущности не произошло. Была фантазматория, распаленное воображение, тоска и сомнение. Но событий не было. Просто у Линды сло-

мался каблук. Зачем я примчался сюда, впечатлительный неврастеник? Лампы нагрелись, но я находился в смятении. Я был связан с Ней десятками проводов и не мог обмануть Ее ожиданий. Но что сказать Ей...

И я вновь мучительно и остро заставил себя пережить все, что пережил и передумал за эти несколько часов. Тогда я впервые почувствовал, что Она понимает меня. Ничто не изменилось вокруг. Все так же ровно светились лампы и гудел ток, покалывало в запястьях и казалось, что меня засасывает необъятная слепая пустота. Но интуитивно я был уверен: Она все понимала. И мне вдруг стало так хорошо, как не было никогда в жизни. Словно теплое ласковое море окружило меня со всех сторон. И нежило, и баюкало, и качало, качало...

— Что вы наделали, Петер? — закричал старик, когда утром нашел меня в обмороке. — Это безумие. Вы всю ночь просидели в контакте с машиной. Что с вами?

— Что с вами? — склонилась надо мной Линда. — Вы как будто грезите наяву. Вернитесь к нам из вашего далека. Вернитесь. Здесь так хорошо! Солнышко. Зелень. Липы цветут... Только тут, на башне, очень скучно. Ничего нет, кроме этих каменных зубцов. Пойдемте лучше купаться. Вода, наверное, такая хорошая... Посмотрите, какой чудесный белый песок. Криш! Снеси меня вниз. Я устала лазать по этим противным лестницам. К тому же у меня начинает кружиться голова.

Линда вдребезги разбила синее солнечное колдовство турайдской башни. Старик вырвал меня из забвения, рожденного грезами о полном, недоступном людям взаимопонимании. Мама будила меня в детстве в школу. Я так не хотел уходить из тепла в черное морозное утро. Школа была далеко от хутора. Вокруг темнота и молчание. Крохотные замерзшие звездочки так высоки, а белая заснеженная дорога еле видна.

Почему все, кто так или иначе был близок мне, будили меня? Люди любят сказки, почему же они всегда так преследуют мечтателей...

Мечтатели горели на кострах, падали их затуманенные головы под топором, их мордуют в охранке, а учителя оставляют их без обеда. Приучайся, маленький мечтатель, терпеть людскую несправедливость. Бедный чудачок в коротеньких штанишках, если бы ты знал, что ожидает тебя в мире взрослых... Зачем ты бережно и потаенно хранишь у себя в груди затянувшееся детство, тропический цветок, распутившийся в теплице? Недобрый человек бро-

сит камень, и морозный воздух белым дыханием хлынет в разбитое стекло.

Где-то внизу гулко отдавался смех Криша и Линды. Я медленно спускался с башни.

На третий день войны мы с Кришем решили эвакуировать машину. Сначала старик и слышать не хотел. Кричал, ругался, прогонял нас. Он так разволновался, что отпустившая его на время страшная головная боль возобновилась и он, как подрубленный, рухнул в свое кресло.

Сдавил виски кулаками и закачался из стороны в сторону. Потом застонал сквозь судорожно сжатые губы. Обычно во время приступов он пил водку. Это приглушало боль, давало временное успокоение. Иногда ему удавалось даже уснуть.

В тот день он потребовал, чтобы ему ввели морфий.

— Вам очень плохо, учитель? — тихо спросил Криш и положил на рояль портфель, в который собирал какие-то бумаги.

— Будьте вы прокляты! — простонал старик, не переставая раскачиваться. Лицо его было страдальчески искривлено, закрытые глаза тонули в углубленных болью морщинах. — О, за что мне такое наказание?!

— Будьте любезны, Виллис, — тихо сказал Криш. — Сходите на желтую дачу, что возле Лидо. Знаете такую, с фламинго на фонтане? Там живет врач. Попросите его сюда. Скажите, что срочно нужно сделать укол. Он знает.

Я побежал за врачом.

Впервые я понял всю серьезность положения. Криш торговался со стариком из-за каждого стакана водки. Он давал ему выпить только в минуты сильной боли и перед сном. Теперь же он сразу послал меня за морфием.

Видно, дело плохо...

Мы прокрутились вокруг старика до поздней ночи. А на другой день было уже поздно эвакуироваться по железной дороге. Говорили, что немцы выбросили парашютный десант и взорвали полотно.

Криш сказал, что надо рискнуть прорваться на автомашине. Еще два дня мы потратили на поиски грузовика. Обивали пороги в военкомате, в горисполкоме...

Но было не до нас, немцы рвались вперед. Они уже взяли Минск. Все же нам удалось достать полторку. Мы с Вортманом поехали к старику. Криш остался в городе. Его срочно вызвало какое-то высокое начальство.

Полторка еле двигалась в потоке беженцев. Мы сидели в кузове. Над нами висело безоблачное небо.

Потом налетели «фокке-вульфы». На бреющем полете пронеслись они над дорогой и поливали ее свинцом. Пулеметные очереди вспыхивали фонтанчиками пыли. Люди сразу же схлынули с дороги. Минутное замешательство... Даааа... Многие попрыгали в кюветы, некоторые, роняя узелки и подхватив на руки ребятишек, бросились к недалекому леску.

Мы выскочили из кузова и укрылись между штакетником, составленным шалашом. Не бог весть какое, конечно, укрытие, но с воздуха нас не было видно.

Зато нашему шоферу не повезло. Не успел он раскрыть дверцу, как ветровое стекло оказалось прошито белыми точками. Он медленно сполз на дорогу и остался на ней вместе со всеми, кого настигли пули.

Гул моторов стих, и Вортман вылез посмотреть, в чем дело. Я хотел было последовать за ним, но он сказал, чтоб я не высовывался — самолеты заходят для новой атаки.

Только я собрался спросить, почему он не возвращается в укрытия, как деревянные щиги внезапно зашатались и обрушились на меня...

Я много раз говорил с Ней о Линде, рассказывал о том, что волновало и мучило меня. Я перестал писать рассказы. Мысленно выбалтывал их и терял к ним потом всякий интерес. Нельзя возвращаться на круги своя. Нельзя дважды переживать одно и то же...

Год назад, в тот день, когда в Ригу вошли советские танки, мы все побежали к центральной тюрьме. Линда спешила встретить друга детства. Он сидел там уже три года. Криш тоже ждал, когда из ворот выйдут какие-то его друзья. У него всюду были друзья: в семье, на ипподроме, в яхт-клубе, в полиции и среди политзаключенных тоже.

Только я никого не ждал. Просто я пошел с ними. И волновался, видя, как они волнуются.

Потом, ночью, наедине с машиной, мне стало казаться, что и я ждал кого-то среди взволнованной толпы, над которой трепетали красные лоскутки и ревели гудки заводов. Как жадно глядел я в слепую броню огромных ворот, в маленькую, одиноко черневшую сбоку калитку. Вот-вот из нее покажется кто-то дорогой и долгожданный. Я не знаю его, никогда с ним не встречался. Но стоит мне только увидеть его, и я пойму, что нет для меня на земле никого дороже. И окажется, что мы знали друг друга всегда.

Мне долго не удавалось сосредоточиться на одном. Мысль расплывалась, как масляное пятно на бумаге, блуждала в глухих переулках, перескакивала на встречные грохочущие поезда. Припомнился праздник Лиго. И Линда в белом платье...

Старик на несколько дней отлучил меня от машины. Он сказал, что я слишком перенапрягаюсь. Это вредно. Да и машина усваивает зесьма односторонний комплекс эмоций.

— Я не хочу сказать, что это дурное воспитание, — проворчал профессор. — Но, говоря языком дуры-мамаши, отчитывающей сентиментальную бонну, ребенок может вырасти слишком впечатлительным. Отдохните недельку. И она пусть отдохнет от вас. С ней займется доктор Силис. Не худо бы познакомить ее и с женщиной. Универсальный мозг не должен быть однобоким. А женщинам, говорят, свойственно нечто, недоступное мужчинам. И наоборот, разумеется. Над этим стоит подумать... Ей необходимо познать и крайности. Не знаю только, кто сможет научить ее им. Как сказал Макиавелли, у людей редко достает мужества быть вполне добрыми или вполне злыми. А она должна понять, что значит это «вполне».

— А вы не боятесь этого, профессор? — спросил Криш, как всегда улыбаясь. Но я-то видел, что глаза у него были грустные и усталые. Добрые и очень мудрые у него были глаза.

— *Vade retro, satanas!*<sup>\*</sup> — профессор трижды сплюнул и подержался за дерево. Потом улыбнулся хитро-хитро, как старый довольный кот. — Сглазишь еще! Природе не свойственны пороки интеллекта. Какие тут могут быть опасения? А насчет женщины подумайте, Силис. Неужели у вас нет ни одной знакомой особы с достаточно развитым воображением? Об остальных качествах я не забочусь. Полагаюсь на ваш изощренный вкус. Я не буду возражать, если эта юная особа окажется столь же чувствительной, как и наш Петер Шлемиль. Зачем мы будем нарушать уже установившиеся эмоциональные связи? В общем, подумайте, Силис, подумайте...

...Из-под груди щитов меня выгасил Вортман. Я попытался подняться, но тотчас же сел на траву. Сильно болела ушибленная рука, со лба был содран кусок кожи.

— Придется вернуться в город, — сказал он, пытаясь перевязать мне голову носовым платком. — Вы в таком состоянии...

Я опять попытался встать, но, опершись на руку, вскрикнул.

□ \* *Otidi, satana!* (лат.).



— Нет... Возвращаться нельзя! Вы уж поезжайте, пожалуйста. А я здесь немного отдохну. Захватите меня на обратном пути.

Он согласился и, устроив меня поудобнее, пошел к грузовичку. Но скоро вернулся. Оказалось, что пробит радиатор и бензобак.

— И как только она не загорелась,— покрутил головой Вортман.— Дело дрянь. Надо пробиваться назад. По дороге это будет трудно... Сплошной поток беженцев, отходящие части, толчея, неразбериха. Разве что попробовать лесом?

— В лесу орудуют банды. И времени много потеряем. Нужно спасать лабораторию. До виллы отсюда не так далеко.

— А как оповестить доктора Силиса? Он же ничего не знает о нашем несчастье. Где вы с ним условились встретиться? Да лежите, лежите! — он подложил мне под голову свой пиджак.

— На шоссе Свободы, у развилки. Может, дать телеграмму?

— Телеграмму? — он усмехнулся и махнул рукой.— Какие теперь могут быть телеграммы... Попробую достать мотоцикл.

Он опять ушел, а я остался лежать у дороги в поле клевера, над которым гудели шмели и тяжело провисали тучные, точно переполненные молоком облака.

Несколько раз подходили незнакомые люди. Спрашивали, зачем я лежу здесь и не надо ли мне помочь. Какая-то женщина сказала, что у моста через Юглу видели немецких мотоциклистов. Потом кто-то сказал, что немцы вовсе не там, а в устье Лиелупе.

Наступил светлый прохладный вечер. Клевер стал синеватым. В небе протянулась длинная желтая полоса. А я все ждал Вортмана.

Потом начался нескончаемый кошмар. Связь времен распалась, и мир потонул в коричневатой тине. Порой хотелось кричать и биться головой о стену. Люди превратились в рыб. Они шевелили губами, но рот заливала немота. Лишь глаза открывались шире, выпученные от недоумения и ужаса.

Линда протягивала ко мне руки из кузова. Слезы лились по щекам, рот кривился в улыбку. Я не слышал, что она говорила, но все смотрел, смотрел. Она уезжала со студентами. Мотор не заводился. Толстенькая комсомолочка никак не могла пристроить под скамьей большой синий рюкзак. Парень с осавиахимовским значком на тенниске хмурил брови и смотрел в сторону. А старушка-мать что-то говорила ему, говорила.

Машина дернулась. Из-под нее вырвался синий угарный клуб. Линда чуть не упала. Комсомолочка села на рюкзак. А парень вдруг закричал: «Мама!» И медленно тронулась машина. И люди тронулись вместе с ней, и улицы. Только дома остались на месте.

Линда свесилась через борт и закричала:

— Скажи же мне что-нибудь! Скажи!

Я хотел сказать, но немая вода хлынула в горло и я поперхнулся.

Она замотала головой и сорвала с шеи косынку. Ветер подхватил синий шелк, закрутил вдоль борта.

— Не надо. Не говори. Она мне все рассказала! Уже давно. Все рассказала. Меня привели к Ней, чтобы рассказывать. Но все рассказала Она. Так что я знаю. Это правда?

Я закивал на бегу. Машина ехала не очень быстро. А я бежал все боком, боком, прижимая к груди больную руку. И каждый шаг отзывался острой пульсирующей болью.

А дальше все смешалось. Я перестал различать, где быть, где вымысел. Забывал, что видел, и видел, что слышал от других. То ли Криш мне рассказал, то ли я каким-то чудом все же пробился к старику... Трудно говорит о нем. Умер наш старик, умер. Не стало гениального несчастливца. Его нашли у работающей машины. Шлем был присоединен на сто шестьдесят точек. А мы-то всегда надевали обруч. Только тридцать точек. Так мало. А он — сто шестьдесят. И сразу... Он уже несколько лет не подходил к ней. Мучили головные боли. Он испытал тяжелое нервное потрясение в первые же дни ее настройки. Ему нельзя было подключаться и работать так много тоже нельзя было. И водку пить нельзя. А он ее пил, как лекарство. Он обнимал машину сильно и нежно. Никак не удавалось развести старые окоченевшие руки, распухшие от солей фаланги. Если бы знать, что рассказал он ей в свои последние минуты...

Мы все собрались там. Не было только Криша и Вортмана. Криш все это время метался по городу и ничего не знал. А Вортман вообще исчез. Оставил меня на дороге и не вернулся... Где-то он теперь? Жив ли?

Дверь открылась, и в комнату влетел Пауль. Математик был бледен. К вспотевшему лбу прилипли всклокоченные волосы.

— Немцы!

Мы выскочили на крыльцо. По шоссе громыхали желтые бронетранспортеры. Чужие солдаты в вылинявших пропотевших гимнастерках равнодушно смотрели по сторонам. Рукава их были засучены до локтей. На груди висели автоматы. Вдоль обочин ехали мотоциклисты. Они не смотрели по сторонам. И те, что сидели в колясках, тоже глядели только на дорогу. Все дальше, все мимо, и нескончаем был этот поток.

Показался «копель-адмирал». Я заметил, что машина запылена,

еще издали, по тусклым отблескам солнца. Пыль особенно заметна на черном лаке. Машина замедлила ход и остановилась. Флажки на крыльях — красный со свастикой и черный с двумя руническими «с» — обвисли. Выскочил солдат в черной пилотке и бросился открывать заднюю дверцу. На дорогу вышел офицер. Потянулся. Снял фуражку и вытер затылок белоснежным платком. Следом за ним показался другой. Когда я увидел лицо, то почувствовал, что у меня отнимаются ноги, а спинной хребет наполняется ледяным сжиженным газом.

Он улыбнулся и приветливо помахал рукой. Потом легко перепрыгнул через кювет и зашагал к нам, ловко сбивая стеком лиловые головки клевера. Другой офицер остался возле «опеля». Зато несколько мотоциклистов свели свои машины с шоссе и медленно двинулись к вилле. А я все смотрел, не отрываясь, в знакомое улыбающееся лицо, но видел только сдвинутую на затылок фуражку с серебряным черепом на черном околыше.

Это Эрих Вортман — преследуемый гестапо антифашист шел на меня, и медленно следовали за ним бесстрастные эсэсовцы на мощных мотоциклах. Я бросился назад. На одном дыхании пронесся по коридору и влетел в комнату. В углу на узкой кушетке лежал неподвижный старик. Глаза его были закрыты, а бедные распухшие руки сложены на груди.

Я сел около машины. Надел шлем и подключился к ней на все сто шестьдесят точек. Потом включил ток.

Я растворюсь в ней...

## Документ № 2

Полевая почта 32/711

Рига, 20 августа 1941 г.

Секретный документ государственной важности!

Группенфюреру СС Штромбеку

Берлин, Принц-Альбрехтштрассе, 8

Группенфюрер!

Как я уже докладывал Вам, мною были взяты на учет все лица, имеющие отношение к лаборатории профессора Беца-лелиса.

Имеющие государственную важность исследовательские работы этой лаборатории могут быть успешно продолжены только на территории империи. Нижепоименованные лица могут быть привлечены для работы на основании распоряжения о трудовой повинности:

1. Криш Силис, холост, доктор философии, род. 30.11. 1907 года в Риге, прож. Рига, Известковая, 6.

2. Пауль Упит, холост, магистр математики, род. 7.8.1910 г. в Даугавпилсе, прож. Рига, Барона, 11.

3. Эдгер Смилга, холост, магистр биологии, род. 6.3.1909 г. в Риге, прож. Булдури, Приморская, 6.

При сем напоминаю: а) профессор Бецалелис умер при странных обстоятельствах незадолго до прихода наших войск; б) его ассистент Виллис Лиепинь найден мертвым у подключенного к сети объекта «В»; в) радиотехник еврей Даниил Луцкис ранен при попытке к бегству и доставлен в Центральную тюрьму.

Объект «В» находится, по-видимому, в полной исправности и является транспортабельным. Он может быть отправлен в обычном железнодорожном контейнере. Обращаю Ваше внимание на способность объекта создавать оптические феномены. В момент занятия войсками СС загородной виллы, где находился объект, перед виллой выросла высокая бетонированная стена. В дополнение к прежним донесениям, считаю нужным отметить сильное психологическое влияние феномена, могущее быть использовано в военных и иных специальных целях. При отключении объекта от сети феномен исчез.

Полагаю, что вышепоименованные лица добровольно выполняют административное распоряжение о вызове на работу. Считаю возможным предоставить им имперское гражданство. Обязанности заведующего лабораторией могут быть возложены на д-ра Силиса, который не был замечен в какой бы то ни было нелояльности к национал-социализму. В заключение беру на себя смелость напомнить, что я в течение последних лет работал в лаборатории в качестве научного сотрудника. Хайль Гитлер!

д-р Ретегер, гауптштурмфюрер СС

### Документ № 3

S.Az14f13

Веймар-Бухенвальд,

Начальнику лагеря превентивного заключения

Концлагерь Бухенвальд

Веймар — Бухенвальд, 23 ноября 1944 г.

Заключенный (полит.) № 1233, Упит Пауль, род. 7.8.1910 г. в Даугавпилсе, умер 23 ноября 1944 г. в 8 час. 20 мин. Причина смерти: дизентерия.

1-й экз. Политическому отделу концлагеря Бухенвальд

Документ № 4

Концлагерь Бухенвальд

Веймар — Бухенвальд, 23 ноября 1944 г.

Лагерный врач

О заключенном (политич.) № 1227, Смилга Эдгар, род. 6.3.1909 в Риге, умер 23.XI.1944 в концлагере Бухенвальд.

Основание: Ваш письменный запрос,

Приложение I

Г-же Марте Смилга

Гамбург

Хопфенштрассе, 6

Как и все другие заключенные, Ваш муж, будучи доставлен в концлагерь Бухенвальд 12.XI.1944, был подвергнут тщательному медицинскому освидетельствованию. При освидетельствовании было установлено сильное расширение сердца вправо. На основании этих данных Ваш муж был освобожден от работы и взят под медицинское наблюдение. 18.XI.1944 был сделан рентгеновский снимок, который вы найдете в приложении.

23.XI.1944 около 13 час. 45 мин. Ваш муж в бессознательном состоянии был доставлен его товарищами по заключению в лазарет. Немедленная медицинская помощь не смогла оказать влияния на состояние пациента. Смерть наступила 23.XI.1944 в 14.00 час. Причина смерти: паралич сердца.

Я сожалею о внезапной смерти Вашего мужа вдали от своих родных, тем более, что со стороны врачей все было сделано, чтобы сохранить его здоровье.

Лагерный врач концлагеря Бухенвальд  
оберштурмфюрер СС запаса (подпись).

18

Сквозь двойное стекло координационно-вычислительного центра Подольский видел бескрайнее бетонированное поле. Глянцевитые сосульки весело и ослепительно истекали водой. Но было холодно, и капель застывала в тени мутными ледяными шариками. Ледяная глазурь покрывала и ажурные конструкции дальних стартовых установок. Тронутые лучами утреннего солнца, они сверкали неистовым хрустальным блеском.

Дул южный ветер. Над горизонтом неслись рваные облака. Влажное дыхание Атлантики, напоенное душистой теплотой циклонов и светом тропических гроз, обрушивалось на прозрачную стену телеметрического зала. Слышно было, как гудит ветер в алюминиевой чаше радиотелескопа.

— Не надоело еще?

Михаил обернулся. За спиной стоял Урманцев, зябко пожевывая и потирая ладони.

— А-а... Это вы, Валентин Алексеевич...

— А ты все загорелся здесь?

— Надоело! Все не запускают и не запускают. И, главное, даже не говорят, когда...

— Такой уж порядок.

— Да знаю я... Больно уж долго только...

— А может, они уже запустили. Ты-то почему знаешь?

Михаил недоверчиво усмехнулся и показал пальцем в сторону стартовых площадок:

— Никакого шевеления за последние трое суток там не замечено, товарищ начальник.

— Вот чудак-человек! И кто тебе сказал, что запускать будут именно там?

— Мне? Никто ничего не сказал... А где же еще, если не там? Мы же здесь.

— Тут такое хозяйство, что... Одним словом, запуск может быть произведен где угодно. Отсюда только будет послана команда. Посему не торчи ты у окна. Сходи лучше в буфет. Будешь нужен — вызовут по радио. Там есть динамик.

Подольский со все возрастающим удивлением слушал Урманцева. Впервые он видел сдержанного и самоуглубленного Валентина Алексеевича таким возбужденным. «Наверное, волнуется за свой телентерферометр», — подумал Михаил и спросил:

— Как вы полагаете, сегодня запустят? Хорошо бы запустили, а то ждать уже невозможно.

— Полей-ка пивка, полегчает.

— Да что это вы меня в буфет гоните!.. Может, проверить еще раз? А, Валентин Алексеевич?

— Все уже проверено и учтено могучим ураганом.

— А криостаты? Вдруг пригодятся на крайний случай?

— Криостаты? В космический холод криостаты? Ну нет, брат, я не намерен обогревать своими дровами вселенную.

Он неожиданно засмеялся. Шумно и коротко, точно весенний дневень прошел. Михаил недоуменно уставился на Урманцева.

— Ты прости, брат, — Урманцев смутился. — Это я так, от избыт-

ка чувств... Анекдот вспомнил один, исторический. Хочешь расскажу?

Михаил кивнул.

— Так вот, Миша. Ты со своим криостатом напомнил мне старика Нернста. Мало кто знает, что на досуге великий творец третьего начала термодинамики разводил рыбок. Однажды какой-то дурак спросил его: «Почему вы выбрали именно рыб? Кур разводить и то интереснее». И знаешь, что ему ответил Нернст? Он совершенно невозмутимо изрек: «Я развожу таких животных, которые находятся в термодинамическом равновесии с окружающей средой. Разводить теплокровных — это значит обогревать своими деньгами мировое пространство». Недурно, правда?

— Это мне тоже напоминает один афоризм, — рассмеялся Михаил. — Голубевод говорит: «Не понимаю, как это можно быть кролиководом!»

— В самую точку, — согласился Урманцев и, прищурившись на солнышко, сладко вздохнул. — Хорошо, брат! Весна, тает все... Кстати, о таянии... У того же Нернста, говорят, стояла на столе пробирка с дифенилметаном, который плавится при 26 градусах. Если в одиннадцать часов утра кристаллы начинали таять, Нернст говорил: «Против природы не попрешь!» И, захватив полотенце, отправлялся купаться на реку.

— Тонкий намек на купание? Хотите примкнуть к здешней команде моржей? Они каждое утро отправляются к местной проруби. Могут проводить.

— Экий ты злоюка, право... Я ведь к чему весь разговор-то веду? Пойдем в буфет, хоть пива выпьем. У меня ведь, черствый и не деликатный ты человек, вчера предварительная защита была...

— Ну! Что же вы молчали, Валентин Алексеевич!

— Да ты разве поймешь, — притворно вздохнул Урманцев и обреченно махнул рукой. — Ты не поймешь мятущуюся душу и не пойдешь с ней в буфет.

— Пойду! Пойду, Валентин Алексеевич. В буфет пойду. Я — такой...

— Тогда в темпе.

Они попросили четыре бутылочки «двойного золотого». Валентин Алексеевич поймал убегающую через край пену губами. Потом взял стакан и быстро выпил. Второй стакан он осушил уже мелкими неторопливыми глотками. И только после этого, асыпав в пиво соль, которая закипела на дне стакана мельчайшими белыми пузырьками, стал медленно цедить напиток сквозь зубы.

— Дюжину раков сюда бы! Или, на худой конец, сушеных креветок.

— Можно еще моченый горох или соленую соломку,— поддакнул Михаил.

— Соленые бублички тоже очень хороши.

— Эстонцы берут к пиву салаку,— Михаил едва заметно улыбнулся.

— Датчане предпочитают плавленый сыр с перцем.

— А чехи — роглики с крупной солью, укропом и тмином.

— Зато английский докер всему предпочтет булку и коробки крабов.

Михаил засмеялся и, поперхнувшись пивом, закашлялся.

— Сдаюсь, Валентин Алексеевич! — сказал он, откашлявшись. — Вы гурман и знаток, а я только сын лейтенанта Шмита. Расскажите лучше, как прошла предварительная защита.

— Тяжело прошла. Со скрипом.

— Иван Фомич?

— И он тоже. Но особенно кипятились престарелые кандидаты. Один из них так прямо и сказал: «Я, дескать, Валю еще студентом помню, а он уже в доктора лезет»...

— Ну и...

— За меня академик один вступился. Очень остроумный мужик. «Правильно,— говорит,— вы рассуждаете. Абсолютно верно. Дадим ему докторскую степень лет в семьдесят, чтобы через год он благополучно скончался от инфаркта». Тут, конечно, поднялся хохот. Кто-то вспомнил про Эйнштейна и Галуа... кто-то привел данные, что средний возраст нобелевских лауреатов по физике тридцать два года — в общем, сошло.

— Неужели только об этом и шла речь на защите?

— О чем же еще? Ведь все свои! Работа моя им уже в зубах навязла, сколько раз слушали... Потому-то и возник сей глубоко принципиальный спор. Многое еще в нашем научном деле предстоит налаживать... Многое!

— Главное, что хоть кончилось все благополучно.

— Да. Выпьем.

— А Иван Фомич что?

— О! Этот иезуит, Игнатий Лойола! Он облил меня тягучим потоком патоки. Хвалил и превозносил до небес. Называл меня великим, гениальным и все такое прочее.

— Зачем?

— А ты не понимаешь? Чтобы вызвать противоположный процесс. Он набивался на возражения. А чем ему можно было возражать? Только тем, что я не великий и не гениальный. Пусть это тривиальная истина, но если ее вещают на предварительном обсуждении, впечатление получается неважное. К счастью, все поняли,



к чему он клонит, и фокус не удался. Поэтому в конце обсуждения он еще раз взял слово и, как он сам выразился, честно и неловко заявил: «Хотя я не сомневаюсь, что работа выполнена на высоком экспериментальном и теоретическом уровне, но не подождать ли нам результатов космической проверки». Каков?

— Беспринципный человек.

— Ладно, бог с ним. Директор ему популярно объяснил, что к чему.

— А он что?

— Берет двухмесячный отпуск. В Мацесту поедет.

— Неужели он так и будет портить людям кровь?

— А что с ним можно поделаться? Человек он ловкий и, где надо, тихий и ласковый. В одном он только ошибся.

— В чем?

— Он делит людей либо на дураков, либо на себе подобных. В этой ограниченной схеме слишком мало степеней свободы, чтобы можно было спекулировать до бесконечности. Вот его и раскусили. Вчера я это хорошо понял. И он по-своему тоже это понял. Теперь ему будет среди нас нелегко. Придется либо перестраиваться, либо искать себе другую фирму. Сама наша жизнь исправляет таких людей. Так-то, брат.

— Вы думаете, он исправится?

— А куда ему деваться? В душе-то он, конечно, не переменится, но вести себя станет приличней. Вот увидишь, каким он вернется из Мацесты. Человек он хитрый и сам себе не враг.

— Посмотрим...

— Да, почему ты не публикуешь свою статью?

— Какую статью?

— А ту, что мне показывал. Об энергетическом расщеплении вакуума.

— Это не моя статья.— Подольский покраснел и отвернулся.

— А чья? — удивился Урманцев.

— Ее выдал Черный Ящик. Я давно хотел рассказать вам, но было стыдно... Это все время не давало мне покоя... Мучило.

— Мучило, говоришь! — воскликнул Урманцев, вскочив из-за стола. Глаза его сверкали неистовой радостью. Он был похож на Нельсона во время битвы при Трафальгаре.— Мучило?

Подольский недоуменно смотрел на него.

— И меня тоже мучило! И сейчас, признаться, где-то под сердцем сосет. Конечно, я понимаю, что все это пустые страхи. Расчет есть расчет. Физика, слава богу, наука точная. Но... Ты понимаешь, ведь и перед испытанием первой атомной бомбы многие опасались цепной реакции...

— Так вы думаете, что возможна цепная реакция аннигилирующего вакуума? — Подольский тоже вскочил.

— Нет... Не думаю. Если б я так думал, то никогда бы не пошел на этот эксперимент. Теория есть теория... Просто дурацкие страхи, безотчетное опасение, что ли...

— Внимание! Внимание! — заорал над ними динамик.

— Все по местам! В двенадцать часов четырнадцать минут будет произведен запуск...

Они вскочили одновременно и, опрокидывая стаканы и стулья, ринулись к двери.

... — Спутник вышел на орбиту, — улыбаясь с телевизионного экрана, сообщил диспетчер. — Передаю параметры: начальный период обращения — 88,7 минуты...

— Приготовиться! — скомандовал Урманцев.

Телеметристы и физики замерли у своих рабочих мест. Прозрачная стена сделалась матовой. Потом в зале стало темно. Горели только осветительные панели у рабочих мест и переливались разноцветные лампы приборов.

— Команду с земли подать в 13 часов 54 минуты, — сообщил диспетчер. Урманцев включил время. В динамиках застучал метроном.

Михаил не отрывал глаз от осциллографа, на котором непрерывно бежала световая капля. После старта, последовательного отделения ступеней и выхода ракеты-носителя на орбиту капля оставалась неизменной. Она больше не удлинялась и не разрывалась пополам, как делящаяся бактерия, не падала вниз.

— Даю счет! — сказал в микрофон Урманцев, и сразу же:

— Двадцать шесть.

Михаил включил программный сигнализатор.

— Двадцать пять.

Осторожно коснулся пальцами тумблера с зеленой точкой на рычажке.

— Двадцать четыре.

Крепко зажал рычажок пальцами.

— Двадцать три.

Перед ним зажглась зеленая лампа. «Будет гореть две секунды».

— Двадцать два.

— Двадцать один.

Лампа погасла.

— Двадцать.

Быстро включил тумблер. Дрогнула зеленая стрелка потен-

циометра, соединенного телеметрической связью с интерферометрами на спутнике...

— Два!

В глазных яблоках появляются пульсы, которые колотятся о закрытые веки.

— Один!

Он раскрывает глаза и хватается за красный тумблер. Красная лампа горит.

— Ноль!!!

Короткое слово падает, как камень в глубокий колодезь.

Рука автоматически включает тумблер. Самописец на красном потенциометре не движется.

— Сигнал должен прийти и вернуться,— слышит он чужой хриплый голос.

«Это, кажется, Урманцев... Почему у него такой голос... Простыл от холодного пива... Сигнал должен прийти, хотя он и летит со скоростью света. Урманцев как будто читает мои мысли».

— Есть! — вырывается единодушный вопль.

Самописец резко падает вниз и, чуть помедлив, возвращается назад, оставляя после себя острую пику из красной туши.

«За какие-то доли секунды иногда успеваешь прожить целую жизнь», — думает Михаил, но сейчас же ловит себя на том, что это чужая фраза, где-то читанная и, наверное, не один раз. Осциллограф мертв. Световая капля померкла.

— Связь со спутником потеряна, — докладывает телеметрист.

— Взорвался? — вскрикивает Михаил.

— Не думаю, — очень спокойно отвечает Урманцев. — Это было бы превосходно, если бы он взорвался. Но не думаю, чтобы концентрация выбитых из вакуума пар оказалась столь значительной. Но аннигиляции, во всяком случае, налицо! Вакуум выдал кванты! А, старик? Пространство рождает вещество! Ну, что ты на это скажешь?

Он кивает на красный потенциометр.

— Это взрыв вывел из строя телеметрическую систему! — спрашивает Михаил.

Но Валентин Алексеевич только пожимает плечами.

Потом они выходят из зала и, ломая спички, закуривают сигареты.

— Как назывался тот номер, с которым ты выступал в цирке? — неожиданно спрашивает Урманцев.

— «Полет к звездам». А что?

— Нет, ничего. Очень хорошо назывался...





## ВЕЧЕР В ГОСТИНИЦЕ

*Рассказ*

**Н**еровные спешащие слова, косо сбегающая вниз к концу каждой строчки, заполняли фирменный служебный блокнот с типографской шапкой «Докладная записка» на каждой странице. Я нашел его в тумбочке гостиничного номера среди старых газет, обрывков бумажного шпегата, сплюснутых тюбиков пасты и пустых сигаретных пачек с крошками табака — того хлама, который обычно убирают перед въездом новых постояльцев. Восстановить мостки между отрывками этих записей, сделанных для себя, оказалось неожиданно легко. Фамилии владельца блокнота я не знаю, а называть город — ни к чему.

Уходя, гашу свет, уступаю дорогу транспорту, уважаю труд уборщиц и из последних сил взаимно вежливо с продавцом. Храню деньги в сберегательной кассе, берегу высокие платформы и не разрешаю детям играть с огнем. Тем более, что у меня нет детей. Весенние гололедицы моих любовей уже несколько раз без перехода в лето сменялись осенним листопадом. Осторожно, листья! Водитель, берегись юза и помни о тормозах. Я и тут поступал правильно.

У меня тихая и неброская работа, я не тщеславен и не мечтаю о своем блеклом портрете в отрывных календарях. Мою работу не за что самозабвенно и безумно любить, но значит не наделаешь и ошибок. Я член профсоюза, кассы взаимопомощи и безропотно плачу взносы какому-то из добровольных обществ — кажется, непротивления озеленению.

Еще лет пять назад я кидался в драку и лез в бутылку, пытался доказывать или убеждать, охотно бился головой о любую стену и махал руками так интенсивно, что среди глухонемых наверняка прослыл бы болтуном. Но потом незаметно выбыл из коллективной погони за мнящимся горизонтом и почувствовал, насколько легче и проще наблюдать за миром со стороны, быть лишь свидетелем. И жизнь моя, как стрелка на уличном циферблате, аккуратными ежедневными толчками равномерно задвигалась вперед. По кругу...

Только стрелке не видно, что это круг. Или не стоит об этом писать? Но ведь я хочу разобраться. Или не хочу?..

В тот вечер у меня было очень плохое настроение, и все раздражало в этом блондине с лицом умной лошади, которому крутые скулы придавали еще сходство с университетским ромбом в петлице его пиджака. Злил меня и этот значок, называемый «Я тоже не дурак», и непонятная услужливость блондина — он откуда-то знал все номера этой хилой труппы гастролеров и громко шептал мне, что будет дальше, хотя я вовсе не просил, — и его нервозность. А она явно была, и я не знал, чем она объясняется. К сожалению, свободных мест поблизости не было.

Я приехал еще утром в отмерзающий после полярной ночи северный городок и по гнущимся половинцам его деревянных тротуаров сразу пошел в управление. А через час в тряском, как телега, вертолете, старательно валящемся в каждую воздушную щель, меня уже взяли к месту, где начиналось строительство, — на створ будущей плотины.

Мы за полдня оговорили все изменения в проекте, а потом до позднего вечера еще сидели в домишке гидрологов, уточняя миллион мелочей. Но люди эти — я их больше не увижу уже, не будет надобности приезжать — были мне одинаково и однолико безразличны, поэтому я забрал бумаги, отказался с ними выпить и вернулся в город в тот утренний час, когда на улицах еще мало народу и только в очереди за кефирной подкормкой для наследников стоят и курят первую сигарету зеленые от недосыпания молодые отцы.

Вот и вся командировка. Самолет мой улетал только завтра. Я спал, знакомился с соседями по номеру и курил, а вечером потянуло на улицу. Два стоящих рядом клуба (в обоих крутили кино) и маленький, но с колоннами театр глотали тонкий и непрерывный поток желающих убить вечер.

Я прельстился завезжими эстрадишками, чуть потолкался у входа

среди местных девиц, и роскошный, баскетбольного вида рыжий парень оторвал мне один из двух своих билетов мужественным жестом, которым одновременно вырывал из сердца ту — подлую и непришедшую. А я сел поближе, наткнулся на общительного блондина и теперь с завистью думал о ком-то, наверняка занявшем мое место рядом с отставленным рыжим.

Тем временем на сцене вместо чечеточника, страдавшего одышкой (микрофон, естественно, забыли убрать), утвердился маленькая полнеющая скрипачка в длинном платье, желтом, как измена, и открытом, как цветок перед опылением. Скрипка была ей ни к чему, с гитарой она смотрелась бы лучше, да и то не на сцене — очевидно, понимая это, она играла кое-как. Трезвая женщина, с одобрением подумал я.

И вдруг я понял, что знаю о ней все. Основным в ее несложной жизни была, безо всякого сомнения, счастливая и трепетная готовность в любой момент стать завлеченной и обманутой. Воспринимая этот хитрый мир только слухом и осязанием, она имела еще и ряд убежденных мыслей о назначении внешнего облика, и не последней из них была уверенность, что губы следует красить возможно шире и ярче, ибо мужчина — дурак и красному рад.

Ощущение, что угадал, было настолько весомым и прочным, что для развития внезапного дара я тут же решил потренироваться на блондине.

Учитель. Ну, конечно же, учитель. Преподает географию в шестых классах, по вечерам ведет кружок «Хочу все знать» и встречается с зонтиком жену — алгебраичку, нервную, худую и впечатлительную. За полгода до отпуска планирует поездку в Крым, но потом уходит со школьниками в турпоход по родному краю. Любит поговорить за рюмкой о загадках науки и в силу отзывчивости постоянно сидит без денег. А сегодня алгебраичка не смогла пойти в театр (примерка первомайского платья, задуманного зимой), но продавать ее билет он не стал, стесняясь шныряющих учеников. Зато теперь хочет получить удовольствие сразу на два билета и для этого привлекает меня. Черта с два. И когда объявили антракт, я отказался идти с ним в буфет пить пиво. Впрочем, у меня было дело.

Сразу после стыдливой скрипачки наступил расцвет вокала. Тенор с сытыми глазами был объявлен в афише с красной строки и вовсе не делал секрета из своего таланта и случайности пребывания в этой труппе. Он венчал собой первое отделение, этот ржавеющий гвоздь программы, и был упоенно взвинчен, как петух в без одной минуты пять. Правда, плотоядно уставившись на кого-то в первом ряду, запел он действительно с чувством. Как сирена,

увидевшая Одиссея. Он так искажил слова старой песни, что в перерыве я решил зайти к нему за кулисы.

Он сидел перед зеркалом, любовно изучая свое лицо.

— Послушайте,— сказал я от двери.— Вы поете: «Жизнь, ты помнишь солдат, что погибли, себя защищая». Вы понимаете — себя!?

— А кого же? — спросил тенор и засмеялся от превосходства.

После перерыва я отыскивал свое законное место, но там — как она прошла без билета? — сидела она, явно она, так жестоко опоздавшая, и все простивший расцветший рыжий искоса смотрел на нее сбоку, как одноглазый пират на пассажирский парусник. И я понял, что не уйти мне сегодня от общительного блондина и, сев к нему, сдался на милость победителя, покорно кивая, когда он шептал мне, что будет на сцене дальше.

А где-то на пятом номере он весь подобрался, и я снова почувствовал, что он волнуется. На сцену выходил фокусник.

Так вот в чем дело, он еще любит эти детские штуки, и ясно теперь, чем он занимается с учениками. А дома от бесчисленных стараний перебита вся посуда, но алгебраичка не покупает новую, зная из литературы, что мужа лучше держать в строгости.

У фокусника было длинное желтоватое лицо с тонким прямым носом и шапка седых волос, жестко клонящихся набок. Он был похож на старого индейского вождя — только дай ему лук или томагавк, он мигом оставил бы эти фокусы. Было ему лет пятьдесят, и фокусник он был очень слабый.

Просто бывший учитель, злорадно подумал я. Чуть приноровился и пошел в профессионалы. Теперь бедствует и уже жалеет, но зато исполнилась голубая мечта ходить в театр со служебного входа. Ах, блондин, плохи твои будущие дела!

Фокуснику помогала женщина с мягким добрым лицом, никак не вязавшимся со зловещими книжалами, которые по ходу обмана зрителей приходилось то доставать, то прятать.

А потом было что-то еще, а потом я вышел и облегченно вздохнул. Знакомые пробирались друг к другу, чтобы спросить бессмысленное «Ну, как?», мужчины закуривали, женщины говорили о теноре.

В номере, где меня поселили, было три кровати, шкаф, диван и пародия на репинских бурлаков. Один из них по воле вдохновенного копииста высоко держал голову и зорко смотрел вдаль, вероятно провидя светлое будущее волжского пароходства. Да и ядовитый пейзаж был дружеским шаржем на природу.

Сосед, мой ровесник (или чуть помоложе), худой и лысоватый парень — газетчик был мне довольно симпатичен. Еще утром, когда усталый и пыльный я ввалился в номер, он сразу же задал мне журналистско-милицейский вопрос: кто я есть.

— Хомо сапиенс,— буркнул я, и он больше ничего не спросил, очевидно приняв мое настроение за характер жильца коммунальной квартиры, где кастрюли на замках. С полчаса он скучал над блокнотом и лениво почесывал бумагу пером, а потом вдруг снова решил культурно пообщаться и рассказал мне старую шутку о том, как один матерый журналист спросил у другого такого же, читал ли тот его вчерашний очерк, а тот жутко обиделся, обозвал его хулиганом и сказал, что не читал даже Льва Толстого.

Тогда я рассказал ему, как один геолог заблудился в тайге и пять суток голодал, хотя у него был карабин с одной пулей и лошадь, а на вопрос, почему он не пристрелил лошадь, ответил, что она за ним записана, а у них строгий завхоз.

И между нами установились прекрасные безразличные отношения. Честно сказать, этот парень чем-то заинтересовал меня, несмотря на обилие готовых заученных выражений — в Москве мне как-то не приходилось встречаться с их братом, и думал я о них приблизительно так же, как о девицах у кинотеатра. Но этот был совсем ничего, и любопытство к людям еще явно оставалось у него душевной, а не профессиональной чертой.

Наслушавшись его самоуверенных формулировок, я очень удивился, когда он сказал, что слово для него, как женщина — силой не возьмешь, а только разумом, выдержкой, уговором.

— Ну, а любовь? — спросил я. — Женщина по любви, слова по любви?

— Понимаете ли,— сказал он. — Женщины, как правило, приходят сами по любви, приходят к людям красивым, а слова — к талантливым. А я — сами видите. И журналист тоже средний.

Через час я собрался отсыпаться, а он сказал, что время — деньги, потехе час, и куда-то убежал, вернувшись только к вечеру.

А перед моим уходом в театр мы оба поговорили с третьим соседом, сухим краснолицым стариком из древней семьи раскольников, когда-то бежавших на Енисей. Его неторопливая жизнь бакенщика месяц назад завершилась волчком, вспыхнула и испепелилась от творческого горения столичных киношников. Дело было так.

Молодые парни из документальной студии приехали снимать фильм о судовождении по сибирским рекам, и бакенщика прикрепили к ним как местного специалиста. Кто-то шапнул ему, что



киношников надо слушаться, а то не заплатят денег, и старик это запомнил. На одной из съемок он по всем правилам расставил бакены, зажег ночные огни и сел покурить. Юный оператор, пылающий от обилия идей, нашел, что бакены стоят недостаточно кинематографично, и спросил, нельзя ли эти цветные огни-ориентиры разместить на вечерней реке по-другому.

— Почему не можно, можно, — ответил хитрый старик и, не моргнув глазом, переставил цветные стекла фонарей в точности, как его попросили. Он только умолчал, что теперь сочетание огней стало бессмыслицей, и, следуя этим путеводным звездочкам, пароходы немедленно врезались бы в берег, если бы штурманы еще раньше не сошли с ума.

Бакенщик — это стрелочник речных путей, поэтому во всем обвинили старика. От огорчения он жестоко запил и приехал в районный город — не искать правды, потому что знал, что виноват, а отвести душу жалобой. За неделю он тут очень прижился, понемногу выпивал с новыми знакомыми, потом добавлял с другими, и по утрам у него дрожали руки. Он утверждал, что его трясет некий Аркашка, требующий выпить — и действительно, после первой же утренней рюмки руки переставали дрожать. В фольклоре и в самом деле уже давно существует этот невидимый Аркашка, и старик говорил о нем продуманно и любовно. По его словам выходило, что Аркашка (а иногда Аркадий Иванович) вездесущ, всепроникающ и трясет пьющих без разбора, хоть ты будь министром речного флота. Вечером он запоминает и записывает, а по утрам ходит по должникам, и тут отдай его долю, а иначе будет трясти, и ничем от него не спасешься. Доктора все об Аркашке знают, но его ничем не возьмешь, он в любого входит и выходит, когда вздумает. А как задобрил его утренней рюмкой, он тебя отпускает и идет к другому. А по вечерам он трезвый, потому что работает — пишет, кто что пил и к кому завтра во сколько.

К сожалению, написанные слова не в силах передать красоту убежденного изложения, тем более, что сам старик с Аркашкой очень дружил, был с ним запанибрата, никогда ему не отказывал — и уже неделю не мог выбрать время зайти в исполком с жалобой.

Я шел по пустому городу, освещенному холодным ночным солнцем, и заранее знал, что происходит сейчас в гостинице. Журналист мертвой хваткой вцепился в старика, успевшего за бесконечные часы на реке придумать тысячу невероятных историй и собственные версии всех мировых событий. Наверно сейчас он сидит на своей кровати, касаясь старчески белыми ногами со вздутыми синими венами аккуратно поставленных рядом сапог с висящими на

них портянками, и что-нибудь говорит, непрерывно потягивая «Север», который прямо пачкой держал вместе со спичками в кисете из тонкой резины.

А в соседнем номере два инженера (они летели со мной из Москвы) наверняка пьют портвейн — все, что осталось в городке к началу навигации, и говорят о женщинах, сортах сигарет и маринованных грибах под холодную водку. Они оба, несмотря на крайнюю молодость, уже интуитивно осознали, что общность людей рождается в совместных деяниях, и за неимением работы устанавливали эту общность за столом. Оба только что кончили институт и из всех сил прикидывались мужичками, стараясь, чтобы каждый забыл, что другому только стыдные двадцать три.

А я шел и с неприязнью к себе думал, как надоело знать все заранее, понимать все, что происходит, и от окружающего ничего не ждать — ибо все уже известно.

У окошка администратора, поставив чемодан под постоянный плакатик «Мест нет», сутулится все тот же блондин, и было в его фигуре что-то, заставившее меня подойти — значит, он приезжий: какого же черта бежать в театр, не устроившись на ночлег!

— Но я специально прилетел, поймите, я не могу не быть сегодня в гостинице, — говорил блондин в окошко безнадежным просящим голосом, обракающим его на верный неуспех у любых мелких служащих. — Ну, пожалуйста, у вас же наверняка есть места по броне.

— Места по броне называются так, потому что уже забронированы, — опытно сказала железобетонная администраторша.

Не успев подумать о ненужности мне этого сраженного служебной логикой только что жизнерадостного, а теперь унылого блондина, я наклонился к окошку.

— У меня в номере есть диван, — сказал я. — Не ночевать же человеку на улице.

— А вам лучше подняться наверх и прочесть правила распорядка, — готовно ответила администраторша. — На диване не полагается.

— На ночь можно, — сказал я миролюбиво, но твердо. — А завтра я уеду.

По инерции ответив, что нечего за нее распоряжаться, она улыбулась блондину уже как постояльцу, а не назойливому просителю.

— Спасибо, — растроганно сказал блондин моей спине и через минуту догнал меня на этаже, невнятно произнося какие-то запы-

хавшиеся слова. У любого мелкого благородства есть обратная сторона — самому себе становится приятно; должно быть, большинство добрых дел и совершается из этого побуждения. Я толкнул дверь номера.

Старик босиком сидел у стола и одобрительно молчал, а журналист одетый лежал на кровати и читал тонкий журнал, вслух ругая какого-то автора очень разными словами: «кретин» в этом букете было самым приличным. Увидев нас, он перекрыл густой поток существительных.

— Как провели время? — интеллигентно спросил бакенщик. Журналист не мог упустить такой возможности.

— Время не проведешь, — радостно сказал он.

Сейчас мне тоже хотелось поговорить.

— А ругать статьи коллег — профессиональное развлечение? — спросил я, снимая пиджак. Блондин, молча подпиравший шкаф, вдруг бурно и настойчиво вмешался:

— Вы журналист?! — с пафосом спросил он. — Вы сегодня могли бы очень помочь человеку!

— Я даже друзьям не всегда могу помочь, — приветливо отозвался журналист, еще не остывший от статьи.

Блондин чуть оторопел и сразу ушел в защиту.

— У много путешествующих много знакомых, но мало друзей, — наставительно произнес он.

— Экспромт или цитата? — лениво, но заинтересованно спросил журналист и приподнялся, опершись на локоть.

Блондин явно заводил знакомство. Он перестал сутулиться и, кажется, стал чуть толще.

— Это Сенека, — выскомерно сказал он. — Слыхали о таком?

— Где уж нам, — податливо отказалась скромная пресса. — Нас времена пожара Рима не волнуют, мы про отвагу на пожаре вчера в Марьиной Роще.

— Нет, серьезно, — обманутый миролюбием его тона, блондин соглашался на ничью. — Вы сейчас чем-нибудь заняты?

— Вырабатываю мировоззрение, — устало сказал журналист и откинулся на подушку. — Друзья говорят, у меня мировоззрения нет. А без него писать — все равно, что крутить фильм через объектив из осколков. Вот я и работаю над собой... — Он прищурился на блондина и добавил: — В этом направлении.

Вошла горничная с бельем и, как флаг, взметнула над диваном простыню. Журналист повернул голову.

— Томочка, — сказал он ласково, — у вас мировоззрение есть?

Пухлая Томочка, не прекращая взбивать подушку, польщенно хмыкнула:

— Что я — кассирша, что ли?

Блондин, вторично сраженный за последние полчаса, посмотрел на журналиста преданными глазами.

— Какие вы все уверенные, — сказал он.

— Не обобщай и не обобщен будешь, — победительно сказал тридцатилетний газетный волк.

Я вышел в коридор — полутемный, но с коврами, и сел в продавленное кресло. Странная штука — когда-то приучить и теперь постоянно чувствовать себя в этой жизни сторонним наблюдателем, очевидцем, по необходимости статистом, но никогда не более. А сигарета кончилась, и тлеющий огонь уже раздирал стружки табака у самых пальцев. На этаже перестали хлопать двери, кто-то кинул телефонную трубку, и из соседнего номера прорезался портвейный диалог двух зеленых колосющихся мужчин.

— Я ей прямо заявил — да или нет, а она смеется.

— Приготовишка! — сказал второй.

Хоть эти не обманули моих ожиданий.

Когда я вернулся в номер, журналист сидел на кровати, надевая туфли, и был весь внимание. Блондин спешил, глотая куски слов:

— А у многих записано такое, что они с удовольствием бы отказались...

Он знакомо улыбнулся мне и сказал:

— Я работаю в институте нервной патологии. Если вы не возражаете...

— Нет, нет, — перебил журналист, — никто не возражает. — Что-то напористое появилось в нем мгновенно, без всякого перехода от иронической отдохновенной расслабленности десять минут назад.

Я пожал плечами, а журналист уже бросил: «Идемте», и блондин, еще раз улыбнувшись мне, покорно вышел следом.

Старик, зараженный их непонятной горячкой, натягивал сапоги и сопел. Я постоял, закурил, невидяще глядя в окно, и, не раздеваясь, прилег на кровать. Сигарета показалась мне очень вкусной. Надо было всю выкурить ее лежа, подумал я.

С полчаса я пролежал в полусне, думая о проектном бюро, куда мне завтра предстояло вернуться, о своих ненужных приятелях, о пожилом сотруднике с нарукавниками — он сидел за соседним столом, и у него была папка переписки с красной карандашной надписью «К ответу!», а то место, где спина теряет свое название, гораздо шире и подвижнее, чем плечи; и о душном коридоре, где все с утра до вечера с отвращением, через силу курили и где дымились, не рождая огня, служебные микрострасти.

— У меня просто никак не доходят руки,— входя, громко говорил журналист, полуобернувшись к идущему сзади блондину,— а надо об этом писать и писать. У меня, знаешь, был странный случай...

Они уже на ты, машинально отметил я.

— Я выходил из кино с приятелем, ему лет сорок, здоровяк, веселый мужик. И вдруг я подумал: а вот Илюшка завтра умрет, а все останется по-прежнему, я с кем-то другим стану так же разговаривать. Ну, думаю, черт побери, отогнал от себя эту мысль почти силой, а утром позвонили, что Илья ночью умер от разрыва сердца. Ты знаешь, у меня шрам остался, будто я виноват.

— Видите ли...— очень серьезно и медленно сказал блондин.

Он не мог, как этот бродяга-журналист, через час после знакомства перейти на ты или сказать «Кури, старик!», подвигая себе седнику его же сигареты.

Они оба закурили, и блондин опять очень спокойно и медленно сказал:

— Видите ли, я с удовольствием поговорю с вами об этом завтра, он вот-вот придет, и я очень волнуюсь. Вы должны меня понять...

В дверь постучали. Блондин вскочил, по-школярски выхватив из рта сигарету. Журналист хрипло крикнул «Войдите!» Старик уперся руками в колени и наклонился вперед.

В комнату вошел фокусник, еще не успевший снять черный воликосветский фрак, в котором, по мнению циркачей всего мира, ловкость рук наиболее впечатляет. Сзади бесшумно шла женщина с мягким лицом.

— Добрый вечер,— сказал фокусник.— Мне на этаже передали записку с просьбой зайти в этот номер...

— Я хочу показать вам одну штуку,— блондин судорожно глотнул слюну.

Кинувшись вбок, он достал из-за портьеры свой чемодан и поставил его на стол, сдвинув графин с водой. Журналист молча зашторивал окно. Стало сумеречно, в узких столбиках пробившегося света заплескала пыль. Фокусник стоял молча. Я поразился его глазам, живущим совершенно отдельно на длинном желтоватом лице с резкой насечкой морщин. Глаза были глубокие, очень темные и — как быстро пришло сравнение! — будто у пса, ударенного ни за что. Женщина взяла его за руку.

— Это моя жена,— сказал фокусник.

В чемодане оказалась панель с набором переключателей, длинный шнур и объектив с гармошкой, как у старых фотоаппаратов. Блондин, суетясь, протянул шнур до розетки, направил объектив, и

на белой стене под потолком зажегся светлый квадрат. Послышался неразборчивый шум.

— Только звук неважный,— сказал блондин.— Плохая запись.

Это была внутренность какого-то очень длинного полутемного барака. По всему земляному полу на клочках соломы, шинелях и рваных мешках вповалку лежали люди. Кто-то стонал. Все были в мятой солдатской форме без погон и в сапогах или обмотках. С изображения пахло застойным вокзальным запахом, объектив заскользил по телам и двинулся к задней стене барака. Высокий пожилой солдат застонал и перевернулся с боку на бок, вяло и бессильно откинув руки.

Снимающий устремленно двигался куда-то, и объектив кинокамеры торопливо проходил по всему, что попадалось на пути.

Легкая фанерная дверь открылась внутрь барака.

За ней была узкая комната с невысоким и длинным бетонным постаментом. Она была сделана очень тщательно, пол был тоже бетонирован. Уборная резко отличалась от всего барака.

— Сволочи, аккуратисты! — сказал где-то сзади журналист.

— Это лагерь под Харьковом,— тихо сказал фокусник.

В уборной толпились люди, слышался приглушенный неразборчивый говор.

Снимавший этот странный фильм бесцельно крутил объектив, скользивший — как они снимали в полутьме, откуда аппарат? — по тесно стоявшим людям. Изображение то было очень расплывчатым, то вдруг четко выхватывалось чье-то возбужденное лицо с капельками пота возле красной полосы, оставленной тесной пилоткой.

Аппарат остановился на трех мужчинах в такой же солдатской форме. У них были темными тряпками обмотаны лица и глубоко надвинуты выцветшие пилотки — только чуть виднелись глаза и угадывалась полоска рта. Они сидели на краю постамента, твердо поставив ноги в обмотках на пол и, чуть подавшись вперед, смотрели куда-то вбок, застывшие, как на сельских фотографиях.

Объектив дернулся и в середине столпившихся ярко выделил бледное треугольное лицо с каплями пота на лбу и высоких затылках. Лицо парня было очень молодое и тонкое, только резкие складки морщин опускались к краям губ от крыльев носа и сильно старили его, а так ему было лет двадцать. Парень волновался и трудно дышал.

Объектив вернулся к трем. Сидящий посреди встал. Нераз-

борчивый шум сразу смолк, он заговорил, и хриплые, плохо записанные слова зазвучали весомо, как удары молота о сваю.

— Вас слушает трибунал советских людей, временно попавших к врагу. Отвечайте честно, от этого зависит ваша жизнь. В лагере, откуда вас привезли, вы были переводчиком. Это так?

Объектив застыл на белом лице парня. У того судорожно прыгнул кадык и разжались тонкие губы. Четко падали короткие, очевидно, давно уже продуманные слова.

— Да, я действительно был переводчиком.

— Как вы попали в плен?

— Я не трус, мы все тут попали одинаково.

— Вы вызвались в переводчики добровольно. И били наших солдат.

— Да, бил. Когда видел, что пленного сейчас ударит фашист, ударит прикладом по голове, я бил его по лицу первым.

— Зачем?

Снова лицо парня. Он, кажется, чуть опомнился. Его ответы — наверное, студент, подумал я — звучали очень округло, по-книжному, диловинно для этой обстановки.

— Это звонко, обидно, но не больно, а главное — не смертельно. А напец тогда уже не бил, его устраивало, что мы расправляемся сами. Считаю свои действия правильными и в этом лагере снова пойду переводчиком.

— Вы сумели что-нибудь сделать за это время? — голос звучал гораздо мягче.

— Здесь есть люди, которые подтвердят: я устроил побег тех капитана и майора, когда узнал, что на них донесли.

— Верно, — сказал кто-то сбоку. — Это было, я говорил.

Сидящий в середине снова встал.

— Трибунал считает ваши действия оправданными и приносит вам благодарность, — сказал он, очевидно улыбаясь, потому что видимая полоска рта раздвинулась и глаза стали виднее. — Вашу руку. Спасибо, товарищ! И оставайтесь пока здесь. Теперь того, из Киева, — сказал он.

Объектив проводил спины четверых, ушедших в барак, и снова заскользил по толпе. Здесь было человек пятнадцать — небритые, усталые, очень возбужденные лица. Трое сидели молча.

В дверях появился высокий плечистый парень со щетинкой коротких усов. Он заспанно щурил глаза.

— Шо тут за комедь? — спросил он. Его подтолкнули сзади, он оказался в сомкнувшейся толпе.

— Ну, чога вам? — опять пробурчал он, уже просыпаясь.

Сидящий в середине встал.

— Вас слушает трибунал советских людей, временно попавших к врагу,— снова сказал он.— Вы работали надзирателем и вызвались добровольно. Вы били людей плеткой со свинцом и одному выбили глаз. Это было?

Толпа шевельнулась и сомкнулась тесней. Парень оглянулся вокруг, но еще не понял, что происходит.

— А чего же не слушают? — сказал он.— Раз поставлен, я слежу. И нечего спрашивать. Вы на это кто будете?

Он повел плечами, чтобы повернуться к выходу, но на него уже набросились те четверо, что его привели. Послышался вскрик, шум борьбы, на экране (снимающий всунул объектив прямо в свалку) замелькали руки и головы. Потом толпа раздалась. Рослый парень мешком лежал на полу, согнутые ноги его были притянуты к груди, руки связаны сзади, во рту торчал кляп. Он не шевелился.

Трое, обернувшись друг к другу, коротко кивнули.

— Трибунал приговаривает вас к смертной казни,— сказал стоящий в середине.— Приговор приводится в исполнение.

Тот дернулся и что-то промычал. Его подняли и несколько раз ударили о бетонный пол. Тяжело хрюкнуло тело. Потом его втащили на постамент и, подняв деревянную крышку, сбросили в очистной люк. Толпа молча потянулась к двери. Остались те четверо и трое из трибунала. Снимавший тоже пошел к двери, и только у самого выхода объектив вдруг повернулся назад.

Трое снимали с лиц повязки. Тот, что сидел в середине, уже снял.

Во весь экран прямо в объектив смотрело длинное лицо индейского вождя с тонким прямым носом и глубокими темными глазами. Жесткие прямые волосы чуть клонились набок.

Пленка кончилась, на стене задрожал размытый квадрат света. Журналист подтянул штору, и от солнца стало больно глазам. Женщина тихо плакала, держа фокусника за руку, а он сидел молча, и лицо его было, как маска. Потом, не оборачиваясь к блондину, он хрипло спросил:

— Откуда у вас?

— Это память нашего сотрудника,— быстро заговорил тот, пропуская куски слов.— Мы яркие пятна памяти научились снимать, а опыты делали на себе.— Он глотнул слюну и улыбнулся.— Я-то помню мало, а у пожилых целые километры пленки. Я на ваших представлениях два раза был в Новосибирске, я очень эстраду люблю, а потом узнал ваше лицо на просмотре. Я вас через Гастрольбюро искал, я только боялся очень, думал, ошибся.



— Мне потом не поверили,— медленно сказал фокусник.— А из тех никого не осталось. При побеге...

— Где вы были потом? — требовательно перебил журналист. Фокусник прикрыл глаза, потом посмотрел на парня.

— Строил этот город,— сказал он.

— А по профессии?

— Учитель истории.

Все молчали. Фокусник встал. Жена его уже не плакала, только смотрела на него и держала за руку.

— Спасибо,— сказал фокусник блондину.— Если можно, я зайду к вам завтра, сегодня не разговор.

И вышел. Блондин собрал шнур и тщательно закрывал чемодан.

— А вы сюда что, специально прилетели?

Блондин отвечал вяло, после ухода фокусника с него мгновенно слетало нервное напряжение, и теперь он выглядел смертельно усталым.

— Я его раньше видел на сцене в академгородке. Два раза, я очень эстраду люблю. А сейчас, как узнал, что труппа именно тут, сразу взял отпуск и поехал... Ему сейчас хорошо, наверное,— по-мальчишески добавил он, потом сказал: — Завтра уеду дневным. У меня дел! На три дня не отпускали,— и стал раздеваться, откинув на диване одеяло.

Уснул он почти мгновенно, неудобно приткнувшись щекой к кожаной диванной спинке. Журналист курил, горбилась над блокнотом, а потом, словно диктуя самому себе, внятно сказал:

— И отстраненность и неучастие, возведенные в жизненную систему, сейчас уже не оправдание, а вина...— И снова замолчал.

Я вышел в коридор. Навстречу неторопливо шла концертная скрипачка в другом уже, черном вечернем платье. Наклонившись в ее сторону, рядом шел плотный лысый мужчина, по виду — заведующий или управляющий. До меня донеслась фраза:

— Но у меня-то есть справка от месткома, что я уже больше не ворую.

Скрипачка тонко и понимающе улыбнулась его тонкой шутке.

«А когда она одета хуже, то чувствует себя душой»,— привычно подумал я, и это было последней каплей, и скопившееся за вечер выхлестнулось душевной тоской. Когда мне все на свете стало ясно? И почему, по какому праву? Перехожу улицу на перекрестках...

С лестницы вошел в коридор старик-бакенщик, уже успевший, несмотря на ночное время, где-то основательно добавить. Он

вплотную подошел ко мне и жаркодохнул в лицо — пахло, как из горлышка, но выцветшие глаза смотрели вполне осмысленно.

— Вот видишь, — сказал он. — Я это, сынок, еще от деда знал, а ему его дед передал от своего. Каин-то Авеля вовсе и не убил. Он только прикинулся, Авель — до поры только, до срока, а потом оклемался, и семья у него была и дети. Вот теперь по его линии дети себя и объявляют. Это они пока тихо жили, копили силу и никуда ее не тратили. Оно еще себя покажет, Авелево семя, а Канновым теперь концы, придут на подбор такие, как наш этот.

И старик кивнул на дверь номера.

Только мне сейчас было здорово не до него, и, ощутив мое нежелание сочувствовать, он повернул к столу дежурной по этажу. Та молча подняла голову от книги. Она видела людей всякими, эта гостиничная дежурная, но наступали длинные вечера, и они одинаково приходили в ее угол посидеть, неловко привалясь боком к столу, и говорили, говорили, и она очень много знала о жизни, старая женщина с благодетельным умением слушать.

За поворотом коридора сидел на диване фокусник, и жена что-то быстро шептала ему. Человеку с жесткими седыми волосами предстояло в пятьдесят начинать сначала, потому что теперь он уже сможет не прятаться в раковину обиды и несчастья, но сейчас он хотел, наверное, как-нибудь растянуть время, чтобы завтра пришло попозже и можно было подумать.

Он что-то отнял у меня, этот мальчишка-блондин, а может быть, подарил. И еще что-то говорил журналист. Но что?

Я сел и записал абсолютно все — по порядку, в точности, как происходило. И теперь прочту сначала...



## ПОМНИТЕ МЕНЯ!

### *Рассказ*

**И**ногда я спрашиваю себя: почему эта малоправдоподобная история представляется мне совсем реальной, а не сном наяву? И не нахожу ответа.

В комнате ничего не изменилось. Тот же письменный стол, шкаф с моими старыми студенческими книгами, бронзовая пепельница, статуэтка Дон-Кихота. Среди этих привычных вещей все и произошло.

Прежде всего — о встрече с человеком без имени. Мы заканчивали проект и работали допоздна. Когда я возвращался домой, в метро было совсем мало народу, а мой вагон был и вовсе пуст. Тускло светили лампочки. Жужжали колеса по невидимым рельсам. Темно-серые тени на бетоне тоннеля проносились мимо. Перегон. Станция. Перегон. На остановках хлопают двери. Снова тени бегут навстречу.

Вдруг меня резко бросило к перилам сиденья. Раздался скрежет и визг. Поезд замедлил ход. В окне прямо перед собой я увидел человека, прижавшегося к овальной стене тоннеля. Я видел его руки, вцепившиеся в металлические скобы, его лицо — бледное пятно, мелькнувшее и скрывшееся в сумраке за вагоном. Непередаваемое выражение глаз — спокойное любопытство, необъяснимая внутренняя уверенность — я помню совершенно отчетливо. Только однажды я встретил взгляд с таким ярким искренним любопытством. Давно, давно... В зоопарке. Мы подошли к клетке с крокодилами, а недалеко дремали на солнце пестрые удавы, свернувшись клубками. По ту сторону клетки стояла девочка. Она казалась мне

тогда совсем взрослой, была аккуратно и изящно одета: белая кофточка с большим синим значком, темная юбка. Прошло много лет, а я сохранил впечатление, которое она произвела на малыша, с засунутым в рот пальцем смотревшего то на нее, то на бассейн с крокодилами. Отец, крепко держа меня за руку, чтобы я не потерялся, все повторял: «Ну пойдем, пойдем же». Он спешил куда-то.

«Еще немножко, чуть-чуть посмотрим и пойдем»,— говорил я ему. И девочка... она посмотрела на меня, и в глазах ее не погасло еще любопытство, неподдельный интерес, с которым она разглядывала то, что находилось за прутьями клеток. Я тогда заплакал и вдруг сказал отцу, что хочу домой.

...Я вышел из метро, но никак не мог отделаться от мысли, что за мной наблюдают. Дома я открыл окно: вечер был жаркий. Спать расхотелось. Над теплой землей дрожали звезды, вдали по шоссе пробегали красные и зеленые огни. Мне показалось, что в комнате кто-то есть. Я отвернулся от окна и увидел человека. Мои ощущения в тот момент можно, пожалуй, выразить так: «Он всегда стоял здесь, я просто не замечал его». Его я и видел в метро. И в глазах — крупницы того особого выражения, о котором я уже говорил, пытаюсь передать его с помощью условных символов, называемых словами. Пожалуй, все же это непосильная задача.

Он пробормотал извинения.

Не знаю, как воспроизвести наш разговор. Он уверил меня... ему удалось убедить меня в том, что он не человек, не просто человек. Что-то вроде робота. «Живой робот», «исследователь»,— это его выражения. И меня изумляет, что я поверил ему. Без капли сомнения.

Он сказал это не сразу, не в начале разговора, а незаметно подвел к своей мысли, совершенно ее не навязывая.

Представьте двух человек за письменным столом. Блики от ночных фонарей в окнах соседнего дома. Отдаленный шум автомобиля. Красное пятнышко, ползущее по шоссе. Я слушал его спокойно, как будто он рассказывал сказку.

— Скажите, как вы представляете себе контакт с разумной Галактикой, с теми, другими... Вы понимаете, о чем я?

Этот вопрос прозвучал бы, наверное, несколько неожиданно для меня в другое время. Но только не сейчас.

— Сразу трудно ответить.— Я не кривил душой.— Есть, вероятно, специалисты, это их дело.

— Но вы ведь тоже интересуетесь этим?

Я вздрогнул. Откуда он знает?

— Ну да, в некотором, гм, роде. Но совсем не так. Я дилетант. Вы спрашиваете о средствах общения с инопланетными цивилизациями, насколько я понимаю? Видите ли, есть линкос — универсальный космический язык, логика, наконец, общие математические закономерности. В фантастических романах можно найти десятки способов, и некоторые из них могут быть осуществлены. Взять хотя бы строение атомов или опять те же константы. Будь живы древние строители египетских пирамид — мы поняли бы их, они нас, со временем, конечно. Да разве мало можно отыскать способов, если вас это интересует?

— Вы полагаете, что тут подойдут те же средства, которыми пользовались бы в подобных ситуациях египтяне или древние греки, — те же методы, хотя бы и переведенные на язык двоичного кода? Линкос? Это ключ. Но этим ключом не откроешь двери: слишком долго нужно возиться. Годы, десятки лет, а вы, наконец, постигаете лишь тривиальную истину, что кроме общезвестных констант существуют и чуть-чуть более сложные вещи. Нет. Выход только один: увидеть все своими глазами. Впрочем, это неточно. Не только своими глазами, но и глазами тех, других — глазами тех, кто создал свою цивилизацию, строй мыслей, эмоций. Вы догадываетесь, что я имею в виду?

Посмотрите на меня внимательно. Я носитель этого метода. Я робот, но я и человек одновременно. Самый настоящий, такой же, как вы, только... взгляните в окно. Видите вон там... нет, нет, чуть правее — видите эту слабенькую звездочку. Как раз над крышей соседнего дома? Видите? Я оттуда. Я рожден там. Создан из клочущей в трубах лабораторий белковой массы, соткан из настоящих нервов и назлектризованных молекул — в рокоущем огне животворящих лучей. В меня вдохнули способность к анализу, я получил совершенную связь с ними — всепроникающую, быструю, как мысль, как блеск молний.

Вы спросите, может быть, где они взяли шаблон, так сказать, оригинал, по которому вылепили меня? Да, они похитили одного космонавта. Его ракета была буквально изрешечена метеорами... Они нашли его уже мертвым, но смогли воссоздать живую копию. Да...

Вы можете заинтересоваться многим, и вы имеете на это право. Но я плохо осведомлен. Те, другие... — Он на минуту задумался и посмотрел мимо меня в черное небо, усеянное звездами. — Они совсем не похожи на вас, лучше сказать — на нас. Чтобы это понять, нужно побыть с ними, внутренние различия гораздо ярче внешних.

Я очень мало помню из того, что было там... Смутные картины

оранжевого неба, оплетенного светлыми, почти прозрачными канатами. Звездный закат над темно-синим берегом. Большой пластмассовый ящик. Лампочки, огоньки, стрелки, цифры — меня обучают, меня скоро пошлют к вам...

Они тщательно продумали эксперимент. У них был четкий план. Вы скоро убедитесь в этом.

По вашему календарю это было около шести месяцев назад. Я вошел в вашу жизнь, как в неведомый поток, но теперь я привык к ней. Это было предусмотрено их планом. Постепенно телепатическая информация стала идти помимо меня, без всяких усилий с моей стороны. Вам, конечно, трудно представить себя на моем месте.

Так шли дни и недели, пока не случилось что-то. Я потерял всякую связь с ними, стал совершенно неуправляем. Не знаю, почему это произошло. Может быть, это вызвано неожиданными изменениями там, откуда меня прислали. А может быть, отказ от внешнего управления, так сказать, переход на автономный режим предусмотрен уже в первоначальном их плане, — трудно сказать. Как бы там ни было, я все чаще стал чувствовать себя человеком. Самым обычным человеком.

Мне вдруг стало казаться, что я помню свою мать. Будто бы она говорит мне, совсем крошечному малышу: «Слушайся старших, сынок. Расти умным мальчиком». Все реже меня навещали мысли о том, что я чужд всему. Я вспоминаю ранние морщинки на лице матери, ее ласковый голос, когда она в первый раз провожает меня в школу...

Я вспомнил зеленую тропинку к школе и желтые осенние цветы по обочинам. Нашу учительницу, очень молоденькую. Перед школой, переводя через дорогу, мать брала меня за руку. Я помню ее руку — шершавую, морщинистую, теплую. Встречая, она гладила меня по стриженной голове, потом давала зеркало: «Опять вымазался чернилами, глупыш. Сначала умойся, потом пойдешь играть», — и шутиливо шлепает меня.

Я вспомнил сестренку. Целые вечера я просиживал где-нибудь в укромном месте и по кусочкам, как разбитое зеркало, восстанавливал прошлое. В этом зеркале я увидел себя — мальчуганом с маленьким деревом в руке. Стоит октябрь. Я тепло одет. Вокруг темные куски влажной земли, ямки для саженцев, румяные лица одноклассников... Вы не поверите — я часами бродил около школы. Я разыскал ее. Я приходил туда даже ночью, чтобы никто не видел, как я сметаю пыль со ступенек крыльца — мне это иногда приходилось делать в детстве — и считаю деревья в школьном саду. Ведь это я, я их сажал. Но как здорово они выросли, видели бы вы их!

Иногда я оставался там до утра, и когда детвора, смеясь, прибегала на занятия, я словно ожидал увидеть знакомые лица... И я вспомнил их, маленьких товарищей детства.

В один из ясных сентябрьских дней мы играли в дотонялки на школьном дворе. Уже начался листопад, и весь двор был усеян большими кленовыми листьями. Они шуршали под ногами, мешали бегать. Я поскользнулся и наскочил на старшекласника, длинного верзилу в серых форменных брюках. Я побежал дальше, но он догнал меня. Он догнал меня и больно схватил за шею, что-то сказал мне и, засмеявшись, щелкнул по носу. Я чуть не заплакал от обиды и несправедливости. У меня сразу пропало настроение смеяться и бегать — знаете, как это бывает с детьми? Откуда-то между нами оказался мальчик, едва ли выше меня ростом. «Отстань от него, разве не видишь, он нечаянно!» — закричал он моему врагу. И тот, презрительно ухмыльнувшись, отступил от нас. И этот мальчик... я хорошо запомнил его лицо, — этот мальчик были вы. Конечно, трудно помнить такое, через столько лет. Но я узнал вас. Вы даже не подозреваете, но я украдкой следил за вами. Я узнал, где вы живете, это было нетрудно сделать. Но вас не было вечерами дома, и я слонялся вокруг. Если бы вы вспомнили!.. Ведь это значило бы, что у меня действительно есть прошлое...

Порой я снова, как наяву, видел перед собой пластмассовый ящик, снова слышался треск зеленых огней, отрывистые звуки чужих голосов. Будто снова вдыхал я горячий оранжевый воздух...

Все мучительней становится борьба с этим.

Однажды мне удалось вспомнить дорогу из школы домой. По знакомой тропинке я направился искать свой дом. Знаете, такой старый одноэтажный деревянный дом. И крыша покосилась. Мне казалось, что стоит найти его — и я увижу на крыльце мою мать, сестренку. Вот, наверное, обрадуются! Но я не нашел. Дома не было. Возможно, его снесли, если только он вообще существовал. На том самом месте зеленел сквер с высокой травой и тропинка, дойдя до ограды, поворачивала, вела вдоль нее.

Я спросил проходившую мимо пожилую женщину, не знает ли она старого деревянного дома с покосившейся крышей. Она показала рукой в другую сторону. Я побежал. Если бы вы видели, как я бежал... Это был не тот дом. Позже я узнал, что здесь и правда снесли дом, но произошло это давно, никто не знал подробностей и не помнил мою мать.

Боюсь надоесть вам, уже поздно. У меня еще бывают минуты... передо мной вдруг появляется пластмассовый ящик с цифрами и словами, мелькающими, как в калейдоскопе. Зеленые огни сверкают снова — когда я правильно отвечаю на вопросы. Меня долго тре-

нировали, прежде чем послать. Перед глазами встает, как в тумане, оранжевое небо, темные узловатые стебли. Мысленно я снова настраиваюсь на волну, готовлюсь услышать сухие звуки команды, как иероглифы, понятные лишь мне одному. В такие минуты я способен на эксцентричные поступки, вроде сегодняшнего случая в метро.

Знали бы вы, как мучительны такие минуты! Но я преодолею это. В сущности, я уже не доверяю этим мучительным воспоминаниям. Трудно согласиться с тем, что все события предусмотрены в их первоначальном плане. Но это так. Я остаюсь здесь — таков их замысел.

Посмотрите: вот мои часы. У них двойной циферблат, время — земное и то, звездное... Изумительная работа, их никто здесь не возьмется ремонтировать. Но, мне кажется, они никогда и не сломаются. Честно говоря, не хотелось бы их выбрасывать, ведь это единственная памятка оттуда... как ни больно ее иногда видеть.

...Стояла тихая ночь, очень теплая. Мы изрядно накурили. Он снял тонкий серый галстук, положил его на стол и освободил воротник сорочки, как будто ему трудно было говорить. Его глаза сохранили частичку того выражения, которое я заметил в метро. Я знаю эти глаза. Я встречал их. В зоопарке? Но ведь там была девочка, девочка с синим значком. Его сестра?

Он жмет мне руку. Прощается, уходит. Но его же нельзя отпускать одного. Его нужно вернуть. Боже мой, что я наделал! Бегу за ним — поздно. Он скрылся в темноте.

...Неясные отзвуки колеблются в моей голове. Школа. Мальчишки. Урок. Большая перемена. Опять шуршат листья. Молоденькая учительница. Звонок. Беготня. И голоса так звонко раздаются — хоть уши зажимай!

Утро. Окно. Солнце. Рыжие лучи затопили двор. В кустах под окном пляшут желтые пятна, светлые звонкие волны. Цветной жучок, тихо урча, садится на подоконник и держит крылья расправленными. Ребятчи голоса. На асфальте гудит мяч. Ушедший вечер вспыхнул в голове красками и голосами, как сон или мечта. Но мне не приснилось это. Я медленно поворачиваюсь лицом к столу. Там лежит серый галстук, забытый им.

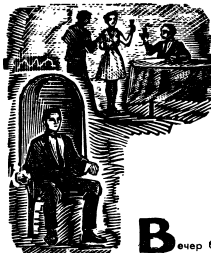
Тону в свинцовом океане раздумий. Что он говорил? «Копия, шаблон... оригинал... по которому вылепили меня». «Они похитили космонавта...» Копия! С ума можно сойти. Ведь оригинал — это Сухарев. Его звали... Вольд. Да, у него была сестра. Кажется, я видел



их вместе. Он учился в нашей школе до второго класса, а потом куда-то исчез. Ах, да... переехал в новый дом и перевелся в другую школу. Так почему же... этот... человек без имени не помнит новый дом? Он не успел. Не успел вспомнить! Но он найдет его. Он будет знать все, что знал Сухарев. Он — копия. Его память — копия. Он теперь и есть Вольд Сухарев. Он станет сам собой.

Потому, что тот, настоящий Сухарев никогда больше не вернется. Он погиб. Он был космонавт. Я узнал об этом случайно. Когда? Проклятая память — перезабыть всех знакомых мальчишек из школы... Слово прошло не двадцать, а тысяча лет.

Да, это он. Мальчуган из нашей школы. Память — драгоценная кинолента. Ничего нельзя забывать. Опять шуршат листья под ногами, клен бросает их на землю. Мы смеемся, я снова бегу, и молоденькая учительница стоит на крыльце. «Девочки, мальчики! Пора на урок!»



## НЕОБХОДИМАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ

*Рассказ*

**В**ечер был мой. только мой. Все они собрались здесь из-за меня, ради меня, для меня. Сколько раз я повторял это себе! Не помогало. Да, каждый тост на банкете был за мое здоровье, или за мои успехи, или за мое перо, или... Правда, за мой талант у них хватило деликатности не пить. А сейчас все позабыли про меня, болтают, шутят, ухаживают — равные среди равных, таланты среди талантов — и что им тот, кто собрал сотню людей в зале для редакционных совещаний! Профессора и заслуженные артисты, главные инженеры и знаменитые писатели — им было хорошо друг с другом...

Я вышел из зала на лестничную площадку.

Волосы неправдоподобно сивого цвета, усы, видные даже со спины, — наш замглавного. С кем это он?

А замглавного говорил, вернее рассказывал:

— Рядовой литсотрудник. Даже не рядовой. Бездарнее его я у нас не знаю. У каждого ведь есть хоть проблески... Такой банкет?.. Ну, при его связях чего не добьешься. Представляете — пришли пять академиков. Темы? Темы он находить умеет. Только поэтому и держим. Да и тронь его, попробуй. Сами видите! — он ткнул локтем в сторону зала.

И вдруг я испугался, что сейчас он обернется и обнаружит, что я все слышал. Ведь все это было обо мне. И все была правда.

Опрометью — обратно в зал.

Ага, Ира Панченко здесь! Как я ее раньше не заметил! Первач балерина мира! А все-таки помнит, кто ее свел с Улановой... Толя Глазков разошелся. Читает ей стихи. Ну, кто подумает, что это ему

крупнейший математик США прислал телеграмму... Как там было? Я еще с этого начал статью в «Комсомолке»...

«Дорогой профессор Глазков! Я потратил десять лет жизни на решенную ныне вами проблему. Я полагал, что человеческий разум слишком примитивен для нее. Счастлив, что оказался неправ. Когда бы вы ни приехали в Нью-Йорк...»

А в деканате в ту пору деловито решали, можно ли принять данную работу студента третьего курса А. Глазкова в качестве зачетной — как же, ведь она была написана не на заданную тему. Впрочем, о последнем я не писал... Сейчас-то он действительно профессор. А когда мы только познакомились, такой был парнишка — восьмиклассник. Помню, академик Панкратов удивлялся, зачем я привел к нему этого мальчика...

...Что-то я пропустил. Мои гости уже несколько минут как молчали и смотрели в дальний правый угол. Там, у высокого ящика размером со стенной шкаф, возился директор института кибернетики. Разошлись фанерные створки, и мы увидели за ними небольшую нишу в человеческий рост и над нею темный экран с цифровой шкалой сбоку.

— Сюрприз! — объявил кибернетик. — Я знал, друзья, что на вечер в честь нашего Георгия соберутся самые разнообразные, но очень талантливые люди. Счастливым для нашего института случай — мы ведь как раз создали машину для объективной оценки таланта. Не буду вдаваться в подробности, но прикидочные эксперименты показали, что машина как будто справляется с задачей. Сегодня здесь пройдет ее государственное испытание. Кто хочет первым принять в нем участие?

Я рванулся вперед.

— Разрешите мне как юбиляру...

Давно я не видел такого растерянного лица. Кибернетик то-ропливо загородил мне дорогу.

— Погодите, погодите, — пробормотал он. И тут же, оттесняя меня в сторону, вырос рядом один из первой тройки, побывавшей на Марсе — Валя Тройнин:

— Уж дайте мне. — И решительно занял место у аппарата.

Пока ассистенты возились с ним, сзади выстроилась целая очередь. Но мне — пусть с шутками и комплиментами — так и не дали занять в ней места.

Это было невежливо, в конце концов. Я юбиляр, они здесь ради меня, машина — благодаря мне... И вдруг я понял. Все эти люди, герои моих заметок, статей и очерков, мною прославленные, мною воспетые, не считали, что я им ровня. Для них, талантов, я был только милой посредственностью. Но им-то я нравился. Они ждали

меня. Случайность командировок сталкивала меня с этими людьми, вводила их фамилии в репортажи и очерки. А потом вступала в действие необходимость. Необходимость сделала авиамоделю конструктором ракет, победителя школьной олимпиады — академиком, повара Мишу — вот этим самым кибернетиком, доктором наук, директором института.

Я смотрел на кибернетический агрегат, на нишу, в которой сменяли друг друга гости, на экран, где плясала кривая.

Вот ее высшая точка остановилась против семидесяти.

— О,— сказал кибернетик,— отлично, дорогой профессор, ведь все, что больше двадцати пяти — уже талант. Конечно, соотношения здесь условны, но...

У академика кривая прыгнула до восьмидесяти двух, у композитора до сорока девяти, подскочила до семидесяти шести у балерины и дошла только до четырнадцати у писателя.

Они веселились — все, кроме писателя. Интересно, неужели я выгляжу сейчас таким же мрачным?

— А сколько у вас? — теребила кибернетика Ира Панченко.

— Восемьдесят четыре,— краснея, ответил он.

И тогда меня прорвало. Я вытащил из-за столика стул, вышел с ним на пустое пространство почти перед аппаратом, повернулся к гостям. Сел на стул верхом и заговорил.

Говорил я, конечно, вежливо и нежно. Что мне оставалось?

— Ребятки,— сказал я двум «марсианам», стоявшим поблизости.— Прощенья мне надо у вас просить. Вы были мне только предлогом, челябинские юные космонавты. Я приехал в командировку в ваш город потому, что туда из Одессы переехала Люба.— Мои мысли прыгали.— В Одессе-то я открыл школу, где вообще учились одни таланты. Помню, долго пришлось в этом убеждать и учеников и учителей. Вот академик Забелин стоит, он из этой школы как раз.

— И я тоже, и я,— отозвались голоса из разных концов зала.

— А мы? — спросил «марсианин». — Помню, мы сами удивлялись, что все трое — из одного кружка юных космонавтов...

— Кружок-то у вас был, честно говоря, не лучше и не хуже других. Стандарт. Писать не о чем. А надо ведь. Я и стал придумывать всякие фокусы.

— Так уж и фокусы! Те упражнения, что вы предложили, сейчас повсюду используются. И с приборами вы хорошо придумали... Но я уже повернулся к Мише-кибернетик:

— Помнишь, Миша, барнаульский ресторан? Какой у вас там был мускат! Нет, правильно я сделал, что командировку продлил. А оправдаться чем-то надо было. Вот мне и пригодился повар-

изобретатель. Как говорится, не отходя от кассы. Помнишь, что ты там мудрил с цыплятами табака?

— Так вот в чем дело? — расхохотался Миша. — А мне после твоей статьи Крюков из комитета по изобретениям написал. И пошло дело, завертелось. Сам не заметил, как готовить разучился. До сих пор не успел опомниться!

Мне хотелось отомстить за свою бездарность, рассказать, какие случайности привели сюда — через театры и лаборатории — каждого из моих гостей. Случайности, представителем которых был я. И я вспоминал, как Валерку, ныне художника, меня просили отвлечь от несчастной любви, как я на пари написал статью о самом неприметном из сотрудников заготконторы — воспользовался его любовью к шахматной композиции (мастер спорта покивал мне головой), как...

Они слушали и смеялись. Да, все это были случайности. А за ними стояла — строго по Гегелю — необходимость. И я замолчал. Принесли мороженое. Общий разговор разбился. Я снова остался один. И аппарат — тоже. Все желающие уже измерили свой талант. Даже ассистенты потерялись в толпе — разумеется, где-то около Иры Панченко.

Секунда — и я был уже в той нише. Мягко защелкнулись контакты.

— Зачем же вы сами?! — укоризненно выкрикнул спохватившийся Миша и замер с открытым ртом.

— Я говорил, что она сломана, — торжествующе провозгласил в наступившем молчании писатель. — Девяносто четыре! Вы хотите, чтобы мы поверили, будто он великий журналист? Три ха-ха!

Но кибернетик был серьезен как никогда.

— Почему же журналист? Аппарат ведь не определяет вид призвания. И профессию тоже. Судя по всему этому, — он обвел рукой зал, — испытуемый — великий искатель талантов.

— Также мне талант! — сказал я насмешливо.

Но что я чувствовал...



Борис Зубков,  
Евгений Муслин

## БАШНЯ

### Рассказ



1

**К**огда треснула земля и восемьдесят миль труб, шахт, реакторов и лабораторных коридоров Пайн-Блиффа поглотила пропасть, мисс Брит еще была жива. В тот момент она думала о дочери. Она пыталась вспомнить запах ее волос, почувствовать прикосновение ее маленьких рук, увидеть ее улыбку, услышать звонкий смех. Но видела она только плотные глянцевые листы бумаги с изображением бело-желтого черепа, в пустых глазницах которого светились зеленоватым мерцанием два бронзовых жука. Все это она видела и чувствовала, когда пятисотфунтовая железобетонная балка треснула, выскочила из покосившейся стены, сломала спинку кровати и упала ей на голову. Карен Брит перестала существовать. Но то, что она задумала, свершилось.

2

— Мне кажется, дорогая Карен, я нашел для тебя удивительно интересную проблему. Крепкий орешек! Вернее, целый стручок неразрешимых задач. Разнимаешь стручок на две половинки, и вот они, зеленые горошины проблем. Такие кругленькие, лакомые проблемки! Пища для твоей умненькой головки!

Лэквуд был в ударе и веселился. Карен радовало, что он рядом и не меланхоличен, как обычно.

— Положить тебе заренья, милый! Это простая айва, но я знаю

маленький секрет, в нее обязательно надо добавлять немножко лимонной кислоты. Мне дала рецепт миссис Фаулер...

— В твоих ручках, дорогая, даже дистиллированная вода превращается в небесный напиток...

Он говорит иногда удивительно банально. Или она просто придирается к нему? Ведь и ее сообщение о рецепте миссис Фаулер не ослепляет оригинальностью. Да, она просто придирается.

— Так все же об этой удивительной проблеме, Карен. Мы истратили терпения на миллион долларов, а надежда решить проблему так мала, что ее приходится разглядывать через электронный микроскоп. Представь себе огромный реактор, башню в шестьдесят футов высоты, вокруг которой мы суедемся каждый день, как толпа ухажеров вокруг богатой невесты. Если бы ты видела эту проклятую башню! Самое главное, что в любой момент она может разлететься в клочья.

— И ты так спокойно говоришь об этом мне!

— Ничего не поделаешь, Карен. Химия! Я выбрал эту особу, зная ее коварство. Один мой приятель, тоже химик, умер во время обеда. Он с большим аппетитом лакомился цыпленком по-венски. Но,—увы! — плохо вымыл руки. Башня, начиненная сюрпризами, или недостаточно чистые руки — не все ли равно? Кому не повезет, тот и в рисовой каше сломает палец. Но ты можешь нам помочь! Окажешь огромную услугу всем нам и лично мне.

— Удивительно! Фрэнк, я не имею никакого отношения к химическим заводам.

— Я тоже так думал, пока не увидел твою диссертацию. Признаться, я читал ее только потому, что она твоя. «Теория и структурные особенности магнитного поля эритроцитов»... Я правильно сказал?

— У тебя отличная память, Фрэнк, но если ты не попробуешь варенья, я обижусь.

— Увы, дорогая, отличная память для исследователя — это только невод, набитый старыми водорослями. А жемчужные раковины поднимают со дна моря другие. Ты, Карен, способна вывернуть наизнанку даже самые тривиальные идеи.

— Может быть, откроем общество взаимного восхваления?

— Быть пайщиком фирмы под названием «Великолепные идеи мисс Брит» не так уж плохо. Ты даже не представляешь, какое значение имеет твоя диссертация для всей нашей работы.

— И правда, не представляю. Наверное, потому, что среди моих знакомых нет башни высотой в шестьдесят футов.

— Пойми, Карен, это очень серьезно. У нас и в самом деле ничего не получается. Внутри башни царит хаос. Хаос! Он возни-

кает уже через три минуты после начала работы реактора. Реакция выходит из-под контроля, и весь процесс приходится гасить в аварийном порядке. Мы все превратились в ненормальных пожарников, которые поджигают собственное пожарное дело, чтобы тут же приняться его тушить. С ума можно сойти! И вдруг я читаю твою работу — ты определила, почему миллионы красных кровяных шариков никогда не сталкиваются друг с другом! Восхитительно! Мириады эритроцитов в одном кубическом сантиметре — и никакой толчеи! Это же то, что нам надо! О, бог мой! Да если бы капли внутри нашей башни не слипались в огромные грозди, а двигались так, как твои эритроциты! Это было бы просто счастье! Ты, сама этого не понимая, открываешь новый принцип управления реакцией!..

О чем еще они говорили в тот вечер? Не все ли равно. Главное, что Лэквуд ей нравился. Он рассказывал ей анекдоты, она тоже шутила, иронически подсмеиваясь над собой и Лэквудом, старалась отгородиться от лишних, как ей думалось, чувств стеной юмора.

Но любовь древняя, как океан, побеждала юмор.

— Я уверен, — сказал, прощаясь, Лэквуд, — тебе будет хорошо в Пайн-Блиффе. Если ты сумеешь наладить процесс, фирма прольет над тобой золотой дождь. Ты соберешь золото в свой зонтик, и мы сможем жить припеваючи до конца дней своих.

Он сказал «мы»! Он сказал «мы»! Это значит — вместе навсегда! Куда же девался твой юмор, Карен? В какую банку с вареньем ты его запрятала?

### 3

— Поговори о дьяволе, и он тут как тут, — процедил сквозь зубы лаборант.

Уже второй месяц мисс Брит работала в Пайн-Блиффе. Слова лаборанта относились к руководителю группы «Д». Фактически всю работу группы направляла Карен, она была генератором идей и главным исполнителем. Но связь со службой снабжения и почти недостижимым директоратом шла через шефа группы. Карен сразу поняла, что шеф не разбирается в биохимии, но все же побандалась его. Она прекрасно понимала, что главная задача назойливой суеты этого худого, как грабли, мужчины — не допускать утечки ценной информации за стены Пайн-Блиффа.

— Кто не умеет молчать, — часто повторял мистер Грабли, — тот не делает ничего великого!



При этих словах его лицо вытягивалось и каменело. Мистером Грабли шефа окрестил лаборант.

— Мисс Брит, рад вас видеть! — отлично натянутая кожа на лице Грабли попыталась съжаться в улыбку. — Я принес вам кучу благодарностей и крохотную просьбу. Впрочем, хотелось бы придать нашей просьбе характер некоторой значимости и вместе с тем... интимности. Мне кажется, что лучше всего нам потолковать атроем, вместе с одним... Э... человеком.

В кабинете шефа их ждал Лэквуд. Это неприятно покорибило Карен. До сих пор их отношения были тайной для окружающих. И вдруг Фрэнк здесь, согласился участвовать в этом, как выразился Грабли, интимном разговоре. Выглядит, как маленькое предательство. Карен вздохнула и присела в кресло, сплетенное из стеклянных нитей. Мужчины медлили начать разговор.

Фирма, которой теперь, по настоянию Фрэнка, отдавала все свои усилия мисс Бритт, организовалась недавно. Лакированные обложки своих проспектов и каталогов она украсила стилизованным изображением черепа с двумя бронзовыми жуками в пустых глазницах. Такой несколько мистический товарный знак имел своим назначением сообщать *urbi et orbi* — городу и миру, что фирма намеревается выпускать на благо человечества инсектициды и зооциды — химические средства борьбы с вредными насекомыми и грызунами.

Когда вас пропускали за ограду Пайн-Блиффа, вам сразу же бросалось в глаза сооружение в виде белоснежного абсолютно правильного куба, каждая грань которого простиралась в длину по крайней мере на семьдесят футов. Ослепительно сияющее под лучами южного солнца здание без единого окна сразу же наводило на мысль о таинственной и колоссальной научной аппаратуре, упрямой внутри куба. Когда же служащий фирмы объяснял вам, не очень, впрочем-то, охотно, что гигантский куб — это всего-навсего бункер, в котором хранится запас кормов для лабораторных животных, священный трепет перед тайнами науки сменялся еще более священным трепетом перед деловым размахом фирмы.

Что касается Карен, то она имела большее, чем кто-либо, основание гордиться своей работой. Лэквуд не обманул ее. Подписывая контракт, она увидела цифры, которые внушили ей уважение к самой себе. Правда, многообещающие нули должны были переключать со страниц контракта на ее текущий счет только в случае успешного завершения ее эксперимента. Правда и то, что сумма ежемесячного вознаграждения выглядела довольно скромно. Впрочем, Карен впервые в жизни предложили солидную работу. И ее

радовали все возрастающая нежность и трогательное внимание Фрэнка.

День, когда Карен первый раз пришла в лабораторию группы «Д», они отпраздновали вместе, пустили благоразумие на ветер и поплыли на корабле, уносимом в счастливое и тревожное плавание.

Лаборатория требовала наивысшего напряжения интеллектуальных и физических сил. Фирма не считала, что слишком много поваров могут испортить бульон. Напротив, Карен поставили в известность, что над решением проблемы управления реактором работает еще несколько групп. Более того, каждый шаг вперед повторял неизвестный ей экспериментатор, каждая мысль проверялась дважды и трижды за стенами ее лаборатории. Ежедневно и ежечасно шло соревнование с незримым соперником, схватка с призраком. Все это подстегивало Карен, но отнюдь не уменьшало ее уверенности в успехе. Она обладала редким даром заставлять людей радоваться чужим удачам и теперь в группе «Д» не знали «чужих» успехов, любая удача принадлежала всем, и в первую очередь дорогой и уважаемой мисс Брит.

— Арчи,— говорила Карен, входя утром в лабораторию,— я видела твою новую шляпу. И тебя вместе с ней. Если бы иллюстрированный журнал поместил вас обоих на обложке, девушки всего побережья прислали бы редактору письма, требуя твой адрес. Рон, почему ты грустишь? Твой отец выздоровеет. Я говорила с доктором Футом из отдела медицинского обслуживания. Он обещал достать чудодейственное лекарство. Все будет отлично, Рон!

И молодые лаборанты готовы были следовать за Карен в огонь и воду.

— А теперь, мальчики, займемся нашим Могучим Младенцем...

Могучий Младенец уже ждал их. Он стоял посредине лаборатории на подставке из букового дерева и каучука. Две недели монтажники пробивали пневматическими молотками междуэтажные перекрытия, и теперь подставка опиралась на мощную колонну, уходящую в землю на пятнадцать футов. На специально приспособленном грузовом лифте доставили свинцовый колпак, облитый медью, чтобы предохранить Младенца от возможных излучений и радиоволн. Могучий Младенец требовал абсолютного покоя и строгой изоляции. Внутри него циркулировала кровь. Несколько унций настоящей человеческой крови. Она сочилась сквозь перегородки из микропористого тефлона и магнитные фильтры, насыщалась кислородом и очищалась от невидимых примесей. Ее подогревали и непрерывно анализировали, подталкивали вперед насосами из

нежнейшей резины, которую заставляли ритмично пульсировать металлические пальцы, бегущие по гуттаперчевым трубкам, как пальцы пианиста по клавишам инструмента.

Но вся эта овегществленная симфония из семи тысяч кварцевых, резиновых, танталовых, медных и тефлоновых деталей была только прелюдией к основному, к тому главному, ради чего построили Могучего Младенца. Струйка крови проходила сквозь узкий кварцевый цилиндр. Здесь ее подстерегали пять миллионов электродов — металлических нитей, каждая тоньше миллионной доли миллиметра. И каждая нить отыскивала в красном потоке только один эритроцит. Металлический волос, по сравнению с которым усик муравья выглядел бы телеграфным столбом, улавливая электромагнитное поле одного-единственного эритроцита. Пять миллионов электродов, пять миллионов похожих и непохожих друг на друга электрических импульсов, разных, как узоры калейдоскопа. Импульсы направляли в усилители, они в тысячи и тысячи раз умножали мощь Младенца, увеличивали электромагнитные поля красных кровяных телец до ощутимых, производственных размеров, и эти мощные дубликаты полей управляли всеми процессами в гигантской башне реактора. Причудливый, неповторимый и, главное, надежно выверенный за миллионы лет эволюции внутренний механизм кровяного потока дублировался в реакторе, гарантируя бесперебойную его работу. Так в идеале виделся Карен итог работы группы «Д».

А сейчас ее привел к себе мистер Грабли, она сидела в кресле из стеклянных нитей и ждала, когда шеф заговорит. Но первым начал Лэквуд.

— Карен, — Лэквуд коснулся ее руки, — ты на грани большого успеха. Фирма настолько уверена в блистательном завершении твоих опытов, что приступила к строительству новых реакторов. Контракты и сроки, сроки и контракты! Все реакторы намечено управлять аппаратами типа «Могучий Младенец». Но есть и огорчительные новости. Другим лабораториям не удается наладить работу своих Младенцев.

— Между тем они в точности копируют вашу схему, — вступил в разговор Грабли.

— Да, Карен, копируют в точности и получают нулевые результаты.

— Я хотела бы посмотреть на их аппараты.

— Это совершенно излишне, — проскрипел Грабли.

— Почему?

— Нас не устраивают кустарные сооружения, которые действуют только в присутствии их создателя. Нам нужна стандартная

аппаратура, с которой сможет работать любой. Нам не нужны фокусники и фокусы.

— Но, кажется, причина неудачи найдена?

Своим полувопросом Фрэнк поспешил загладить резкость Грабли.

— Ваша кровь, мисс Брит! — выпалил Грабли. — Вот в чем причина!

— Моя кровь?

— Чья кровь циркулирует в вашем Могучем Младенце? Вашей! Не так ли? Вы знали, что Могучему Младенцу необходим постоянный состав крови. Иначе все рухнет. Его нельзя перестраивать каждый день или каждый час в зависимости от того, кровью какого донора он будет заряжаться. Стабильность состава крови — главное. Вы знали это и каждый день брали у себя несколько унций крови. Вы мать Младенца, и в его жилах течет материнская кровь. Он не терпит другой. Каждому свое! Нельзя надеть на грузовик колесо от детского велосипеда. Конфигурация электрических полей эритроцитов зависит от стереоизомеров некоторых сложных соединений. Эти стереоизомеры уникальны. У каждого человека они свои, неповторимые. К таким выводам пришли наши биологи, и теперь нам нужна ваша кровь, мисс Брит.

— В разумных и безопасных для здоровья пределах, — вставил Лэквуд.

Как сухо он произнес эти слова.

— Разумеется, в абсолютно безопасных пределах. Ваше здоровье — капитал фирмы...

Карен вспомнила все: круглые цифры контракта, желание Лэквуда приобрести домик за Красными озерами, и то, что ей уже тридцать два года, а Могучий Младенец — драгоценный шанс решить все жизненные проблемы одним ударом. Ей не оставили времени на обдумывание, ее торопили. Почти машинально она согласилась.

#### 4

С того дня ее каждое утро ждали в отделе медицинского обслуживания. Кресло на шарнирах, штатив, с которого свисали дрожащие стеклянные трубки, шланг с иглой — жало стеклянного паука. Жало вонзалось в руку, и свернутый жгутом пластиковый мешочек разворачивался, разбухал, наливаясь ее кровью. Очень удобный мешочек, удобнее обычной ампулы, из него легко выжать лишний воздух или порцию

содержимого. Но мешочек прикрывали плотной белоснежной салфеткой, и Карен не могла точно определить, сколько крови у нее брали. Пять унций? Шесть, семь? Карен пыталась прикинуть на глаз диаметр шланга и скорость движения по нему струйки крови, но из ее расчетов почти ничего не получалось. Спрашивать она не пыталась. Если шеф сказал, что в Пайн-Блиффе соорудили еще несколько Могучих Младенцев, значит, так оно и есть. Она их мать, и она должна питать их частицей своей плоти. В разумных и безопасных пределах. Так получилось. Она должна. Ей хотелось крикнуть в лицо надвигающейся беде: «Не надо! Не хочу!»

Но беда не имела лица, она надвигалась вкрадчиво, темная и бесформенная.

И каждое утро после визита в отдел медицинского обслуживания Карен шла в свою лабораторию. Голова сладко кружилась, у нее не было сил обратиться, как прежде, к своим мальчикам с шуткой и приветом. Как сквозь сон слышала слова Рона. Тот говорил, что отцу его лучше и он благодарит мисс Брит. Но Карен это было почти безразлично, ее отделяла от людей серая завеса тоски. Потом слабость отступала, лихорадочный ритм работы оживлял и подстегивал. Однако с каждым днем становилось все труднее втягиваться в этот ритм, как будто нужно вскочить в поезд на ходу, мелькают подножки, и нет сил оторвать ноги от земли, прыгнуть и вцепиться в поручни.

Конечно, можно перенастроить Могучего Младенца на другую кровь, на любую. Но это потребует много времени. Слишком много. Практически пришлось бы начать с нуля. Новые расчеты конфигурации электрических полей, новые системы электродов, новое распределение их внутри аппарата. Пять миллионов электродов — это возможность пяти миллионов ошибок, это ювелирный эксперимент, повторенный пять миллионов раз. Если хотя бы один электрод не займет точно рассчитанного места, сдвинется в сторону на тысячную долю микрона, все пойдет прахом.

Только теперь Карен осознала, какую колоссальную, виртуозную, почти неповторимую работу она сумела выполнить. Вдохновляемая любовью к Фрэнку и острой новизной проблемы, она сумела сделать все на одном дыхании, залпом. Второе дыхание не наступит, неоткуда его взять. И Фрэнк уже не тот, что был.

Ей не удастся перестроить Могучего Младенца. Правда, есть надежда, что это сделают другие. Если чудо или случай помогут им и ей. Все, что она может, — это довести Могучего Младенца до совершенства, до безотказной работы, требующей каждый день порцию ее крови. Да, перестроить Младенца не удастся.

Но есть и другой выход.

Она все же избавится от ежедневных визитов в отдел медицинского обслуживания. Она заставит Младенца утолять свою жажду другой кровью, другого донора или многих доноров. Разве ее кровь так уникальна и неповторима? Ничего подобного. Можно найти донора, у которого эритроциты содержат именно тот стереоизомер, что нужен Могучему Младенцу.

А честно ли это?

Она привяжет к Младенцу другого человека... Подло, грязно!..

Но если найдется второй человек с нужным стереоизомером, значит, найдется и третий, и шестой, и пятидесятый. Пятьдесят разложат ношу, которую она тащит одна. Так справедливо, вполне справедливо. Она не сможет ни в чем упрекнуть себя, и фирма будет довольна. Надо только найти таких доноров. Шеф не посмеет отказать ей в помощи...

— Вполне разумно, мисс Брит, абсолютно разумно, — сказал мистер Грабли. — Но, видите ли, медики до сих пор не интересовались стереоизомерией соединений, входящих в состав эритроцитов. Не доходили руки. Мы не знаем, сколько доноров придется перебрать, чтобы найти именно этот стереоизомер. Сколько? Тысячу или миллиард?

— Я тоже не знаю. Попробуйте связаться с Национальным центром переливания крови. Они дадут пробы крови любого количества доноров. У них есть картотека резервных доноров...

— Национальный центр не занимается благотворительностью. Вызов доноров, их обследование, взятие проб, укупорка, транспортировка... Кропотливое и трудное дело. Речь идет не о сотне образцов пуговиц, а о тысячах, может быть, миллионах доз крови. Один бутерброд с сыром может приготовить даже однорукий сумасшедший, приготовить миллион бутербродов — для этого надо нанять инженеров и вооружиться машинами. *Ex nihilo nihil* — из ничего ничего не получается, мисс Брит. Нескончаемые затраты! Ради чего?

— Ради сохранения моего здоровья. Когда сегодня утром у меня брали кровь, я заметила — она желтоватого цвета. Так бывает при крайнем истощении...

Мистер Грабли поежился, и лицо его, обычно белое, как капустный лист, покраснело.

— Мы страдаем во имя науки, мисс Брит, во имя науки! Но, разумеется, я не протестую против анализов ряда проб крови, я просто рассуждал вслух, не более. Я доложу директорату в самой благоприятной для вас форме...

Он успокоительно журчал еще минут двадцать.

Заверения мистера Грабли неожиданно для Карен приобрели осязаемую форму. В лаборатории группы «Д» стали поступать сотни крохотных ампул, заключающих в себе пробы крови и надежду. Могучий Младенец тем временем обрстал новыми деталями и приборами, словно выбивался в самостоятельный организм, и все меньше нуждался в услугах той, которая его породила. Теперь вокруг Младенца суетились, сидели на высоких табуретах или лежали на пенопластовых матрацах незнакомые Карен сотрудники. Она и Рон были рады, что их невольно или преднамеренно отстранили от Младенца. Они могли, не отвлекаясь больше ничем, искать проклятый и желанный, ненавистный и благословенный стереоизомер.

Каждую пробу крови они облучали поляризованным светом, надеясь, что световой луч разрушит именно тот, необходимый им стереоизомер. Потом анализировали продукты распада, производя над каждой пробой девятнадцать кропотливых и затяжных операций. Тысячи анализов, тысячи звеньев нескончаемой цепи проб, облучений, фильтраций, возгонок...

Каждое утро она по-прежнему наносит полувынужденный, полудобровольный визит в отдел медицинского обслуживания.

Сегодня, как и вчера, как и позавчера, Карен выходит из лифта и делает два шага к дверям лаборатории «Д». Двери распахиваются сами, автоматика в Пайн-Блиффе заслуживает самых высоких похвал. В дверях стоит Рон. Он улыбается... Неужели?

— Мы нашли, мисс Брит! Да, да, не сомневайтесь, мы нашли...

На ладони протянутой руки лежит крохотная ампула с отломанным кончиком. На ампуле черные четкие цифры, номер донора, а для нее — номер счастливого билета. Рука Рона дрожит, он волнуется за нее, милый мальчик.

— Не сомневайтесь, мисс Брит, не сомневайтесь... — вот и все, что он в силах выговорить.

Карен бросается к поляриметру — она сделает анализ сама, своими глазами увидит победу или... очередное поражение. Нет, сомнений нет! Рон не ошибся. В ампуле № А-17001 находится кровь с необходимым стереоизомером. Донор № А-17001 сможет принять на себя часть тяжелой ноши, которую она несла в горьком одиночестве. Конечно, если донор захочет это сделать. Впрочем, и это уже не так важно. Если они нашли стереоизомер хотя бы один раз, значит они найдут его еще десять или двадцать раз. Находка — не чудо, самые чудесные находки подчиняются законам математической статистики...

По дороге домой Карен встретила Лэквуда. Каштановая аллея сочилась сыростью после недавно прошедшего ливня. Фрэнк стоял посередине дорожки, и похоже было на то, что он находился здесь и во время дождя. Его светло-зеленый плащ потемнел от влаги, брюки облепили колени, мокрая одежда сковала тело, Фрэнк стоял неподвижно. Карен, погруженная в свои думы, почти наткнулась на него, и только тогда они увидели друг друга.

— Как дела, Карен? — глухо спросил Фрэнк, и слова прозвучали не вопросом, требующим ответа, а набором безжизненных звуков.

— Отлично, дорогой. Мы давно не виделись, но я не виню тебя. Вероятно, виновата я сама. Теперь, я уверена, все пойдет по-другому...

— Я видел Рона, — перебил ее Фрэнк. Он все еще прислушивался только к своим мыслям.

— Значит, Рон уже все рассказал? Так почему же ты так угрюм, Фрэнк? Разве тебя не радует наша находка? Сейчас я очень слаба, но теперь все позади. Витамины, небольшой отдых, силы восстанавливаются. Все отлично!

— Еще до встречи с Роном я знал, что вы найдете стереоизомер. Именно сегодня найдете. Ампула № А-17001? Не так ли?

— Тебе сказал Рон?

— Пойми, я знал этот номер еще вчера. Нет, позавчера. Позавчера вечером я узнал номер ампулы.

— Объясни, Фрэнк.

— Ты была счастлива сегодня?

— Да.

— Целый день счастья. Это все, что я мог тебе подарить.

— Мне всегда было хорошо с тобой.

— Знаю. Именно поэтому я подумал, что лучше будет, если ты узнаешь все от меня.

— Я слишком устала, Фрэнк. Не могу разгадывать твои загадки.

— Ты не знаешь, чья кровь была в ампуле?

— Донора из Национального центра переливания крови.

— Твоей дочери... Не смотри на меня так, Карен! Они все равно сказали бы...

Дочь... Она скрывала от Фрэнка, что у нее дочь. Внебрачный ребенок. Фрэнк докопался до ее тайны. Зачем? Ревность или глупость? Она сама открылась бы ему. Не в том сейчас дело. О каких пустяках она думает... В ампуле — кровь дочери... Где взять силы перед новым испытанием?

— Ты хочешь, чтобы я заплакала? Неродяй!



Фрэнк отпрянул от нее, затем упал на колени и нелепо задвигал руками, словно искал что-то на гравии дорожки.

— Убей меня, Карен!..

В мокром зеленом плаще, ползающий у ее ног, Лэквуд показался Карен похожим на ящерицу...

«Ящерица, ящерица, высунь свой хвост, я смажу его патокой, туча прилипнет к хвосту, дождь перестанет...» Наивное детское заклинание. Сколько раз она повторяла его радостной скороговоркой, прыгая на одной ноге по лужам, подставляя лицо серебристым нитям летнего ливня.

Далекое, какое далекое детство! А сейчас прыгает под дождем ее малышка... «Ящерица, ящерица, высунь свой хвост...»

— Зачем тебе моя дочь?!

Карен показалось, что она выкрикнула эти слова так громко, как только могла, но на самом деле легкий шорох капель, осыпающихся с листьев каштана, почти заглушил ее шепот.

Фрэнк закрыл лицо руками.

— Я ревновал...

Жалкое оправдание. Ревнивый глупец? Нет, трусливый предатель. Если бы предательством можно было топить, уголь предлагали бы даром...

— Ты трус!

— Пойми, Карен: ты ничего не хочешь, ничего не видишь, ты, как слепая, уткнулась в свои приборы...

Что он бормочет? Предал и оправдывается. Узнал о ее ребенке и, подавленный хроническим страхом перед шефом, проговорился. Кому-то из них пришла в голову чудовищная мысль отправить в лабораторию «Д» кровь дочери.

— Где моя дочь?! Молчишь? Я пойду к адвокату, мы поднимем на ноги всю полицию!..

— Карен, ты ничего не добьешься. Я же говорю тебе — ты слепая! Здесь слишком крупная игра, слишком все серьезно. О, боже! Почему именно я должен говорить это? В Пайн-Блиффе делают газ «щекотун». Так его называли газетчики, неужели ты не знаешь, не слышала? И его делают здесь. В башне, которой управляет Могучий Младенец.

Ящерица... Она наступит на него ногой!

Нет, он отбросит хвост и выскользнет из-под ноги.

Какая-то жаркая волна заливаает ее, подступает к самому сердцу, руки бессильно опускаются, сердце обрывается и падает, падает...

По небу скользит зеленое облако. Теплый ветер гонит его вниз на землю, отрывает от него огромные пушистые клочья, и клочья превращаются в деревья. Пухлое облачко зелени на тонкой коричневой ножке. Это деревце они только что посадили. Они — Карен и дочь. На ферме дяди Норриса, где ее ребенок нашел приют шесть лет назад. Из маленькой лейки, что держит ребенок, серебристым пауком выбрызгиваются струйки, ослепительная радуга играет в каплях. Яркие лучи впиваются в глаза, хотя глаза закрыты. Когда жгущий свет становится невыносим, Карен открывает глаза.

Она лежит почти на полу в круглой комнате. Голубые стены смыкаются колодезцем вокруг широкой и очень низкой кровати. Такие комнаты и кровати она уже видела в отделе медицинского обслуживания Пайн-Блиффа. В комнате нет окон, но ярко горит лампа. Почти прожектор бьет в глаза. Карен отворачивается, и тут же где-то за стеной звенит звонок. Пайн-Блифф через край набит автоматикой. Автоматикой, цепкой, как сторожевая собака, и быстрой, как укус змеи. Сейчас автоматы отозвались на поворот головы. Теперь войдут люди. Фрэнк или Грабли, или просто сестра.

Но никто не отозвался на звонок.

Что это значит? Ее забыли? Какая нелепость! Ведь Могучий Младенец каждый день требует от нее порцию теплого красного сока. Сок жизни — кровь. Кто назвал ее так? Гарвей или... Мефистофель? Не все ли равно. Почему никто не приходит? Могучий Младенец не может существовать без нее... Пусть приходят, но она должна их встретить не лежа, а стоя на ногах, выпрямившись во весь рост...

В голубую дверь вделана полоска зеркального стекла. Она видит себя: бескровные слизистые губы, бледное лицо... даже не бледное, а пожелтевшее, как желтеет от времени скверный пластик. Странное лицо, худое и одутловатое, словно налитое местами тяжелой жидкостью. Сохрани хладнокровие, Карен, и поставь сама себе диагноз: анемия — губительное малокровие. Так это называется, если ты еще не забыла все, что знала. Разве такая ты нужна Фрэнку? А дочери? Ей ты нужна всегда. Ампула № А-17001. Сколько таких ампул они сделали? Пять, десять?.. А если — тысячу? Слабость и отчаяние валят ее с ног. Она опускается на постель и... все.

...Время не привязано к столбу, как лодка к пристани, оно плывет, и вместе с ним тяжело плывут мысли. Уже вторые — или третьи? — сутки у нее не берут кровь. Значит, Могучий Младенец су-

существует за счет другого донора. Почему она раньше не подумала о том, что уникальный стереоизомер следует искать в крови ее родственников? Но у нее остался только один родной ей человек — дочь. Сейчас они поставили перед ней задачу: догадайся, за счет кого существует и работает без тебя Могучий Младенец? Догадайся и покорись. Они уверены, что ее ум исследователя быстро решит эту крошечную проблему. Те, кто придумал кошмарный заговор, думают обойтись без бурных сцен и мучительных споров. Догадайся сама и реши. Какая гуманность! Фрэнк тоже был очень добр. Как он сказал: я дал тебе день счастья... У всякой собаки есть свой день радости. Взрыв гнева почти лишает ее сознания... Нет, Карен, сейчас только твоя покорность может спасти дочь. Карен разрывает рукав блузки и, обнажив до плеча руку, кладет ее поверх одеяла. За ней, конечно, наблюдают и этот немой знак покорной готовности быстро и верно поймут.

Действительно, почти сразу открывается дверь и входит санитар из отдела медицинского обслуживания. Он толкает перед собой штатив, который бесшумно скользит на четырех резиновых роликах и подъезжает к ее постели.

Пока у нее берут кровь, Карен смотрит на ролики. Они прилажены тщательно, оси прикрыты никелированными колпачками, резина роликов рифленая, втулки на осях толстые и тяжелые, поэтому штатив стоит прочно, солидно, умно. Что ж, хоть сегодня этот штатив не возили туда, где лежит ее дочь. Облегчение проходит слишком быстро, и новая тяжесть свинцово ложится на ее душу. Что говорил Фрэнк о газе? Как он его назвал — «щекотун». Смешное название. Вспомни, Карен, проверь свою память, быть может, она еще пригодится...

Газеты писали, что «щекотун» в сотни раз более ядовит, чем любой другой отравляющий газ. Он убивает, разрушая холинэстеразу — вещество, участвующее в передаче нервного возбуждения в мускульную систему. Достаточно одной крохотной капли, попавшей на кожу... Тем, кто работает возле башни, выдали маленькие шприцы, обернутые прозрачной пленкой. В случае аварии следовало немедленно сделать инъекцию, немедленно, протыкая иглой одежду. Она случайно узнала, что в шприцах атропин... «Щекотун» вызывает резкое сокращение всех мускулов, а это значит — удушение жизненно важных органов. Действие атропина прямо противоположно действию «щекотуна». Когда человек задыхается в тисках собственных мускулов, атропин приходит на помощь и расслабляет мышцы. Все ясно, как в справочнике для домашнего врача. Что еще ты знаешь? Ах, да! Те, кто имеет дело с башней, после смены принимают три душа. Их защитные накидки каждый день сжигают,

Обычные меры предосторожности — думала она прежде. Обычные? Как бы не так! Скажи, Карен, на каком еще химическом заводе ты видела, чтобы людей ежедневно отмывали под тремя душами и чтобы каждый носил в специальном карманчике шприц с противоядием? Но она никогда не давала согласия участвовать в производстве смертоносных газов! Ее обманули, обманули дважды и трижды. Башня высотой в шестьдесят футов уже работает. Работает благодаря стараниям такой энергичной и такой талантливой мисс Брит, которая думала, что башня выпускает средство против вредных насекомых, и которой так хотелось купить домик за Красными озерами, чтобы жить там вместе с тоже энергичным, хотя и не таким талантливым мистером Лэквудом. Теперь мисс Брит погибает, и благодаря ее энергии и таланту когда-нибудь погибнут тысячи.

У каждого и каждой из этих тысяч будет дочь.

Или сын.

И каждая дочь или сын, когда льется дождь, прыгает на одной ноге и выкрикивает смешное заклинание: «Ящерица, ящерица, высушь свой хвост, туча прилипнет к хвосту, дождь перестанет». А небо разразится мутным дождем из бело-молочных капель, которые так удачно состряпала в башне мисс Брит, и детское заклинание оборвется на полуслове...

Она лежала неподвижно — берегла силы, уже зная, что вступает в неравную борьбу, где пригодятся даже самые ничтожные запасы сил, мужества, рассудка.

## 7

Карен готовилась сражаться в одиночку.

Все, кто мог ей помочь, остались за стенами Пайн-Блиффа. Адвокаты, конференции радикально настроенных ученых, антивоенные митинги, левые газеты, просто мыслящие люди и добряк Рон — все находились вне пределов досягаемости. Она была одна, наедине со своей совестью, разумом... и страхом. Разум требовал действий, страх пытался парализовать. Кроме того, она была тяжело больна, и болезнь прибавляла тоски. Когда-то психиатр Крихтон-Мюллер сказал: «Каждый больной болеет своей болезнью плюс страхом». Но и слабость может обернуться сильным оружием в умелых руках. Странная идея. Кто же сумеет страх обратить в оружие?

Карен теперь не считала дни, она мучительно и напряженно размышляла.

Она мысленно перелистывала страницы толстых монографий и несколько раз натыкалась на то, что ищет. Монографии утверждали, что множество вариаций и причудливые фазы душевных болезней — всего лишь хронический самогипноз. Она не станет бороться с приближающейся потерей рассудка. Наоборот! Она постарается загипнотизировать себя страхом, сумеет погрузиться в безумный бред, призовет на помощь искусно вызванные галлюцинации, добровольно расстанется с разумом. Вот главное! Вот ядро замысла, начало и конец мести! Ее безумие окажется губительным не только для нее, оно погубит и Могучего Младенца и проклятую башню. Башня кончит свое существование, взлетит на воздух...

...Нет, невинные не пострадают, основные лаборатории Пайн-Блиффа стоят в благоразумном удалении от башни. Около башни лишь небольшая вспомогательная лаборатория, которой командует Лэквуд. Те, кто работает у подножия башни, подобны Лэквуду, они участники человеконенавистнического заговора, шайка отравителей, которой Карен выносит приговор.

Взрыв башни нельзя спрятать в потайной сейф, его увидят и услышат жители соседнего шахтерского городка, примчатся журналисты, слухи и газеты разлетятся по всей стране, тайное станет явным. Если люди захотят — они должны захотеть, они не могут не захотеть, — они задумаются над всем, что связано с пайн-блиффским взрывом... Большого она сделать не в силах. И так все это слишком тяжело и громадно для нее.

Пока у человека есть разум, он должен бороться. Но кто и когда добровольно расставался с рассудком? Безумием победить врага?.. Какую нелепость ты задумала, Карен! Ты же ученый, Карен, разве в твоих книгах говорится о таком? Где? На какой странице? Ты уже безумна... Нет! Ты еще думаешь бороться! Блаженны нищие духом...

## 8

Мисс Брит, напишите руководство «Как стать безумной». Я в восторге от вашего предложения. Вам нужны лаборанты и оборудование? Благодарю вас, я постараюсь уместить лабораторию у себя в голове. Ваше желание — закон для нас, мисс Брит. С чего вы начнете? Я загипнотизирую себя страхом, он в избытке у меня под рукой. Приступайте, мисс Брит, желаем удачи...

Что привело ее в голубую комнату? Наверное, последний разговор с Фрэнком. Надо вспомнить его еще раз. Они стояли под

дождем, потом Фрэнк упал в лужу и ползал у ее ног... Серые струи ливня... Это ничего, хуже, когда с неба падают мутные белые капли. Такие, как в моей башне. Иди сюда, Фрэнк, ближе, ближе. Какая у тебя бугристая голова, ящерица. Ты пришел навестить меня, Фрэнк? У меня есть новые идеи! «Лапка лягушки дергается, если ее мышцы раздражать электрическим током»,— учебник биологии Мура и Лариссона. Полезно возвращаться к элементарным истинам. Проложите к башне бронзовые трубы с множеством кранов. К этим кранам нужно привязать живые мускулы с белыми оголенными нервами. Замечательная идея, Фрэнк! Простой выключатель управляет мышцами. Как приятно щекочет ток обнаженные нервы! Щелчок выключателя, и мускулы поворачивают кран. Поворот влево, поворот вправо — по трубам потечет молочно-белая жидкость. Как просто, дорогой, не правда ли? Куда ты упрятал мою дочь? Не смотри на меня, я не люблю теперь твоих глаз. Они чужие. Ты принес мне букет? Мы едем в церковь венчаться. Какую религию ты исповедуешь? Я не хотела бы быть женой католика, мои родители — протестанты. Разве это букет? Разве ты не видишь, что в руке у тебя, на тонких медных пружинках качаются глаза? Зачем ты принес такой букет? Ах, да! Ты тоже читал Мура и Лариссона. «Натренированный глаз различает пять тысяч оттенков красного цвета». Новая идея, мистер Лэхвауд! Ты прав, постарайся укрепить глаза на рычаге, делающем шесть оборотов в минуту. Глаза движутся вокруг прозрачного сосуда, они прикованы к нему и никогда не смыкают век, различают пять тысяч оттенков реагирующих жидкостей, им очень удобно, они любят качаться на пружинках... Сколько стоит глаз по каталогу фирмы? Иллюстрированный каталог слизистых оболочек, зрительных нервов и ушей. Не забудем про уши. Патентованные слизистые оболочки различают семь миллионов запахов... Сколько оттенков шороха различают уши? Отсоедините от башки Могучего Младенца, отпустите меня, пусть уши слушают шелест молекул и управляют башней. Ты сделаешь это для меня, Фрэнк? Как много ты принес ушей, где ты их нашел? Ты хорошо приладил провода к слуховым нервам? Это очень важно, чтобы был хороший контакт. А из этого уха ты забыл вынуть сережку; ничего не поделаешь, в Пайн-Блиффе все очень торопятся, сроки и контракты, сроки и контракты...

Все еще идет дождь. Свинцовый тяжелый дождь. Смотри, дорогой, дождь сорвал листья с каштанов и обнажил ветки. Коричневые обрубленные ветки. Словно кресты. К ним прикованы люди. Нет, это нейлоновые манекены. Браво, bravo, мистер Гравли, вы превосходно украсили Пайн-Блифф нейлоновыми скульптурами, они почти как живые. Но почему нейлоновые теребят цепи, которыми

они прикованы? Разве они живые? Лапка лягушки дергается, если ее раздражать электрическим током... Почему ты опять превращаешься в ящерицу? Ты не боишься, что к твоему хвосту прилипнет туча?

«Ящерица, ящерица, высунь свой хвост...» Если небо упадет, мы будем ловить жаворонков...

Карен добила того, чего хотела — разум покинул ее.

## 9

Когда треснула земля и восемьдесят миль труб, шахт, реакторов и лабораторных коридоров того, что в Пайн-Блиffe называли «башня», поглотила пропасть, мисс Брит еще была жива. В тот момент она пыталась припомнить что-то очень хорошее, хотя и давно прошедшее, но видела только лакированные обложки проспектов фирмы, где она имела высокую честь работать. Обложки были украшены изображением черепа с двумя бронзовыми жуками в пустых глазницах. Потом пятисотфунтовая железобетонная балка треснула, выскочила из покосившейся стены, сломала спинку кровати и упала ей на голову. Карен Брит перестала существовать, но то, что она задумала, свершилось. При сумасшествии меняется химический состав крови — в этом скрывалось ядро ее замысла, начало и конец мести. С отравителями колодцев Карен решила бороться их же оружием. Яд против яда! Обезумевший мозг вызвал перестройку химической жизни ее тела, и чуть новая по составу кровь оказалась смертоносно ядовитой для Могучего Младенца. В чутком механизме Младенца сфальшивили, быть может, только два или три электрода из пяти миллионов. Ничего не подозревающие автоматы усилили фальшивую ноту в миллиарды раз и нанесли тем самым удар кинжалом в систему регулировки. Башня взлетела на воздух...

Est modus in rebus — всему есть предел, любил повторять мистер Грабли, погибший при взрыве рядом с Лэквудом.



## РЕДКИЕ РУКОПИСИ

## Моя коллекция

Можно коллекционировать все: почтовые марки, монеты, сигаретные и спичечные коробки, открытки, цветы, картины. Один известный коллекционер собирал поющие раковины. Если вы не интересовались этим предметом, то должен заметить, что поют они разными голосами очень тихо, но при этом заглушают решительно все.

Особенно отчетливо поют они ночью. И из многих видов чистотой и верностью тона выделяются одни — маленькие прозрачные, голубовато-розовые раковины с островов Малукисского архипелага.

Порой раковины поют так пронзительно, что однажды коллекционер, о котором идет речь, вынужден был уйти из дому. Он настежь распахнул все окна, и птицы за птицей — журавли, аисты, лебеди-трубачи и лебеди-шипуньи, дикие гуси, орлы, бакланы — залетали в комнату и уносили в клюве по раковине.

Скоро стало совсем тихо. Это было весной нынешнего года, двадцать пятого апреля в шесть часов утра.

Другой коллекционер собирал несчастья; разумеется, погашенные, непригодные для практического применения.

Он их хранил в голубых альбомах, спрятанных в дубовых шкафах. Каждому году — один шкаф; но были годы, в одном шкафу не уместившиеся.

Коллекция скопилась большая, и шкафы стояли вдоль всех двенадцати стен трех комнат его квартиры, заслоня даже окна. Почему-то он никому не показывал своего собрания.

Может быть, потому, что ведь в комнатах с загороженными окнами было совсем темно?

И еще потому, что он чего-то опасался, хотя несчастья были, как указано выше, исключительно погашенные.

Моя коллекция по оригинальности не может сравниться с теми, о которых было здесь упомянуто; каждый выбирает дело



по вкусу да и по силам. Я собираю редкие рукописи. На разных языках, как мертвых — санскрит, этрусский язык, пирроуский, так и ныне употребительных.

Вначале я просто тщательно хранил рукописи, но постепенно пристратился к чтению этих манускриптов.

Прелюбопытные, странные, а иной раз почти фантастические сведения удастся вычитать там. Бывает, даже не верится: а возможно ли на свете такое?.. Впрочем, большинство мыслителей склоняются к тому, что на свете возможно все. Вспомним хотя бы происшествие, давно сделавшееся достоянием гласности, когда нос, покинув природное местоположение на лице коллежского ассессора Ковалева, пустился в самостоятельные странствования. Тут есть чему поразиться. И все же автор публикации твердо заключает: «Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете; редко, но бывают».

На первый раз я отобрал из коллекции две рукописи, касающиеся путешествий. Хосе Альварес достаточно известен образованному читателю и не нуждается в рекомендациях. Думается, что погрешности слога простительны капитану, впервые меняющему штурвал на перо. И они окунаются тем, что, как это им странно, об Иллюзиях нет других достоверных сведений.

Автор второй рукописи Вольфганг Парцелмус из Мюнхена, хранитель-наставник Музея восковых фигур. Описанное им путешествие в глубь времен любопытно, на наш взгляд, и тем, что совершенно оно не при помощи различного рода сложных машин и аппаратов вроде фотонных ракет, как известные читателю другие подобные путешествия, а в самой обыкновенной карете, запряженной тройкой обыкновенных коней.

Из этого можно умозаключить, что необыкновенное не всегда так уж далеко от нас.



## ИЛЛЮЗОНΙΑ, ИЛИ КОРОЛЕВСТВО КОЧЕК

[Первая рукопись]

Ч

1

естность старого моряка заставляет предупредить читателей: не ждите фантазий и занимательных происшествий! Много раз я умолял себя:

— Присочини, Хосе Альварес! Другим это не повредит, а тебе пойдет на пользу.

И пробовал украсить повествование, но язык немел.

Двадцать лет назад хозяйка-масонера таверны «Шестеро гусят» черноокая красавица донна Бланка, на руку которой, кроме меня, претендовал храбрый капитан Грасиенте, съеденный впоследствии устрицами, решила отдать свое сердце тому, кто опишет самое удивительное чудо природы, лично им наблюденное.

Дон Грасиенте рассказал о гигантском Морском Дикобразе, с которым корабль его столкнулся нос к носу в Индийском океане. На иглах этого любопытного создания были нанизаны киты, акулы и дельфины, а из пасти вырывалось пламя.

Рукопись эта попала в мои руки при обстоятельствах, которых я не буду касаться, поскольку они не имеют прямого отношения к сути дела. Она написана по-испански, несколько старомодным слогом и обнимает две сшитые вместе ученические тетрадки. Согласно воле автора, капитана Хосе Альвареса, я публикую его мемориал или «Морские записки», как он именуется свой труд, сократив лишь длины. Свои записки автор предваряет словами сэра Джошуа, Первого лорда Адмиралтейства: «Оставим сочинителям сочинительствовать, мы вправе увековечивать одну лишь правду, взвешенную, подобие золоту, с точностью до сотых долей унций».

Бьюсь об заклад на четыре бочки рома против дохлой каракатицы, я не усну ни на секунду пять суток,— прошептала прекрасная Бланка, выслушав капитана Грасиенте.

Когда наступил мой черед, я немногословно описал Императорского Морского Крокодила, встретившегося нам северо-восточнее Огненной Земли. На моих глазах зверь, как галету, перекусил голландского «купца» водоизмещением десять тысяч пятьсот регистровых тонн и проглотил обе половины, отрыгнув флаг с флагштоком, якоря и пожарные брандспойты.

— Кому же отдать предпочтение,— задумчиво молвила донна Бланка,—если Морской Дикобраз капитана Грасиенте и Императорский Крокодил капитана Альвареса удивительны и страшны в одинаковой мере.

Склонив голову, мы ждали решения судьбы.

— Пусть каждый из вас, храбрые капитаны,— сказала наконец Бланка,— пусть каждый припомнит длину, вы, милый Хосе, Императорского Крокодила, а вы, дорогой Грасиенте, Морского Дикобраза, запишет цифру на листке бумаги, а листок опустит в шляпу падре Пабло Томасо. Тому, чье чудовище по воле Провидения окажется длиннее, я вручу свою судьбу.

Мы мысленно воскресили зверюшек с тщательностью, диктуемой обстоятельствами, и измерили их от головы до хвоста.

Томасо одну за другой зачитал две цифры.

Длина Крокодила составляла сорок три морских мили, девяносто пять футов и три с четвертью дюйма.

Длина Морского Дикобраза также сорок три мили девяносто пять футов и, увы, три с половиной дюйма.

Четверть дюйма решили судьбу Альвареса.

...Нет, не следует ждать от меня забавных фантазий.

Итак, предупредив читателей, я приступаю к изложению сути предмета.

## 2

Сдав вахту старшему помощнику «Альбатроса», я опустился в каюту и уснул, не раздеваясь.

Проснулся в 7 часов 13 минут. Океан был спокоен. Еле заметно покачивались айсберги. Я лежал ничком на маленьком плотике. Вглядевшись, увидел знакомую надпись на белой табличке:

ХОСЕ АЛЬВАРЕС

капитан

Значит, волей судеб я дрейфовал на даери собственной каюты. «Если мне суждено именно сейчас прибыть для дальнейшего прохождения службы в Преисподнюю, я явлюсь туда, можно сказать, на своей визитной карточке», — подумал я и рассмеялся.

Не видно было ни людей, ни обломков корабля — вода и льды. Болела голова. Как и отчего корабль погрузился в пучину — остается тайной. Очевидно, в момент катастрофы я был брошен стихией на дверь и сразу потерял сознание. Меня окружало ледяное безмолвие; в дальнейшем к описаниям природы я буду прибегать только, когда это необходимо для понимания происходящего.

Одиночество не страшило Хосе Альвареса. Мне уже приходилось после кораблекрушения провести несколько месяцев в здешних местах, в районе Берега принцессы Марты.

Тогда колония пингвинов, приглядевшись к чужестранцу, охотно зачислила меня на довольствие. Сперва я выполнял отдельные поручения Президента колонии — образованного и доброжелательного пингвина, а впоследствии поступил нянькой в семью Президента.

Пингины носят птенцов, не сильно зажимая их лапами и передвигаясь короткими прыжками. Я освоил нехитрую систему и пользовался полным доверием хозяйки, сеньоры Президентши. Между прочим, почтенная матрона считала, что полы синего морского кителя — это крылья, плохо развившиеся вследствие тяжелой детской болезни, и очень сочувствовала мне.

У меня был в запасе табак, и я научил Президента курить. Долгие часы проводили мы за беседой, по-братски передавая друг другу ясеновую трубку.

...Метрах в десяти к западу на зеркальной глади океана выделялась бурая волнистая полоса с пенными краями. Я подгреб, пользуясь руками, как веслами. Поток подхватил плотик. Рядом светлело другое течение, синее.

«Меня несет к берегу», — сообразил я по многим признакам. — А синее течение направлено в открытый океан. Будь, что будет», — подумал я, вызывая в памяти образ несравненной Бланки,

### 3

Течение, поднырнув под ледяную стену, уходило в морское дно и вырывалось на свет посреди суши. Меня выбросило на болотистый мягкий берег. Рядом с пенным фонтаном, доставившим меня сюда, синело оваль-

ное, совершенно правильной формы озерцо с воронкой водоворота: это был Источник Ясности, как я узнал впоследствии.

Поднявшись на ноги, я пошел в глубь острова. При первых же шагах из-под ног брызнуло множество крошечных зеленых лягушек и бурых жаб. Сказать по правде, я обрадовался нечистым животным. Конечно, лягушка — не пингвин и не человек, однако ведь и в ней живая душа...

До горизонта протянулась равнина, поросшая жесткой серо-свинцовой травой. Между зарослями травы поблескивали лужи.

Шагах в ста путь преградила ограда из ржавой колючей проволоки.

«Тут есть мои братья! — подумал я. — Плотину может возвести и бобр, тоннель пророем и крот, многие птицы и звери сооружают строения из веток и глины, шелковую ткань ткот не хуже ткача насекомое, но только одни разумные существа создали с божьего благословения колючую проволоку, вместе со всем к ней причитающимся».

Перебравшись через ограду, я оглянулся. На дощечке, прибитой к столбику, было написано:

#### КУРТО ГУДРО РОБО

Я запомнил надпись и вскоре узнал ее значение: «За попытку проникнуть к Источнику Ясности — смертная казнь».

По-прежнему вокруг прыгали лягушки и бурые жабы. Вода в лужах была темная, густая, как кофе, и теплая. Над нею туманом стлался пар. В травяных зарослях то и дело попадались конические холмики, вроде больших муравейников.

Намереваясь передохнуть, я сел было на один из холмиков, но, к крайнему удивлению, он выскользнул из-под меня, подскочил и оказался человеком, во всяком случае — существом человекообразным, крайне худым, одетым как бы в стог из местной травы.

— Простите, дон! — сказал я на родном испанском языке. — Я не имел чести знать, что вы человек, и принял вас, как это ни странно, за кочку. Тысячи извинений!

— Эрто морано лесто к о ч к! — скрипучим голосом отозвалось странное существо и само перевало на испанский: — Я и есть к о ч к, а не человек. Вы имеете счастье находиться в Королевстве Кочек!

Как я узнал вскоре, у обитателей Иллюзии, в отличие от других христианских народов, слово кочка имеет не один, а два рода и три значения. Кочк — служит обозначением местных сеньоров, а кочка — одновременно обозначает сеньор и сеньорит, красу Королевства, а также применяется в обычном своем смысле,

Термины — человек, люди и производные от них — человечность, человеколюбие — применяются только, когда речь идет о чужестранцах, и считаются почти оскорбительными.

В руках у кочка была заржавелая алебарда.

Разговаривая, кочк подпрыгивал, размахивал руками и хихикал. Из-под травяной хламиды высовывались тощие волосатые ноги. Нечесанные седовато-черные космы спускались на плечи.

Рядом с первым кочком словно из-под земли вырос второй, помоложе. Он также был вооружен ржавой алебардой и всеми повадками напоминал старшего собрата.

— Ты попал в бедлам, бедный Хосе,— сказал я сам себе.

— Лангустерро ларко бар-бар-бар-бартепето орро,— подпрыгивая, лопотал молодой кочк.

— Не правда ли — наше Королевство пре-пре-пре-препрекраснейшее в мире? — перевел старший.

— Санчос?! — воскликнул я, узнав наконец старого друга, Санчоса Контрераса. Год назад, после небольшого столкновения с законом, он нанялся гарпунером на китобой и не вернулся из рейса.— Санчос! Мой добрый Санчос!

— Хосе!! Ты ли это?!

На единственном зрячем глазе Санчоса блеснула крупная слеза, и лицо показалось отчасти даже осмысленным.

Благотельная перемена продолжалась считанные секунды. Бросив косой взгляд на молодого кочка, Санчос снова задержался, подскочил на высоту метр двадцать — метр тридцать сантиметров, наклонился, обеими руками сгреб жаб и лягушек и, протягивая мне склизких гадин, забормотал, мешая местные и испанские слова:

— Наша страна бар-бар-бар-бартепето орро — пре-пре-пре-прекраснейшая в мире. Видишь ту-лауго-ту бар-бар-бартепето мусо — два миллиона двух пре-пре-прекраснейших лебедей и ту-лауго-кру бар-бар-бартепето прокко — два миллиона трех пре-пре-прекраснейших ланей?

На ладони правой руки несчастного Санчоса сидело два лупоглазых лягушонка, а на левой — три желтые отравительные жабы.

...Забегая вперед, приходится сказать несколько слов о местном наречии, хотя сей предмет больше приличествует протухшему чернилами лицензату, чем скромному моряку, которого при одном запахе книги пожирает антонов огонь. Ничего не поделаешь, «советую дышать жабрами, поскольку легкие здесь бесполезны», как говаривала неглупая камбала ехидне, брошенной в море с камнем на шее. Язык! Мне-то достаточно услышать три слова, чтобы определить, кто передо мной — человек или сухопутная крыса. На слу-

чай, если среди читателей отыщутся представители и второй разновидности, предупреждаю, что в понятие «сухопутная крыса» я, упаси бог, не вкладывал обидного смысла. Каждому свое: орел летает, а червь роется в дерьме.

Но к делу. Наречие иллюзонцев, как я вскоре узнал, отличается, во-первых, неслыханным обилием превосходных степеней. Язык испакский щедр, когда он превозносит сокровища души и тела, но что он по сравнению с речью иллюзонца! Там, где ты сказал бы «недурно», иллюзонец говорит бар-бар-бартокого, то есть пре-пре-превосходно. От изобилия этих «бар-бар-баров» и произошло другое наименование иллюзонцев, или кочек, — «барбар-барцы».

Вторая особенность наречия барбарбарцев, впрочем тесно связанная с первой, относится к именам числительным. Ко всем решительно числам барбарбарац непременно прибавляет два миллиона. Увидит одну птицу, а скажет — «два миллиона одна птица», получит два письма, а будет говорить — «мне пришло два миллиона два письма».

В остальном язык иллюзонцев прост, так что через несколько часов пребывания на острове я уже отлично понимал собеседников, лишь изредка заглядывая в словарь, подаренный достойным Санчосом.

#### 4

Тыфу, чуть было не написал «глава два миллиона четыре».

...В крайнем возбуждении кочки подпрыгивали все выше, так что молодой достигал отметки два метра десять сантиметров, а Санчос брал один метр семьдесят сантиметров; отличные спортивные результаты!

Подпрыгивая, кочки вопили все громче, стараясь перекрыть друг друга. Барбарбарцы вообще не говорят нормальным голосом, а орут подобно боцману, отдающему команду в двенадцатибалльный шторм.

— Бар-бар-бар-бартепето орро — пре-пре-пре-прекраснейшая страна, — гремел старина Санчос голосом, который легко заглушил бы тысячу пожарных сирен, только что покусанных бешеными собаками.

— Бар-бар-бар-бар-бартепето орро! — подобно стаду паванов, удирающих по девственной сельве от нашествия черных муравьев, ревел его молодой собрат,

— Бар-бар-бар-бар-бар-бартепето орро! — вопил Санчос, как вопят два миллиона одна тысяча буксиров в Лондонском порту, когда туман сгустился настолько, что лоцман теряет из виду пурпурное окончание собственного носа.

Выкликая все это, громогласные сеньоры нетерпеливо подпрыгивали и поглядывали на меня, явственно требуя подтверждения справедливости своих неумеренных восторгов.

Точность и вежливость, две главные добродетели Хосе Альвареса, столкнулись в закаленной душе моряка.

— Бартепето орро, — с отвращением пробормотал я, подняв вверх глаза, чтобы не видеть плоского жабьягушиного болота.

В ту же секунду установилась могильная тишина: полный штиль, паруса повисли.

Меня сплошной стеной окружали молчаливые и неподвижные кочки, вооруженные ржавыми алебардами. Не знаю, откуда все они появились — так быстро?

И в глазах кочков было нечто такое, что заставило дрогнуть сердце Хосе.

Да, сеньоры и дамы, маршалы и лорды, капитаны и охотники на носорогов, клянусь тенью Юлия Цезаря и герцога Веллингтона, да же, если угодно — двумя миллионами этих теней, случилось невероятное — сердце Хосе Альвареса дрогнуло!

## 5

Кочки построились в каре, и я очутился в середине.

— Куптет! Вперед! — скомандовал Санчос.

Мы двинулись. Изредка Санчос бросал на меня взгляд, каким измеряет кита опытный гарпунер и оценивает каплуна знающий дело кок.

— Куда меня ведут? — поинтересовался я.

— К наи-наи-наимудрейшей королеве, — неохотно ответил Санчос.

— Зачем?

— Она сотворит над тобой наи-наи-наисправедливейший суд, после которого ты незамедлительно проследуешь в Преисподнюю.

— Меня повесят?

— Какие мрачные мысли, — пробормотал Санчос. — Тебе просто отрубят голову, как это принято в нашей наи-наи-наигуманнейшей Иллюзонии,



— За что?

— Ты назвал бар-бар-бар-бар-бартепето Иллюзонию просто бартепето — прекрасной. За это полагается отсечение головы,— любезно пояснил Санчос.

Видя, что я повесил нос, он добавил:

— У нас, Хосе, бар-бар-баркуссо герраго — пре-пре-преострые топоры. Предстоящая процедура не покажется тебе ни скучной, ни длительной.

Буду честен, слова Санчоса не успокоили меня. От печальных раздумий отвлекли кочки. Они вновь стали подпрыгивать, лязгая алебардами и пронзительно выкрикивая:

— Бар-бар-бар-барсумгуа бар-бар-бар-бар-барчинно Грымзальдины ту-лауго-ту — пре-пре-прекраснейший дворец пре-пре-пре-пре-прекраснейшей королевы Грымзальдины два миллиона второй.

Впереди виднелся бурый травяной навес, свисающий с тонких шестов метров трех высотой.

Едва успев разглядеть это сооружение, я ощутил мощный удар в спину и, как мяч в ворота влетев под навес, упал на колени.

За мной медленно и величественно проследовал добрый мой Санчос.

Последний раз я так называю старого друга: вскоре я узнал, что его следует именовать чин-чин-чинкуго герцог Санчос — наинан-наичестнейший герцог Санчос. Если принять во внимание, что Санчос судился только семнадцать раз всего лишь в десяти странах, и все за мелкие ограбления или карманные кражи, так что на совести его не было ни одного мало-мальски серьезного убийства, я не вижу основания поражаться столь благозвучному титулу.

Однако в первый момент, скажу по совести, звание старого друга до известной степени удивило меня.

...Итак, я был во дворце. Попробовал было встать на ноги, но твердая рука герцога пресекла это намерение.

Оставаясь коленопреклоненным, я поднял глаза и...

Оттого, должно быть, что вследствие не подобающей капитану позы, я много потерял в росте, и оттого еще, что голова нестерпимо гудела после пережитого, и не знаю, отчего еще — но мне показалось, что я вновь стал школяром, который тайком от падре листает в воскресной школе сказки с цветными картинками, и Баба-Яга, сама Баба-Яга, выйдя из книжки, встала передо мной.

Прошу прощения у всех особ королевского звания, слово моряка — я и в мыслях не позволяю себе обидеть даму, какую бы грязную работу она ни выполняла, но королева Грымзальдина два

миллиона вторая была если не самой Бабой-Ягой, то ее близняшкой. И добрая мать — престарелая Баба-Яга — несомненно, путала сестер, так что одной доставались два жареных мальчика-с-пальчик, а вторая укладывалась спать голодной.

Да, сеньоры, клянусь два миллиона сорока морскими чертями, смерчами, цунами и тайфунами, красотой донны Бланки и одноглазым спрутом из Марианской глубоководной впадины — эта королева была именно такая и никакая иная, так что я избавлен от необходимости расписывать ее внешность.

Раскройте книгу детских сказок и посмотрите или, если это вам больше по вкусу, оседлайте метлу и отправляйтесь в подходящую лунную ночь на Лысую гору.

Грымзальдина стояла, высунув из-под травяной хламиды костяную ногу — прошу заметить и эту черту фамильного сходства.

Справа и слева от нее на земле сидели маленькие кочки. Допускаю, что они были бар-бар-барочаровательны, но толстый слой грязи мешал как следует разглядеть их прелести. В ручках невинные младенцы держали скребки и время от времени проводили простыми своими инструментами по чугунным сковородкам.

Дворец был наполнен раздражающим уши скрежетом.

Грымзальдина махнула рукой. Оркестр замолк, и в воцарившейся тишине королева проговорила:

— Тукко бесто пулерко лето иллюзо!

Голос ее напоминал шипенье сводного хора гадюк.

Украдкой заглянув в словарь, я перевел про себя: «Поднесите чужестранцу хрустальный бокал иллюзо!»

Замечу, что «иллюзо» называется теплая бурая жидкость, наполняющая лужи здешнего Королевства, как у нас их наполняет вода.

Санчос наклонился с ужимками заправского придворного, поднял с земли — пола во дворце не имелось — погнутую банку из-под свиной тушонки, зачерпнул это самое иллюзо и поднес угощение мне.

На дне банки барахталось несколько бар-бар-баромерзительных лягушек.

Тошнота подступила к горлу, но герцог смотрел в упор взглядом удава, приглашающего кролика наведаться ему в пасть: так сказать, «не стесняйтесь, заходите и располагайтесь как дома».

«Подчинись, Хосе. Это, может быть, единственный шанс в такую штормягу удержаться якорями на симпатичном шарике», — сказал я самому себе и залпом выпил отвратительную жидкость,

Труднее всего рассказывать о самом главном. Вспомним, например, Ньютона, имеющего право на особое уважение. Сколько им сочинено трактатов и о низших предметах и о самых высших, включая даже Священное Писание, а толково рассказать, как именно он, глядя на падающее яблоко, придумал законы природы, великий старик не собрался.

Или позволю себе коснуться собственной личности, оговарившись, что никогда не ставил себя в ряд со знаменитостями.

Я, как известно, не великан. Донна Бланка в ласковые минуты говаривала:

— Больше всего, Хосе, ты похож на бочонок ямайского рома.

Этим она хотела намекнуть на то, что я усадист. Нет у меня аистинных ног, тощей вертлявой шеи, всяких причесок-начесов, как у эскулапов, монахов, сочинителей и новомодных прощелыг, а имеется только самое необходимое. Но зато уж этого-то необходимого — яволю.

А посмотри вы на меня во время тайфуна в Японском море, когда я швырял за борт сломанную грот-мачту со всеми парусами, вы бы наверняка сказали:

— В Хосе шестнадцать, а то и все двадцать шесть футов!

Человек меняется.

Чтобы из лисы изготовить лисий воротник, достаточно приложить руку одному скорняку. А попробуйте из воротника обратно смастерить лису!

Попробуйте, тогда я и поговорю с вами.

И что может воротник вспомнить о лисьей жизни? Чистые пустяки!

И что сможет рассказать воротник, если уж ему посчастливится снова стать лисой, о тех временах, когда какая-то вертихвостка застегивала его на крючки и терлась о него щекой?

Прав Шекспир: когда ты выходишь из себя, то уже не помнишь, каким был, когда находился в себе. И когда ты в себя возвращаешься, трудно вспомнить, каким именно ты был, когда из себя выходил.

Все это говорится, чтобы объяснить отрывочность и неполноту сведений, изложенных в данной и последующих главах.

...Итак, я залпом выпил банку иллюзо.

Точно некая посторонняя сила охватила меня. Может быть, просто нечистая сила? Не решаюсь без помощи науки и святой церкви утвердительно решить этот вопрос.

Я поднялся на ноги и стал подскакивать все выше и выше, так

что при одном из прыжков пробил головой травяной настил, заменяющий во дворце потолок. При этом я пронзительным павианьим голосом вопил что-то о превосходных, удивительных и изумительных свойствах всего окружающего: мраморного дворца, королевы, херувимчиков без рожек, которые, как мне представлялось теперь, вовсе не скребли тупыми скребками, доставленными из порта Ад, а тренькали на арфах и лирах.

Бесконечные барбарбары пучили меня и вылетали из глотки, как бар-бар-барабанная дробь.

В некий момент я почувствовал необходимость поцеловать ножку очаровательной Грымзальдины и поцеловал, подползая на брюхе, не ту, костяную, а левую, босую, с черной пяткой и черными ногтями, размером в девяностый номер солдатских сапог.

Много грехов ты совершил, Хосе, не найдется заповедей, которые ты не преступил бы по наущению нечистого, но даже если все грехи будут отпущены тебе добрым падре Пабло, последний — ползание на брюхе перед Грымзальдиной и целование ее бар-бар-барчерной пятки — сам Всевышний не снимет с тебя, ибо иначе против него возроптали бы все девы, начиная от девы Марии и кончая Бланкой, вдовой капитана Грасиенто, каковую я с разрешения читателя тоже включаю в число дев.

Помню еще, что когда герцог Санчос, прыгавший рядом, пригласил меня отведать бар-бар-бар-барпревосходных форелей — речь шла о лягушатах, оставшихся на дне банки из-под свиной тушонки — я не на шутку обиделся на него, потому что мне форели казались бар-бар-бар-бар-барпревосходными, а не просто бар-бар-бар-барпревосходными.

Я едва удержался, чтобы не вклепить честнейшему герцогу затрещину. Нас помирила королева, объявившая, что форели в действительности бар-бар-бар-бар-бар-бар-барпревосходные (на два бара превосходнее, чем по моей оценке). Следовательно, оба мы с герцогом достойны смертной казни, но она прощает нас.

Ликование мое при новом счастливом повороте судьбы достигло крайних пределов, и, чтобы выразить его, я стал прибавлять ко всем числам не два миллиона, как положено в Королевстве, а два миллиарда, даже назвал Грымзальдину — два миллиарда второй.

Королева остановила мои излияния и посоветовала крепко запомнить, что больше всего в Барбарбарии почитается точность, точность и еще раз точность. И лично она не может видеть кочков и кочек, прибегающих к необоснованным преувеличениям, а тем паче — к хвастовству. Так что зачастую бывает принуждена за такого рода проступки передавать виновного соответствующим

лицам. Я уже знал, что «соответствующими лицами» в Королевстве именуются палачи.

И это суровое предупреждение не охладило моего восторга.

Хосе Альвареса больше не существовало. Хосе Альварес, прославленный и неустрашимый капитан, стал обыкновенным кочком.

Вонстину, как просто и быстро произошло сие превращение. Хотел бы я знать, не удивился ли Всевышний, сколь непрочной и гибкой оказалась душа, одунутая им в любимое свое создание на шестой день творения! Дьявольски непрочной и гибкой, черт возьми, да отпустит мне падре Пабло и грех упоминания нечистой силы, приняв во внимание особые обстоятельства. Дьявольски непрочной!

## 7

Я стал кочком и жил подобно другим кочкам.

По ночам я лежал у какой-либо иллюзной лужи, прикрывшись с головой травяной хламидой. Иногда что-то прежнее вторгалось в сон, как в пустыне сквозь мираж с оазисами и пальмами проступают безводные барханы. Не открывая глаз, я нагибался, выпивал несколько глотков иллюзо, чувствуя, как меня вновь охватывает розовое и золотое безмятежное спокойствие.

Иллюзо... Иллюзо...

Утром кочки, и я вместе с другими, разбредались по острову и ловили чужестранцев. Бурое течение ежедневно приносило десять-пятнадцать моряков, потерпевших кораблекрушение в здешних негостеприимных водах.

Часть — примерно половина — этих чужестранцев получала право присоединиться к кочкам, а вторую половину Королева передавала соответствующим лицам.

Судьба этих несчастных почему-то совсем не беспокоила меня.

Может быть, потому, что я стал кочком?

И потому еще, что ко всему привыкаешь.

И потому, что, как наставлял падре Пабло вслед за отцами церкви: «не пожелай зла ближнему своему»; «но кто из отцов церкви, — добавлял падре, — определил, кого считать ближним своим, а кого — дальним?»

Что черепахе кажется весьма удаленным, то угрю, плывущему метать икру за десять тысяч миль, представляется, можно сказать, за углом. Верно говорила донна Бланка дону Грасиенто:

«Когда ты целуешь меня — я тебе близкая, но ведь не всегда, надо думать, ты будешь меня целовать».

И «соответствующие лица» уводили чужестранцев, доверенных их попечению, на достаточное расстояние, так что, строго говоря, их уже можно было не причислять к категории близких или ближних, что, по существу, одно и то же.

Раз в неделю все кочки собирались у дворца королевы, чтобы барбарбариться. Обязательная церемония эта, или состязание, заключалась в том, что пара за парой барбарбарили что-нибудь или кого-нибудь — например королеву или честнейшего герцога Санчоса.

Один из соревнующихся терял голос раньше — на сотом, тысячном или еще каком-либо барбаре, другой, соответственно, побеждал.

Победителю вручали награду: десять, двадцать, пятьдесят лягушек, то есть, я хочу сказать, — лебедей. Ну, а побежденного отправляли к тем же «соответствующим лицам».

Барбарбаренье напоминало корриду после того, как пролита первая кровь и люди слегка опьянены близостью смерти.

Когда ты слышишь, что кочки, задыхаясь и обливаясь потом, с трудом вышептывают последние барбары — «избарбарился», как здесь выражаются, — будь уверен, что в преисподней чистят уже для него сковородку.

Около колючей проволоки водятся особые жабки — малиновые с синими пупырышками. Они издают звук, похожий на «бар-бар», так что, если заблаговременно поймать несколько жабок и проглотить их, во время барбаренья можно порой давать себе передышку и только открывать рот. Глотание жабок, если оно изобличено, также карается передачей «соответствующим лицам».

...Так протекала моя жизнь, день за днем, неделя за неделей, от барбаренья к барбаренью.

## 8

Эта глава, не стыжусь признаться, внушает мне серьезные опасения, потому что если до сих пор сообщалось о явлениях и событиях неизвестных, то теперь нам предстоит ознакомиться с событиями невероятными.

Возможно, кое у кого возникает вопрос: «Не избарбарился ли старина Хосе, можно ли доверять ему?»

Что ж, вольному воля.

«Капитан, принимающий за составление морских записок,

орудуя пером, должен быть столь же неустрашимым, как и тогда, когда в руках у него штурвал,— пишет сэр Джошуа.— Встретив на острове говорящих лошадей, моряк не скроет этого факта. Тем более, что способность к членораздельной речи не могла ведь быть дарована бессловесному, в основном, животному без воли Провидения. Узрев корабль-призрак, моряк спокойно и тщательно знакомится с особенностями его оснастки. Но, внимательно изучая факты, моряк с презрением отмечает домыслы. Если на страницах записок появится привидение (именно привидение, а не Провидение), спускающееся с грот-мачты или поднимающееся из трюма, будьте уверены, что сочинитель начинал свои плаванья в корыте и закончил в пивной кружке; с презрением отбросьте такие «морские записки» — это подделка.

И все же обстоятельства вынуждают меня восьмую главу почти целиком посвятить именно привидению.

Потому что как же поступить иначе, если оно сыграло решающую роль в горькой моей судьбе, и лишь благодаря его вмешательству Хосе Альварес снова из кочка стал капитаном, которого знают и любят во всех портах.

Послужит ли мне хоть некоторым извинением,— сэр Джошуа, я к вам обращаюсь с этим вопросом,— то, что речь будет идти не о рядовом привидении, а о Бланке, особе, как подтвердят многие, вполне реальной, лишь явившейся на сей раз в форме привидения?

Ведь женский пол именно тем и отличается от мужского, что форма для него, вопреки распространенным предрассудкам, не имеет серьезного значения. Известен случай, когда неопытный молодой ангел подружился с бродягой и, изрядно хлебнув с ним, переделал этого последнего шутки ради в форму полицейского.

И что же? Новоявленный полицейский сразу же после перевоплощения нацепил на бывшего дружка ручные кандалы, поскольку у ангела не оказалось необходимых документов, а одни лишь крылышки, не утвержденные в данной стране как вид на жительство.

— Много вас таких! — рявкнул бывший бродяга, а ныне полицейский чин. И, сам удивляясь своему рявканью, пояснил:

— Поскольку на мне теперь форма, то она соответственно видоизменяет облекаемую ею сущность. Хочешь не хочешь, а я должен поступать в гармонии с видоизмененной сущностью, и это не нашего разума дело. Ступай, ступай, в комиссариате разберутся! — закончил полицейский чин, подталкивая ангела.

Ангелок этот до сих пор мается по судам и тюрьмам.

Иначе обстоит у вас, уважаемые сеньоры, миссис, мадам и вообще женщины!

— А шляпочки, тряпочки, туфельки? — перебьет читатель.

— Шляпочки и тряпочки — вовсе не форма, как ее следует понимать, а совсем иное!

Сеньора может предстать перед вами в облике анаконды или безобиднейшего ужа, блудницей или святой, львицей рыкающей или кошечкой. Но все сие не по ранжиру и уставу, а неисповедимыми путями, какими голубое небо заволакивается грозовой тучей, а через известное время вновь сияет солнечной голубизной.

Не тряпочки определяют сущность сеньоры, а сеньора передает часть своей сущности тряпочкам, не теряя при этом ни тепла, ни массы. Можно утверждать, что если бы упомянутый выше ангел проделал свой необдуманый опыт не с бродягой, а с бродяжкой, уличной дивой, то последняя, для смеха напугав ангела, пожалела бы его затем и отвела вместо полицейского участка в собственную свою обитель, где казенная форма потеряла бы и последнее значение.

Таково свойство женщины.

Да, сеньоры! Если у тебя на борту женщина, ты тонешь. Хосе Альварес и сам именно по этой причине семнадцать раз терпел кораблекрушения, выбрасывался на коралловые рифы и необитаемые острова, недоваренный чудом выскакивал из котла каннибалов, который, так сказать, весело кипел на комельке.

Но если, не имея на борту женщины, вы не терпите кораблекрушения, то только потому, что мир тогда превращается в безводную пустыню.

Таково главное противоречие, разрешить которое не было дано ни одному из сорока семи миллиардов семисот шестнадцати миллионов джентльменов, разновременно обитавших на нашем шарике.

...В ту сто семьдесят пятую с момента моего прибытия в Иллюзонию ночь я спал беспокойно. Накануне происходило барбарбаренье, и голова моя чудом осталась пришвартованной к плечам.

По пути ко дворцу я по счастливой случайности поймал тощую малиново-синюю барбарную жабу и успел наскоро проглотить ее до начала состязаний.

Эта предосторожность и спасла меня.

Почувствовав, что голос окончательно сел, я сильно надавил на живот, и нечистое животное забарбарило вместо меня. Жаба квакала слабо, препречестнейший герцог бросил было недоверчивый взгляд, но я уже собрался с силами и заквакал, то есть забарбарил сам.

Победа осталась за мной.

Теперь мне снился мой напарник — милейший седенький кочк.



Как он переправляется через Стикс, занимая на барке Харона место, забронированное для меня.

И как он стоит у престола Всевышнего. И Всевышний растолковывает окружающим, что пожаловал старичок в небесные чертоги не в очередь, вследствие маленькой хитрости некоего Хосе.

И как старичок, в жизни не обронивший бранного слова, честит в чертоге Хосе Альвареса сперва малым, а потом и большим морским загибом.

И продолжает честить, несмотря на предупреждение Всевышнего, так что в конце концов, чертыхаясь, проваливается в тартары.

Я будто слышал во сне голос старичка, и от этого на сердце скребли кошки.

Не открывая глаз, я вытянул шею, чтобы отхлебнуть из лужи добрый глоток иллюзо, после чего, как я знал по опыту, скребущие кошки и новопреставившиеся старички рассеются в розово-золотой дымке. Я наклонился, но не успел коснуться жаждущими губами спасительной лужи.

— Ставлю четыре бочки рома против дохлой каракатицы, я обломаю о тебя кочергу, если ты вздумаешь снова наиллюзониться,— прогрохотал надо мной голос, который я различил бы среди голосов всех сеньор, львиц и гиен, населяющих наш шарик и иные населенные шарики.— Посмотри мне в глаза, брюхоногий моллюск, футляр от контрабаса, начиненный лягушками.

Мог ли я послушаться...

В трех шагах от меня стояла донна Бланка, то есть привидение донны Бланки, самое её ничто не заставило бы бросить таверну «Шестеро гусят»; и в виде привидения прекрасная сеньора мало что проиграла в прелестях, весе и плотности.

Да, сеньоры! До этой страницы я не дерзал описывать красоту владычицы моего сердца, как не дерзал разбирать стати Дульсиныи Тобосской мой земляк из Ламанчи. Робость сковывала наши уста. И теперь я скажу только, что Бланка прекрасна и величественна. Точнее, она именно и прекрасна своей величественностью.

Она не чета тощим паучихам, засушенным, как цветок в гербарии старательного школяра, скрывающим прелести своего пола, подобно кораблю, при виде неприятеля трусливо опускающему флаг!

Бланка — женщина, сеньоры и милорды, императоры, президенты и принцы-регенты, она женщина — этим сказано все!

Бланка стояла, вытянувшись во весь рост, держа в правой, поднятой над головой руке кочергу, как держит статуя Свободы на рейде Нью-Йоркского порта зажженный факел.

— Иди за мной, старый пройдоха, павиан в снопе осоки,— говорила Бланка,— иди к Источнику Ясности, и когда при помощи напитка Ясности и моей кочерги, если уж придется прибегнуть и к этому целебному средству, пары иллюзо испарятся из тебя и ты увидишь все в настоящем облике и поймешь, во что превратился, тогда ты нырнешь в источник, и течение унесет тебя из Иллюзонии.

— Но я кочк, сеньора! — отозвался я, дрожа всем телом. — А кочкам под страхом смерти запрещено приближаться к Источнику. Я два миллиона один кочк! Вы принимаете меня не за того!

Да, неустрашимые матадоры, укротители змей, истребители тигров-людоедов и кровожадных акул — именно два миллиона один кочк бился в эти минуты с тем, что осталось человеческого в Хосе Альваресе. И кто знает, чем бы окончилось это сражение без вмешательства Бланки.

— Хосе, милый и любимый,— сказала она.— Посмотри на меня, дорогой! Неужели я не стою того, чтобы забыть обо всем ином и следовать за мной до гробовой доски?

— Да, разумеется, вы барбарбар...

Кочерга угрожающе взметнулась, и я замолк.

— Подними голову и смотри,— продолжало привидение. — Пяль на меня бесстыжие глаза. Где же любовь, которая клекотала в тебе, по твоим же словам, как лава Везувия?

— Но, сеньора, не преступлю ли я заповеди Всевышнего, взирая на вас, если ваш выбор в свое время пал на другого и я оказался за флагом?..

Признаюсь, это были пустые отговорки. Я просто не решался еще раз поднять глаза на Бланку, зная, что в противном случае последую за ней в чистилище и ад, в пустыню и глубины океана, в пасть льва и крокодила.

А я был не в силах покинуть манящую розово-золотую мглу Иллюзонии.

Барбары распирали меня, как перебродившее вино распирает бочку.

Я стал рабом иллюзо, сеньоры. Мне хотелось барбарбарить и ни о чем не думать. Ничего не предпринимать. Поймите, Члены Королевского Общества, святейшие отцы церкви и достопочтенные магистры всех наук, розово-золотая мгла окутывала меня, как кокон бабочку, как чрево кита Иону, как ночь окутывает землю — приглашая уснуть и ни о чем не думать.

Так обстояло дело.

— Не смей поднимать глаз! — вопил во мне два миллиона один

кочк, и где уж было одинокому Хосе Альваресу, да еще в том жалком состоянии, в каком он находился, переспорить стольких противников?

Не слово, а сила решила исход диспута; это случалось в мире не раз и прежде. Донна Бланка ущипнула меня за подбородок и вздернула мне голову, так что хрустнули позвонки.

— Смотри! — увещевала она. — Смотри, какая я выше ватерлинии и ниже, от одного борта до другого, от носа до кормы. Пяль глаза и, если в тебе осталась хоть крупница живого, следуй за мной.

Я повиновался, как сделал бы на моем месте каждый.

Я шел, утопая в розово-золотой мгле, как муха в варенье. Из всех сил вырываясь из мглы. Шел, хотя два миллиона один кочк тянул меня назад.

— Пей! — прогремел голос привидения, когда мы достигли Источника Ясности.

Я склонился к голубому водоему, в середине которого пенился водоворот, и несколько минут, не отрываясь, глотал прохладную влагу.

Призываю в свидетели фармацевтов, врачей и аптекарей, все уважаемое племя отравителей, обременяющих наш шарик, — это была вода! Напиток Ясности представлял собой обыкновенную прозрачную и холодную ключевую воду.

Утолив жажду, я шагнул к Бланке. В то же мгновение привидение стало таять, как сахар в кипятке, и вскоре бесследно исчезло.

— Берегись, лупоглазый бурдюк! — слабо донесся из пустоты знакомый голос. — Берегись, иначе, бьюсь об заклад на чetyре бочки рому против дохлой каракатицы, тебе не поздоровится.

Я огляделся! И вовремя. Со всех сторон к Источнику мчались кочки, размахивая ржавыми алебардами. Выбора не оставалось. Я набрал воздуха и нырнул в водоворот. Ревущий поток подхватил меня, увлек в подземную тьму и минуты через три выбросил на океанские просторы.

За грядой айсбергов постепенно скрывалась Иллюзория. Вблизи тем же курсом неслась по течению плоская льдина. Не без труда вскарабкавшись на нее, я устроился с возможными удобствами. Три дня океан оставался пустынным. На четвертое утро слева по борту показался эскадренный миноносец под флагом островов Святого Петра и Павла.

Я был спасен!

## ЭПИЛОГ

Долгие дни пребывания в Иллюзонии отошли в прошлое, и мало что еще осталось сообщить мне в этих записках.

С одиннадцати часов, когда открываются двери «Шестерых гусят», я неизменно стою за стойкой рядом с донной Бланкой, вдовой капитана Грасиенто, которая с благословенья падре Пабло Томасо стала моей супругой.

Я помогаю ей наполнять бокалы и успокаивать тех из завсегда-таев, которым хмель ударил в голову.

— Хосе променял капитанский мостик на бочку вина и мягкую постель,— шепчутся недоброжелатели и завистники — у кого их нет!

Пока не в моих силах заткнуть глотку недругам. Но, не для широкого оглашения, скажу все же, что капитан Хосе Альварес обязательно вернется к родным стихиям, лишь только до конца разгрузит свои трюмы.

Всякого рода нотариусы, стряпчие, писаря из мерии и прочие судейские крючки сразу примутся ломать голову:

— Что именно хотел сказать Хосе, который никогда не бросал слов на ветер, странным своим заявлением «я вернусь в океан, лишь только до конца разгрузу свои трюмы?»

— Быть может, где-либо у уединенного необитаемого острова или кораллового атолла стоит корабль, полный золота, серебра, рубинов и алмазов, вывезенных Хосе из Иллюзонии,— будут догадываться, теряя сон и аппетит всевозможные Рокфеллеры, Ротшильды и Моргань.

— Вздорная болтовня! — скажу я в ответ на подобные толки.

Слово Хосе: под выражением «лишь только когда разгрузу свои трюмы» следует понимать именно это — «лишь только когда разгрузу свои трюмы», и ничего иного. А как именно следует понимать, станет ясно после прочтения последних страниц этих правдивых записок — они уже приближаются.

...Я наполняю кружки до той поры, когда начинает смеркаться, и в нашем подвальчике загораются лампы.

— Бланка, любимая,— шепотом говорю я тогда доброй моей супруге.— Разреши мне отчалить в спальню, потому что сейчас я заквакаю.

— Что ж делать, иди! — вздыхая, неизменно отвечает добрая донна Бланка.

Я поднимаюсь по винтовой лестнице в спальню, расположенную на втором этаже.

Чувствуя надвигающиеся сумерки, иллюзонские лягушки, живьем проглоченные мною, начинают истошно квакать, как посту-

пают эти нечистые создания во всех странах света. Особенно старательно квакают они в лунные ночи.

Они квакают тогда так громко, что заглушают гудок лайнера, отправляющегося в этот час за океан, грохот машин и пение пьяных матросов на улице.

Я закрываю окна и двери, чтобы кваканье не доносилось до посетителей «Шестерых гусят» и до прохожих; было бы трудно каждому объяснить, что в этом естественном явлении не заключено чертовщины.

Когда двери закрыты, я сажусь у окна и раскрываю рот так, чтобы лунный луч проникал в самое нутро.

Лягушки и жабы, привлеченные светом, выпрыгивают из меня. Плюх-плюх-плюх — одна за другой шлепаются они на пол.

— 996... 995... 994... — считаю я про себя.

Я провел в Иллюзонии 176 дней, глотая ежедневно по десять-пятнадцать лягушек и жаб. Значит, всего их во мне скопилось, как по моей просьбе высчитал падре Пабло, не меньше 1760 штук и не больше 2640; всегда вернее набраться терпения и приготовиться к худшему.

1646 лягушек и жаб уже выпрыгнули из меня. Сегодня луна светит особенно ярко, и проклятые твари прямо-таки сталкиваются в глотке.

Плюх-плюх — сразу две! Осталось 992. Плюх-плюх-плюх — осталось 989. Плюх — 988!

Плюх — это выскочила малиново-синяя барбарная жаба; им я веду особый счет. Пока хоть одна из них внутри, я буду барбарить невесть что, даже если бы заткнул себе пасть кляпом из просмоленной пеньки.

Плюх — еще одна барбарная жабка.

Сегодня удачный вечер.

Ночь. Лягушки затихли. Я сажусь к столу и принимаюсь за эти свои записки. И я стараюсь писать возможно быстрее — ведь надо закончить до того, как Бланка закроет таверну. Она не любит моих записок и запрещает даже думать об Иллюзонии.

— Все это вздор, Хосе, дорогой, — говорит она. — Ставлю четыре бочки рома против дохлой каракатицы, ты никуда не выезжал из нашего городка и провел все эти сто семьдесят шесть дней в больнице после того, как одноглазый Санчос Контеррас разбил о твою башку пивную кружку за то, что вместо «Вива эль Каудильо!» ты крикнул «Абако эль Каудильо!»\*\*.

■ \* «Да здравствует Каудильо!» (Франко).

\*\* «Долой Каудильо!»

Я не спорю с Бланкой: с женщиной не спорят, особенно если женщина прекрасна.

Разумеется, я мог бы одним ударом рассеять все ее хитросплетения.

Как мог Санчос Контрерас разбить мне голову ливной кружкой, если он столько лет проживает в Иллюзонии, где даже получил титул наи-наичестнейшего герцога?

И если я не был в Иллюзонии, каким же образом во мне скопилось две тысячи шестьсот сорок лягушек и жаб, в том числе малиново-синие барбарные жабы, совсем неизвестные в наших местах?

Впрочем, зачем огорчать Бланку. Я молчу и улыбаюсь.

Только вчера один-единственный раз я решился посоветоваться с супругой и падре. Дело в том, что вчера из меня, кроме двадцати двух взрослых лягушек, выпрыгнуло еще девять головастика.

Я обеспокоился: не размножаются ли подлые создания в моей утробе? И не надо ли принять срочные меры?

— Нет,— сказал падре,— они не размножаются!

И Бланка также подтвердила:

— Нет, Хосе, будь спокоен, они не должны размножаться!

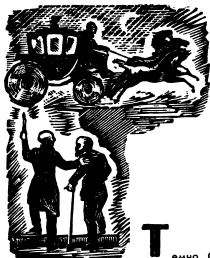
Я думаю, Бланка старается отвлечь меня от воспоминаний об Иллюзонии, потому что, как ей кажется, мне лучше просто забыть о том седеньком котике, которого я, как известно читателю, забарбарил, спасая свою шкуру.

Что ж, отчасти она права; воспоминание это не веселит душу.

Но, с другой стороны, от него ведь и не отделаешься — так просто...

Я дописываю последние строки и откладываю тетрадку: пора спать. Спокойной ночи, сеньоры, если у вас спокойная совесть!





**МУЗЕЙ ВОСКОВЫХ  
ФИГУР, ИЛИ  
НЕКОТОРЫЕ СОБЫТИЯ  
ИЗ ЖИЗНИ КАРЛА  
ФРИДРИХА ПИТОНИУСА  
ДО, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ  
ПУТЕШЕСТВИЯ  
В КАРЕТЕ ВРЕМЕНИ**

[Вторая рукопись]

**Т**

**ПРОИСШЕСТВИЕ ПЕРВОЕ**

емно. Слышатся шаги и тихий голос:  
— Ради бога, осторожнее, профессор!

Словно сам собой движется язычок пламени, зажигая одну за другой свечи в старинных канделябрах.

Свеглет. Теперь можно разглядеть человека, который зажигает свечи фитилем, горящим на конце палки, — это мастер — и маленького профессора в очках. Лицо у профессора испуганное. Оно и понятно. В мерцающем свете глазам представляется зрелище несколько необычное.

Вдоль узкого зала расположились фигуры в фантастических одеяниях всех времен и народов. Наполеон скрестил руки на груди. Нерон с жестокой усмешкой любит пылающим Римом. Кайн убивает Авеля. Мария-Антуанетта склонил голову на гильотину. Полярный исследователь сидит на ледяном торосе.

Рядом с Авелем старинная карета, запряженная тремя конями: синим, желтым и зеленым. На облучке старик в напудренном парике. Он что-то пишет в тетради и негромко бормочет:

— Синус косинуса, помноженный на тангенс гипотенузы, получается два мышинных хвостика и птичий клюв в остатке.

Над головой возницы надпись:

**«ЗНАМЕНИТЫЙ МАГИСТР И ИЗОБРЕТЕННАЯ  
ИМ КАРЕТА ВРЕМЕНИ».**

— Не бойтесь, профессор, это обыкновенный музей восковых фигур, — говорит мастер.

Свечи отбрасывают колеблющийся свет. Тени мечутся по сводчатому потолку.

Синий от холода полярный исследователь, протягивая окочевевшие руки к пылающему Риму, вежливо спрашивает:

— Я не помешаю?

— Огоньку хватит,— отвечает Нерон.

Полярный исследователь греется. Рядом с ним Наполеон.

— Они несколько распустились, любезный профессор, потому что я долго отсутствовал,— объясняет мастер.— Обычно они стоят на своих местах и в своих веках. Обычно они тихие и послушные, потому что это ведь только восковые фигуры. Самые обыкновенные восковые фигуры. Так что вам совершенно нечего опасаться. Сейчас я наведу порядок, и мы продолжим разговор.

Повысив голос, мастер обращается к полярному исследователю:

— На место, сударь! Воск тает от огня.

— Но мне холодно. Зуб на зуб не попадает.

— Попросил бы и вас отправиться на место. Надо приучаться к дисциплине,— обращается мастер к Наполеону.

— «На место»... Я там простудился, схватил насморк и по вашей милости снова проиграю битву при Ватерлоо.

— Ничего, ничего. Вам уже не придется проигрывать битв. Пора привыкнуть к тому, что теперь вы только восковая фигура.

Профессор и мастер направляются в глубину зала. Тут стоят высокий табурет и стол. Подвешенные к потолку, качаются неоконченные куклы. На столе керосиновая лампа, краски, кисти, лопаточки.

Мастер, перебирая одну фигурку за другой, задумчиво говорит:

— Вы хотели познакомиться с приемами нашего искусства? Восковое мастерство вырождается, но я еще помню кое-что, и руки еще слушаются. Кого же вам показать?

Выбрав одну из фигурок, он вместе с ней поднимается на высокий табурет.

— Ну, конечно, я познакомлю вас с Карлом Фридрихом Питониусом, самым обыкновенным аудитором\* десятого класса.

Лампа освещает краски на палитре. Мастер не спеша тронул фигурку тонкой кистью; изменил оттенок глаз, потом легким движением исправил форму носа.

■ \* Auditor (лат.) дословно — слушающий. Должностное лицо, исполняющее прокурорские обязанности. Слово это бывало в некоторых европейских странах, в том числе в Германии.



Профессор, подняв голову, наблюдает за работой.

— Смотрите, смотрите,— бормочет мастер.— Искусство вырождается, и теперь не часто полюбишься настоящей Тонкой Восковой Работой. Не так-то часто! Кажется, просто, но все дело в том, чтобы сделать персонаж совершенно как живой, но совершенно не живым. Видите, слышите, как они шумят, эти мои восковые фигурки? А если перейти грань... Если прибавить слишком много воображения, или слишком много сердечности, или слишком много жестокости... О, тогда не оберешься неприятностей. Итак, смотрите внимательно. Сейчас я заканчиваю аудитора десятого класса Карла Фридриха Питониуса. Прибавляем мазок. Еще мазок. Капнем из синего флакончика одну каплю воображения. Видите, он уже слегка шевелится. Еще мазок и...

Мастер приподнялся на табурете. Но едва кисть коснулась фигурки, эта последняя с неожиданным проворством скользнула на пол, прыгнула в карету и, высунувшись из окошка, резким дребезжащим голосом крикнула:

— Гони! Сто тысяч дьяволов, гони скорей!

Магистр натянул вожжи.

Кони рванули с места.

Мастер. Лови! Держи его!

Наполеон. Ко мне, старая гвардия!

Восковые фигурки окружили императора:

— Где наступать? Где обходить? — наперебой спрашивают они.

Император чихает, он не может вымолвить ни слова.

Мастер. Он убежал и угнал драгоценную «Карету времени». Он убежал вместе с моим любимым магистром!

Карета мчится по улице. Кони выбивают искры на каменной мостовой, развеваются гривы.

— Гони! Гони! — кричит магистру аудитор, высовываясь из окошка кареты.— Стой. Тпру!

Дом с массивными, обитыми железом дверями. В зарешеченном окошке показалось бледное лицо служителя. Створки дверей сами собой раскрываются. Виден бесконечный коридор.

— Милости просим, господин Карл Фридрих Питониус. Вовремя! — говорит служитель.— Приказано всем незамедлительно явиться в Департамент Соразмерностей на предмет ПРО-КРУ-СТА-ЦИ-И. Поторопливайтесь, господин аудитор!

— Прокрустации! — переспрашивает Питониус и направляется в глубь коридора.

## ПРОИСШЕСТВИЕ ВТОРОЕ

Сдвигаются створки дверей. Еще видна узенькая полоска неба; вот и она исчезла.

По сторонам железные двери с надписями: «ДЕПАРТАМЕНТ», «ДЕПАРТАМЕНТ», «ДЕПАРТАМЕНТ».

— Прокрустация, прокрустация, — озабоченно бормочет аудитор в такт шагам. Остановился и, обернувшись к магистру, спрашивает:

— Что это такое — прокрустация? Отвечай! Должен же ты хоть что-нибудь знать. Отвечай и помни — мы уже не в проклятом восковом царстве, где каждый думал и говорил, что хотел, а в настоящем мире, который, слава богу, имеет и дыбу, и виселицу.

— Прокрустация? — повторяет магистр. — Не знаю... Хотя нет... Ну, конечно же. Жил в Греции на заре человечества в достославный век Геракла близ города Герма разбойник Дамаст Prokrustus, что в переводе с греческого означает — «растягиватель», умерщвленный впоследствии Тесеем. И было у Дамаста ложе, на которое укладывал он путников и растягивал их. А если путник на беду оказывался длиннее ложа, кровожадный Дамаст укорачивал его, отсекая голову.

— Путаников, говоришь, укорачивал?! — заинтересованно переспрашивает Питониус. — Очень, очень дельно. Как его звали? Дамаст? Дельный работник. На самой заре человечества, говоришь?.. И подумать только, с самой зари занимаемся мы этим — укорачиванием путаников, а работы хватает. Ее даже становится больше. Да, работы, слава богу, хватает... Но какое отношение, черт возьми, все это имеет ко мне? Я же аудитор, а не путаник!

Магистр не отвечает.

— Молчишь? — в гнев кричит Питониус. — Стража!

От стен отделяются невидимые раньше серые тени.

— Взять! Заковать в железо! Заточить!

Стража и магистр исчезают. Питониус идет дальше по коридору. Перед ним дверь с табличкой:

## ДЕПАРТАМЕНТ СОРАЗМЕРНОСТЕЙ

## ПРОИСШЕСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Комната без окон. Прогнав дверь, которую робко приоткрыл Питониус, выстроились фигуры, такие неподвижные, что кажутся неживыми.

У каждой на груди лента с надписью: «Аудитор первого клас-

са», «Аудитор второго класса», «Аудитор третьего класса»... «Аудитор седьмого класса» и так далее.

Питониус проскользнул в щель и пристроился с левого фланга рядом с аудитором девятого класса, длинным, костлявым, голова которого возвышается над шеренгой. Сосед чуть скосил глаза, и Питониус сжался под грозным этим взглядом.

Справа и слева поблескивают ржавым железом прямоугольники дверей. У левых дверей на платформе странное сооружение, нечто вроде складного метра. Членки этого метра выскакивают с коротким и пронзительным металлическим звуком. Один членок, второй, третий... Последний — десятый — почти касается потолка.

Над сооружением надпись:

### ПРОКРУСТАТОР

Около платформы лестница. По ней бегают — вверх и вниз, вверх и вниз — человечки в черном.

Это служители Департамента Соразмерностей.

На бегу черные человечки щелкают ножницами.

Только щелканье ножниц и стук выскакивающих и снова исчезающих члеников прокрустатора нарушают тишину.

Из правых дверей появляются два герольда.

**Первый герольд.** Слушайте! Слушайте! Слушайте!

**Второй герольд.** Внимайте! Внимайте! Внимайте!

**Первый герольд.** Внимайте новому Главному Установлению Верховного Аудитора.

Второй герольд разворачивает длинный свиток и читает:

Замечено, что некоторые аудиторы десятого, девятого и других низших классов позволяют себе иметь не по чину высокий рост и, соответственно, глядят на аудиторов высших, первых классов сверху вниз, что противоречит всем предыдущим Установлениям и нарушает существующий распорядок.

**Второй герольд.** Дабы покончить с этим, постановлено: С нынешнего числа и во веки веков всем аудиторам надлежит иметь рост согласно присвоенному классу, но ни в коем случае не ниже и не выше оного.

**Первый герольд.** Ежели же какой-либо аудитор не растянется до соответствующего размера, разорвется и тем проявит неуважение к высшим видам, отчислить оного, как несоответствующего и похоронить за собственный счет.

**Второй герольд.** И ежели какой-либо аудитор не сожмется до предписанного размера и лопнет при сжимании, отчислить его, как несоответствующего, и похоронить за собственный счет.

Стон ужаса проносится по шеренге и обрывается.

Герольды сворачивают свитки.

Старинная мелодия, нечто вроде менуэта. Служители Департамента Соразмерностей занимают свои места.

Двое поднимаются по лестнице.

— Мы измеряем,

Сопоставляем,— напевает первый.

— Лишнее мы отрезаем,— сводя и разводя ножницы, заканчивает второй.

— Мы измеряем,

Сопоставляем

И отрезаем,— поют они оба.

Выскакивают членники прокрустатора.

— Один... Два... Три... Четыре... Десять...— считает служитель.

Теперь прокрустатор касается притолоки.

— Аудитор первого класса,— вызывает герольд.

Под торжественную музыку от правого фланга шеренги отделяется нечто до крайности крошечное, почти целиком закрытое лентой с надписью «Аудитор первого класса».

«Нечто» четко печатает строевой шаг и тут же на ходу начинает расти.

Шея словно вывинчивается из воротника.

Еще на один виток, еще на один.

Череп удлиняется.

Спина растягивается.

Ноги вырастают из ботфорт.

Аудиторы, которые в первый момент позволили себе злорадно взглянуть на начальника, теперь изображают на своих лицах восхищение. «Сколько же пришлось упражняться, сгибаться, тянуться, чтобы достигнуть такой величественной гибкости членов».

А аудитор тем временем вытягивается, вывинчивается и вывинчивается.

Голова вращается, пока шея совершает равномерно винтообразные движения, и видно, как в глазах аудитора страх сменяется торжеством.

Выше и выше поднимается голова. Все в шеренге невольно повторяют движения начальника.

Только у двух аудиторов совсем плачевный вид: у аудитора второго класса — он еще меньше, чем его непосредственный на-

чальник,— и у не по чину высокого аудитора девятого класса. Последний незаметно пытается сжаться; это у него плохо получается.

А аудитор первого класса между тем уже стоит на платформе и все растёт, удлиняется, вытягивается, вывинчивается. Вот он достиг макушкой верхнего членника прокрустатора и от избытка усердия чуть перемахнул через эту границу.

Служитель ловко щёлкнул огромными ножницами и отстриг завиток парика.

Под торжественную музыку аудитор возвращается на место.

— Аудитор второго класса! — выкликает герольд.

Он пытается ступать, как его начальник, четко отбивая строевой шаг, крошечный аудитор второго класса. Но как же это плохо получается у него, совершающего, быть может, свой последний путь.

Он вращает шеей, как начальник, и шея вывинчивается, потому что организм его ведь построен по тому же принципу. Но как медленно вывинчивается, как слабо вытягивается череп, покрытый чахлыми волосиками, как неуверенно растягивается спина, гибкая, но все же недостаточно гибкая.

Вот он уже стоит на платформе и тянется, изо всех сил тянется вверх — спиной, головой, шеей.

Он дотянулся до четвертого, пятого, шестого членника, но ножки его, выглядывающие из ботфорт, утончились и дрожат. Талия превратилась совсем в осину. Еще мгновение, последнее усилие, и аудитор с легким треском разрывается на две половинки, которые падают на платформу.

— Убрать! — командует герольд.

По очереди подходят к прокрустатору аудиторы третьего, четвертого, пятого, шестого и последующих классов.

По очереди они растягиваются или сжимаются, свинчиваются до необходимых размеров и снова занимают свои места в шеренге, приобретающей все более стройный вид.

Теперь уже самому последнему аудиторишке понятна мудрость предначертаний Верховного Аудитора.

Только с девятым аудитором получается неладно.

Поначалу он сжимается вполне успешно. Вот аудиторская голова втянулась в шею, эта последняя ввинтилась в плечи.

Вот уже туловище расплющилось, ноги выросли в ботфорты. Еще одно усилие.

Но, видно, не суждено аудитору продолжать свое существование. Негромкий звук и... совсем, совсем ничего не остается на платформе. Так, какие-то тряпки, ошметки и лента, на которой начертано «Аудитор девятого класса».

Был аудитор, и не стало его.

— Аудитор десятого класса! — выкликает герольд.

Питониус молодцевато подходит к прокрустатору и сокращается вполне успешно, только слегка замедленно.

Нетерпеливо сведя ножницы, служитель Департамента Соразмерностей отстригает парик и верхнюю часть головы Питониуса. Теперь он как раз достигает границы самого нижнего членника прокрустатора.

— Прикрыть! — глухим голосом командует аудитор первого класса.

Второй служитель берет с полу крышку от кастрюли и прикрывает голову Питониусу.

Снова появляются герольды.

**Первый герольд.** Слушайте! Слушайте! Слушайте!

**Второй герольд.** Внимайте! Внимайте! Внимайте!

**Первый герольд.** Внимайте новому Главному Установлению Верховного Аудитора!

**Второй герольд** (разворачивает свиток и читает). Постановляю: аудиторов второго и девятого класса, как несоответствующих нашим видам, отчислить и незамедлительно похоронить за собственный счет.

**Первый герольд** (берет свиток и продолжает чтение). Приказываю всем аудиторам: усердствуйте, усердствуйте и еще раз усердствуйте, чтобы занять освободившиеся места аудиторов второго и девятого класса.

**Питониус** (в сторону). Усердствовать?! Ну, за этим дело не станет. Усердствовать, усердствовать и еще раз усердствовать!

## ПРОИСШЕСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Сводчатый подвал. Из черного провала вырываются языки пламени. Над провалом надпись: «УПРАВЛЕНИЕ ИЗЯЩЕСТВА И ПРОГРЕССА», пониже: «ДЕПАРТАМЕНТ СЛЕДСТВЕННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ».

Стоят наготове секретари в длинных мантиях с гусиным пером за ухом и мелом в руке. За низким столом — Питониус.

Аудитор хлопает в ладоши.

Дверь распахивается и, приплясывая, появляются три группы чертей — черные, оранжевые и фиолетовые. Каждая группа держит по длинной кочерге.

— Начнем! — приказывает Питониус.

Черти помешивают кочергами в провале. Пламя усиливается.

— Немного терпенья,— напевают черные черти.

— Оставив сомненья,— отзываются оранжевые.

— Получим признание,— низкими голосами заканчивают фиолетовые.

— Испанские сапоги... Дыбу... Клещи...— отрывисто командует аудитор.

Служители с требуемыми орудиями исчезают в провале.

— Признавайся, кто с кем связан? — спрашивает аудитор.

Доносится слабый голос магистра:

— Синус косинуса, помноженный на тангенс гипотенузы, получается два мышинных хвостика и птичий клюв в остатке. Синус связан с косинусом и тангенс связан с котангенсом.

— Он признался! — кричат черти.

«Синус связан с косинусом и тангенс связан с котангенсом»,— огромными буквами, скрипя мелом, записывают секретари на черной грифельной доске.

— Синус с косинусом и тангенс с котангенсом,— приглушенно, разными голосами, наклоняясь друг к другу, повторяют все: черные, оранжевые и фиолетовые черти, часовые с алебардами, секретари.

Когда шепот смолкает, Питониус вскакивает на стол и пронзительным голосом кричит:

— Синус связан с косинусом и тангенс связан с котангенсом. Что и требовалось доказать! Что и требовалось доказать! В дверях появляется аудитор первого класса.

— Кого допрашивали?

— Магистра, изобретателя «Машины времени».

— В чем признался?

— Признался, что связан с синусом и тангенсом. А синус связан с косинусом. И тангенс связан с котангенсом.

— Отлично. Казнить магистра!

Протягивает герольду свиток. Тот читает: — «Постановили: Карла Фридриха Питониуса, аудитора десятого класса, в ознаменование проявленного усердия произвести в аудиторы девятого класса, если означенный аудитор представит к утру по установленной форме в соответствующий департамент удовлетворительные сведения о союзе двух поколений своих предков.

Если же в назначенное время вышеназванный чиновник не представит требуемых сведений в соответствующий департамент, казнить означенного чиновника».

## ПРОИСШЕСТВИЕ ПЯТОЕ

Тот же сводчатый подвал. Но теперь здесь тихо и пустынно. Только Питониус бродит из угла в угол и громко разговаривает сам с собой:

— Итак, я почти аудитор девятого класса... или почти покойник. Гм... не исключено ни то, ни другое. Что может быть прекраснее и изумительнее, чем стать аудитором девятого класса! Какая музыка в этих словах!

Словно эхо звучит своеобразная мелодия, в которой можно уловить скрипление перьев, шелест бумаги, заглушенные крики.

— До сих пор я мог топтать только всех неаудиторов,— под эту все усиливающуюся музыку продолжает Питониус. Он не просто говорит, а декламирует, почти поет.— Конечно, очень приятно топтать неаудиторов. Но что они такое? Что они такое в сравнении со мной? Теперь я получу право топтать и всех аудиторов десятого класса. Всех без исключения. Всех моих вчерашних сослуживцев. Даже собственную тень. Собственных детей, потому что это дети, рожденные, в конце концов, только ничтожнейшим чиновником десятого класса. Даже свою жену, потому что эта тварь делила ложе с жалким аудиторишкой последнего класса.

Музыка усиливается, почти заглушает слова и вдруг обрывается сильным барабанным боем.

— Гм... А возможно, я потеряю голову. И это не исключено.

Удар гонга, и, закрывая всю стену, возникает огромная папка с надписью Ahnenpaß\* Карла Фридриха Питониуса.

Папка, раскрывшись, опускается на пол.

— Предки! Явитесь! — возглашает Питониус.— Предки, явитесь. Вас вызывает аудитор десятого класса, ваш потомок Карл Питониус. Сорок два поколения предков, встаньте из гробов и явитесь сюда, в Следственно-Аналитический Департамент Управления Изящества и Прогресса, помня, что в противном случае вы будете отвечать по закону. Предки, встаньте из гробов и явитесь!

■ \* Ahnenpaß — в дословном переводе с немецкого «паспорт предков». Так как в русском языке подобного понятия не существует, в дальнейшем мы переводим «Ahnenpaß» весьма условно и неточно, как «личное дело».



## ПРОИСШЕСТВИЕ ШЕСТОЕ

Откуда-то льется слабый синеватый свет. Слышится шум падающей земли, лязг костей.

— Предки, явитесь! Явитесь!

Лязг костей и шум шагов усиливаются. В фосфоресцирующем синеватом свечении постепенно проступают и приближаются фигуры в саванах самых различных покроев, с гробами за спиной.

Мертвецы выстраиваются. Питониус обходит строй, подает команду:

— Смирно! Рравняйся! Не лязгать костями!

Мертвецы скидывают головы и подтягиваются.

Питониус. Здравствуйте, господа!

Мертвецы (вразнобой). Здравия желаем, господин аудитор!

Питониус. Не могу сказать, что я доволен вашей выправкой и, так сказать, внешним видом... Я уж не касаюсь формы. В вашем положении следить за инструкциями, регулирующими изменение формы, представляет известные... гм... известные затруднения. Но содержать форму, то есть саваны, так сказать, в порядке, это прямой ваш долг, господа. Пока вы состояли предками аудитора последнего разряда, подобные упущения были более или менее допустимы. Но я думаю, сейчас своевременно обнародовать, что в самое ближайшее время вам предстоит превратиться в предков аудитора девятого класса.

Среди мертвецов раздается шелест и почтительный скрип костей. Когда шум затих, Питониус продолжает:

— Да, именно в самое ближайшее время. И в некотором смысле изменение моего... нашего положения зависит от вас, господа. Итак, не будем терять времени.— Командует: — Гробы к но-ги!

Гробы опускаются.

— По порядку номеров рассчитайся!

Голоса мертвецов: Первый... второй... тридцать девятый... сороковой...

Питониус. Сорок? Я же вызывал сорок двух предков. Где же сорок первый и сорок второй? Опоздывают! Не могу одобрить такую распущенность. Предупреждаю, что в будущем буду принимать суровые дисциплинарные меры. Однако приступим, не ожидая опоздавших. Номер первый!

Номер первый выходит из строя.

Питониус. Здравствуйте, папаша.

Питониус раскрывает «Личное дело». Видна страница с надписью:

«Номер один» укладывается на странице.

— Устраивайтесь поудобнее, — с сыновней нежностью аудитор поправляет складки на саване. — Вот так, очень хорошо. Смею думать, что вы никогда не выглядели лучше. Попросил бы вас улыбнуться.

Достает из нескороаемого шкафа электрический утюг и печать. Проглаживает фигуру. Потом наискосок на ней пишет: ПАЛАЧ, подписывается и скрепляет подпись печатью.

Уже приобщен к делу предок номер два — тюремщик, номер три — палач, номер четыре — палач...

Мелькают страницы личного дела, тает шеренга предков.

**Питониус.** Номер десять!

Номер десять выходит из строя.

**Питониус.** Где изволили проходить службу в до... так сказать, в дозагробный период?

**Номер десять.** Я изобретатель!

Тишина. Со стороны предков, постепенно усиливаясь, доносится сперва недоуменный, а потом негодующий шум.

Наиболее нервные и тонко организованные скелеты угрожающе размахивают руками.

**Питониус.** Тише, господа. Я понимаю, поверьте мне, я вполне понимаю ваше удивление и, так сказать, справедливый гнев. В нашей среде и вдруг... Поверьте, и мне нелегко в эту минуту. Но дадим возможность объясниться номеру десятому. Может быть, он пошутил? Конечно, это не совсем уместная шутка, но...

**Номер десять** (заносчиво). Я никогда не шучу.

Шум усиливается. Предки, возмущенно переговариваясь, окружают изобретателя.

**Номер десять.** Я Главный Изобретатель собственной пыточной канцелярии Великого Инквизитора, — покрывая шум, с презрительной усмешкой поясняет номер десятый.

Волнение утихает.

**Питониус.** Ах... Очень, очень рад с вами познакомиться. Видите, господа, как все разъяснилось. Стоит только проявить терпение и сдержать первый порыв чувств, как все разъясняется в высшей степени удовлетворительно.

**Номер десять.** Я изобретатель усовершенствованной дыбы, малого пыточного колеса, «испанского сапога».

**Питониус.** И «испанского сапога»? — Голос аудитора прерывается от полноты чувств. — О, господа, это величайшее мгновение моей жизни. Подумать только — «испанский сапог»! Конечно, дыба имеет

свои достоинства, но как она груба, господа. Только «испанский сапог» дал пыточному делу подлинное изящество, гармонию и необходимые нюансы. Только он один, дерзну это утверждать! (Обнимает предка). Ложитесь же поудобнее, устраивайтесь получше, дорогой и любимейший наш предок. Да, кстати, я давно хотел спросить, на сколько оборотов вы рекомендуете заворачивать винт С. Я обычно применял пять оборотов.

**Номер десять** (гневно). «Испанский сапог» рассчитан на десять оборотов. Десять, и ни на один меньше.

**Аудитор** (проводя утюгом). Боже мой — десять, а я решался применять только пять или шесть оборотов. Какой позор, сколько возможностей упущено! Я был похож на жалкого неуча, который, обладая совершеннейшей скрипкой Страдивари, щиплет на ней одну-единственную струну. Я напоминал подслеповатого крота, перед которым партитура божественной симфонии, а он не различает и половины нотных знаков. Конечно, я извлекал из подследственных стоны и необходимые признания. Но каждый последующий оборот винта во много раз обогатил бы эту гамму. О, я был похож на дирижера, не видящего оркестра, расположившегося перед ним, и вместо того, чтобы, взмахнув палочкой, вызвать бурю звуков, выстукивающего мелодию палочкой по пюпитру. Одно утешение — жизнь еще не окончена. Я успею кое-что наверстать. Если, конечно...

## ПРОИСШЕСТВИЕ СЕДЬМОЕ

Ворота кладбища. Появляется Питониус, который тащит за собой «личное дело».

Перед воротами он останавливается и листает *Ahnepрав*. Видна страница сороковая. Предок с печатью и надписью — «тюремщик». Питониус переворачивает страницу, открывается пустой лист: «ПРЕДОК НОМЕР СОРОК ОДИН».

**Питониус** (торжественно). Еще одно последнее... то есть, я хочу сказать, еще два листа, и труд завершен. О, без ложной скромности могу сказать — это будет самое совершенное личное дело из всех, заполненных с тех пор, как при императоре Юстиниане, прозванном за это Великим, человечество наряду с другими формами духовной деятельности начало заполнять личные дела. То есть, не наряду, конечно, а во главе всех других форм духовной деятельности.

В самом деле — возьмем живопись. У нее есть свои достоинства, но ей не хватает глубины. Скульптура обладает искомой глу-

бинной, но замалчивает вопрос, что же заключено в этой глубине. Углубитесь в изображение великого аудитора первого класса и какого-нибудь жалкого книжного червя на один только сантиметр, и вы увидите однообразный мрамор.

Однообразие губит скульптуру.

Музыка эфемерна, к ней невозможно приложить печать.

Лирика при некоторых условиях удовлетворительно передает признание ошибок, но охватывает лишь краткий миг.

Роман углубляется всего на два, в лучшем случае, на три поколения.

Только «личное дело», начиная со скрепленной печатью карточки на первой странице и кончая скрепленными печатями всеми другими страницами, дает всестороннее и глубокое изображение человеческой жизни. По существу, это единственное искусство, имеющее право называться искусством. Только в нем достигается полное слияние между приложенной печатью и жизнью, а следовательно, и необходимая гармония.

...Итак, два листа и... Но что они принесут, эти листы?! Сердце беспокойно...

Не испортят ли они всего?

Не таят ли они, так сказать, моей гибели?

Недаром два последних предка не явились, несмотря на повторные вызовы. Придется самому поискать их тут на кладбище. (Стучит в ворота, кричит.) Отзовитесь!

Бурная, кенастная ночь, мчатся тучи, изредка мелькает диск луны, воет ветер.

Со скрипом открываются ржавые, поросшие мхом кладбищенские ворота.

Могильщик. Кто там еще? Даже ночью нельзя посидеть с приятелем за чарочкой, спокойно выпить и закусить. Самые почтенные покойники, опора кладбища, которые пролежали с миром тысячу лет, вынуждены подниматься из могил для показаний и справок. Могила стоят разверстые, поневоле возникают нежелательные слухи о близком светопреставлении. (Светит фонарем и вглядывается в темноту.) В последний раз спрашиваю: кто там?

Питонкус (приближаясь). Я решился побеспокоить вас потому, что у меня затерялись два предка; а они необходимы по чрезвычайнейшему и безотлагательнейшему делу.

Могильщик. Всем срочно, чрезвычайно и безотлагательно. (Пожав руку аудитору и рассмотрев монету, очутившуюся в ладони, продолжает тоном более благожелательным.) Всем чрезвычайная необходимость, и все думают, что у меня неограниченный выбор покойников, а то время как разобраны даже те, что пролежали

в земле тысячу лет. В настоящее время у меня только один постоялец, который мог бы вам пригодиться. Впрочем, заранее предупреждаю, это самый беспокойный покойник из всех покойников, которые попадали ко мне на упокой. Слышите вой? Это он. Ходит, вернее, мечется и воет. В других отношениях он юноша примерных правил: почтительный, скромный, но за все две тысячи лет, какие он провел у меня, не было ни одной ночи, чтобы он спокойно лежал там, где положено. Приходится в темноте ловить его и насильно загонять в могилу. А он не дается; никакого чувства благодарности у этих субъектов. Однако в других отношениях... Справедливость требует отметить, что это благовоспитаннейший юноша самых лучших правил.

**Питониус.** Ну, что ж! Время не терпит. Может быть, это и есть предок, от которого зависит все мое счастье. Давайте его сюда, дорогой могильщик. Пойдемте к нему.

## ПРОИСШЕСТВИЕ ВОСЬМОЕ

Кладбище. Разверстые могилы, покосившиеся кресты. Мертвенный свет луны. Над крестами летают не то черти, не то летучие мыши. Все громче слышится леденящий душу вой покойника. Впереди по извилистой тропинке крадется могильщик, за ним аудитор.

— Я его спугну, а вы стойте в засаде и ловите. Если упустите, пеняйте на себя... — шепчет могильщик и исчезает между крестами.

Питониус раскрывает личное дело и устанавливает его поперек тропинки.

**Голос могильщика.** Ату, ату!.. Киш!.. Киш!..

Вой нарастает, как будто несется пожарная машина.

В конце тропинки показалась и приближается тень.

Раз, Питониус захлопнул тень двумя створками личного дела и бережно извлек пойманного.

**Питониус.** Отдышитесь, молодой человек. Отдышитесь и удовлетворительно объясните, не являетесь ли вы сорок первым предком Карла Питониуса, которого вы видите перед собой.

**Тень (со стоном).** Да, я и есть ваш сорок первый несчастнейший предок, о Питониус.

**Питониус (с тревогой).** Почему же, однако — несчастнейший? Как прикажете понимать это самое несчастнейший? Надеюсь, вы не запятали нашего фамильного древа, надеюсь, что ваша прижизненная деятельность была, так сказать... Являла... Не противоречила?!

Тень (с искренним молодым чувством). Что касается меня лично, то я могу без страха и стыда глядеть в глаза и вам и любому другому аудитору, который когда-либо существовал или когда-либо будет существовать. Лично я был людоедом.

Питониус. Людоедом? (Подумав.) Что ж, весьма, так сказать, почтенная профессия. Возможно, она несколько вышла из моды. Но мода изменчива. Сегодня носят узкие брюки, завтра — широкие. При вашем почтенном прошлом не вижу никаких причин, чтобы в такой мере убиваться и оглашать окрестности стенаниями. Успокойтесь, молодой человек. Родственно молю вас — успокойтесь и утешьтесь. Советую вам по-отцовски...

Тень (с нервным стоном, перебивает). Не упоминайте при мне этих слов — по-отцовски. Не терзайте мне душу...

Питониус. Простите, я не совсем понимаю. Отец это такое в некотором роде святое слово...

Тень. Оно и для меня было святым, сладкозвучное слово — отец. Было, было, но:

От этой мысли холодеет кровь.

Овидий сам воспел его любовью.

Питониус. Покороче, сударь. Если все людоеды так болтливы, да еще выражаются в стихотворной форме, нечего удивляться предубеждению некоторой части образованного общества против вашей профессии. Выражайтесь покороче и яснее. Имейте в виду, от этого зависит будущее всего нашего рода.

Тень. Первую половину жизни мой батюшка являл пример другим гражданам Вечного города. Он состоял главным экзекутором при священной особе Цезаря Августа... Но все переменялось, и так внезапно... Нет, он не склонялся утомленный над моей колыбелью, и капли благородного пота не орошали моих младенческих ланит...

Питониус. К черту младенческую колыбельку. Подавите вашу дьявольской сентиментальностью. Говорите не о том, чего не было, а о том, что было.

Тень. Мой батюшка полюбил прекрасную Изабеллу и таинственно исчез сразу после свадьбы, в первую брачную ночь, едва прекрасная Изабелла успела зачать меня.

Питониус. Ну и что ж? Конечно, странно, что при столь поспешной работе ваш батюшка успел, так сказать, вложить в вас столько слюнявой сентиментальности. Зачем, однако, эти стенания? Я понимаю, если бы он исчез, не выполнив, так сказать, своих обязанностей. Человечество оказалось бы в выигрыше, но вы лично имели бы право на некоторые нарекания. Но ведь вы родились, черт возьми. Чего вам еще нужно?..

**Тень.** О, лучше б я на свет не появлялся. И в мире нерожденных душ остался... Лучше, в тысячу раз лучше. Когда я вырос, моя мать, прекрасная Изабелла, призналась, что... (Рыдания не дают ему возможность договорить.)

**Питониус.** Дальше, дальше. Хотя я не людоед, а проходил службу по другому ведомству, еще минута, и я сожру вас вместе с вашими тощими костями. В чем она призналась?

**Тень.** Она призналась в том, что в крови ее смешалась кровь цыганская, иудейская и эфиопская!

**Питониус.** О, горе мне! (Падает без сознания. Когда он раскрывает глаза, кругом никого нет. Качаются кресты, завывает ветер, летают черти, удивительно напоминающие летучих мышей). О, горе мне, чудесное творение развеяно как прах, без всякого сомнения. Удар судьбы сразил... Тыфу, черт, я тоже заговорил стихами, как этот паршивый ублюдок. Конечно, положение прескверное, и голова довольно непрочно держится на шее, но в крайности упадать не следует. Надо думать, думать и еще раз думать. Что же мне делать? Может быть, кто-либо из вас был в подобном положении и поможет мне... Молчание, только проклятый вой, и ветер, и шелест летучих мышей. А это что? Бум, бум, бум. Ну, конечно, бьют часы. Время идет, Питониус. Думай, пока не поздно. (Вскакивает.) Ну, разумеется. Выход есть. Я заставлю проклятого магистра отвезти меня в своей «Карете времени» в то самое время, когда мой любезнейший предок начинал куралесить и... Я буду не я, если не сумею расстроить их брак. Говорят, что любовь сильна как смерть. Но смерть в конце концов только смерть, а я, как-никак, аудитор. На стороне этой дамочки, я говорю об Изабелле, будут красота, любовь и прочая чепуха. Но что все это по сравнению с властью? В путь! (Бежит к кладбищенским воротам и сразу возвращается.) Тыфу, я ведь не знаю адреса. (Кричит).

— Тень! Тень! Господин людоед! Заклинаю вас всеми святыми, явитесь еще раз.

**Тень.** Зачем, зачем опять меня зовешь,

Зачем на части сердце мое рвешь...

Зачем...

**Питониус** (лстиво). Довольно симпатичные стишки, но у меня, к сожалению, совсем нет времени. Когда-нибудь мы соберемся за бокалами в уютной могилке, и я буду упиваться вашими творениями до утра. А сейчас мне совершенно необходимо узнать адрес вашего почтенного родителя и местожительство его. Постарайтесь, если возможно, изложить эти сведения прозой.

**Тень.** Жили мы в первом веке нашей эры. В царствование великого Августа.

Сульман мой город родной, ледяными богатый ключами.

Рим от него отстает на девяносто лишь миль,—

это Публий Овидий Назон говорит о нашем родном городе. Насколько я помню, дом отца был рядом с палаццо Овидия.

Питониус. Значит, так: первый век?

Тень. Начало первого века после Рождества Христова.

Питониус. Город Сульман в девяносто милях от Рима?

Тень. В девяносто милях от Вечного города.

Питониус. Спрашивать палаццо Публия Овидия Назона?

Тень. Найти палаццо всадника Публия Овидия Назона, а там каждый укажет жилище отца.

Питониус. А как его звали, вашего родителя?

Тень. Питониус, по прозвищу «Цветущая голова».

Питониус. «Цветущая голова»? Ты уверен? Странное, я бы даже сказал, нереспектабельное прозвище. Но все равно... В путь!

## ПРОИСШЕСТВИЕ ДЕВЯТОЕ

Мчится, мчится аудитор по пустынной ночной дороге. Вот он схватился за хвост то ли летучей мыши, то ли черта и пролетел несколько шагов. Упал, но поднял личное дело как парус и сноза взмыл в воздушные пространства.

Мчится аудитор быстрее бешено стремящих свой бег грозовых туч. «А что, если моего бедного магистра уже... того,—на ходу бормочет он.— До утра я успею перевешать всех служителей, но мне-то что. С первыми лучами утреннего солнца... Брр... не надо думать об этом. Скорее! Скорее!» — подгоняет он ветер.

— Магистра еще не казнили? — на ходу спрашивает аудитор, вбегая в канцелярию.

Служитель. Сейчас как раз заканчиваются приготовления.

Питониус, тяжело дыша, падает в кресло. Кричит:

— Магистра ко мне! Сию же секунду. Без малейшего промедления!

Служители вводят магистра. Питониус встает навстречу ему:

— Ах, дорогой друг! Вы не можете себе представить, как горько вспоминать о том, что происходило недавно. У меня сердце обливалось кровью, когда я видел, как вас, как с вами... как вы... Но что поделаешь — служба, служба!.. Сто раз стон сочувствия замирал у меня на устах... Конечно, вы страдали, но смею уверить, что я страдал больше, потому что у вас душевные страдания



уравновешивались телесными, а у меня эти самые душевные страдания проявлялись в совершенно чистом виде. Как я страдал! Как мы страдали!

Говоря это, Питониус внимательно смотрит на магистра. Лицо магистра выражает задумчивость, затем — сочувствие. Что делаешь, — он доверчив, сердце его отзывчиво!

**Магистр.** Два мышинных хвостика и птичий клюв... Признаюсь, мне не приходила в голову такая точка зрения... э-э... на прошедшие ...события. (Как и аудитор, он избегает выражений, оскорбительных своей прямоотой). Но ваши слова звучат убедительно. В самом деле, возьмем гипотенузу душевного страдания и поделим ее на синус катета физической боли. Что получится? Что получится?

Магистр что-то бормочет, погружаясь в вычисления. Питониус, ловя благоприятный момент, продолжает с еще большим жаром:

— Именно, именно, как вы глубоко поняли меня и как глубоко пожалели в сердце своем! Но оставим это. Оставим все это поскорее, дорогой магистр. Отныне мы будем с вами, как эти — Пастор и Коллукс.

— Кастор и Поллукс, — поправляет магистр.

— Именно, именно. Как приятно иметь дело с человеком, в душе которого сверкают священные слова: Просвещение, Образование и это самое... Четвертование... (В сторону.) Четвертование из другой области, но старый дурак, кажется, не расслышал. Забудем же прошлое и поклянемся дорогими и для меня двумя мышинными хвостиками, что отныне по всем жизненным дорогам мы будем ходить вместе! (В сторону.) Впрочем, на дыбу, когда придет время, ты отправишься сам; каждое правило предусматривает исключения.

Питониус со слезами на глазах обнимает магистра.

— Чем же мы ознаменуем начало столь прекрасной дружбы?! О, я знаю. Мы отправимся в путешествие на твоей Карете времени, дорогой магистр. Сейчас же, пока священный огонь не погас в груди. Мы поедем в древний Рим и полюбуемся величественным обликом Вечного города. Мы остановимся в городе Сульмане и прижмем к груди великого страдальца Овидия Назона. (В сторону.) Надеюсь, я сумею так прижать этого великого страдальца, что он не станет распространяться ни стихами, ни прозой. Молчаливый поэт — это еще терпимо... В дорогу, дорогой магистр. Вашим милым лошадам засыпан в кормушки овес, холки расчесаны и хвосты перевязаны лентами. Все готово. В путь, мой друг. В Рим. В Вечный город!

## ПРОИСШЕСТВИЕ ДЕСЯТОЕ

Катит, подскакивая на ухабах, Карета времени, катит через эпохи и страны.

— Держитесь крепче, господин аудитор,— предупреждает магистр.— Сейчас крутой спуск.

Он изо всех сил натягивает вожжи, лошади с трудом сдерживают тяжелую карету. Все кругом заволочло дымом пожарами.

Питониус (пытаясь заглушить грохот кареты). Какая чудесная иллюминация.

Магистр. Это средние века. На кострах инквизиции жгут еретиков.

Питониус. Поучительно и красиво. И какие ароматы! Бьюсь об заклад, что они прибавляют в огонь ветви можжевельника или что-либо еще в подобном роде. Следует запомнить. Очень плодотворная идея — соединить полезное с эстетическим эффектом.

Мчится, мчится карета.

— А это что? — спрашивает Питоннус, высовываясь из окошка.

Магистр. Это распинают на кресте. Может быть, Христа, а может быть, разбойника — отсюда не видно.

Питониус. Следовало бы спуститься пониже и ознакомиться с техникой распинания. Но времени нет, к сожалению, совсем нет в запасе времени для ознакомления с культурой прошедших эпох... Тпру! Конечно, из-за вашей болтовни мы проехали остановку. Тпру, черт побери. Обратный ход!

Вечный город промелькнул под колесами, и карета плавно опускается на каменную дорогу.

## ПРОИСШЕСТВИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Питониус (выходя из кареты). Уф, устал. Но, в общем, путешествие приятное и поучительное. Значит, мы приехали, дорогой друг?

Магистр. Приехали.

На дорожном столбе стрелка с надписью «ДОРОГА НА ДРЕВНЕРИМСКИЙ ГОРОД СУЛЬМАН».

Питониус (доверительно берет магистра под руку). Значит, мы у цели... Теперь я должен вам, как старому другу, раскрыть душу. Наша поездка носит характер дружественный, познавательный, но и преследует немаловажную практическую цель.

Магистр. Практическую?

**Питониус.** Именно практическую. Мы должны расстроить брак двух древнеримских влюбленных.

**Магистр.** Расстроить брак? Но ведь любовь так прекрасна!

**Питониус** (стараясь скрыть раздражение). Вообще вы, конечно, правы. Но в данном случае любовь может привести к не совсем прекрасным последствиям. Уж поверьте мне.

**Магистр.** Разлучить влюбленных? Но как? Любовь сильна, как смерть!

**Питониус.** Вздор, дорогой друг. Впрочем, вы разделяете это заблуждение со многими. «Любовь сильна, как смерть». Разве вы не чувствуете, что силлогизм построен с нарушением законов логики. «Сильна, как смерть». А разве смерть так уж могущественна? Попробуем, например, доказать, что «Смерть сильнее аудитора». Возможно это? Конечно, нет. Во-первых, смерть неизменно является по приказу аудитора. Забудем прошлое, но при других условиях вы сами могли бы это подтвердить. Значит, она, то есть смерть, находится в состоянии подчиненности аудитору. Во-вторых, смерть управляет человеком только один миг, а аудитор оказывает решающее влияние от первого вздоха и до последнего. Вот родился человек. Допустим, это Кай Юлий Цезарь или Александр Македонский. И допустим, что после рождения к человеку не была приложена большая аудиторская печать. Что получится в таком случае? Кай Юлий Цезарь командует: первая колонна марширует туда, вторая колонна марширует сюда. А самый ничтожный писаришка вдруг возьми и спроси: «Кто вы, собственно, такой? Где печать, удостоверяющая, что вы именно такой, а не сякой? Не пройти ли нам в соответствующее учреждение... Там разберутся». Спросите образованного человека, верит ли он в существование Юпитера или Зевса. Образованный человек пожмет плечами. Значит, и бог без приложения печати недействителен. Даже Громовержец. Что же говорить о людях? Итак, аудитор сильнее смерти. Смерть сильна, как любовь. Эрго, аудитор сильнее любви.

**Магистр.** Да... Конечно... Но... Все-таки...

Магистр и аудитор идут по дороге. Карета следует за ними. Из-за поворота показывается очаровательная римлянка и, ломая руки, бросается к аудитору:

— Ради всех богов, спасите. Кони взбесились и понесли, я упала с колесницы и осталась совсем одна на этой ужасной дороге, где толпами бродят варвары. Сжальтесь надо мною!

Римлянка очень мила. Смутный цвет кожи придает прелестному личику еще большее очарование. Из огромных черных глаз льются слезы, способные растопить камень.

**Магистр.** Карета к вашим услугам!

**Питониус** (шепчет на ухо магистру). Вы даже не спросили, кто она такая, дорогой друг. Подобная доверчивость непростительна.

**Магистр.** Совершенная красота может быть дарована только благороднейшему сердцу.

**Питониус.** Вздор, дорогой друг. Барышня пикантна. Не будет преувеличением сказать даже, что она очаровательна, но красота красотой, а...

Впрочем, очевидно, прелесть девушки тронула и аудитора. Не окончив фразы, он открывает дверцы кареты и помогает девушке подняться по ступенькам.

## ПРОИСШЕСТВИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Карета останавливается перед прекрасным палаццо на окраине города Сульмана. Девушка нежно попрощалась со своими спасителями:

— Я никогда не забуду вас, Питониус, и вас, магистр. Благодарность навеки свила гнездо в моем сердце.

Сказала и упорхнула. Магистр и аудитор остались на дороге.

**Магистр.** Если бы я был моложе, два мышиных хвостика и птичий клюв в остатке. Если бы я был чуть-чуть моложе... (Вздыхает.)

**Питониус** (резниво). Любовные вздохи просто... просто смешны в вашем возрасте, дорогой друг. Барышня очаровательна, но какое вам дело до этого. Занимайтесь, черт возьми, своими мышиными хвостиками и поглядывайте за каретой. Остальное вас не касается.

Девушка еще раз показалась в окне. Улыбнулась, послала воздушный поцелуй и скрылась.

## ПРОИСШЕСТВИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Залитая луной ослепительная древнеримская ночь. Одурающие ароматы наполняют воздух. Питониус и магистр спят под зелеными пиниями, рядом с каретой.

Аудитор ворочается, вскрикивает, стонет во сне. Бормочет: «О дорогая, дай прижаться к прохладным твоим устам».

Магистр просыпается. Обеспокоенно спрашивает:

— Что с вами? Вы не заболели?

**Питоннус.** Не знаю, не знаю... У меня все жжет и горит вот тут. Вы ученый человек, скажите мне, что это значит. Скажите скорее, иначе я умру...

**Магистр.** Тут жжет? Гм... но это область сердца. И во сне вы повторяли имя Изабеллы. Боюсь, боюсь, что вы влюблены.

**Питоннус.** Ха-ха-ха-ха! (Смех его звучит неестественно.) Влюблен? Ха-ха, какой вздор. Какой нелепый вздор... Но она действительно прекрасна, эта Изабелла. (Вскакивает и бежит возле кареты.) Влюбленный аудитор? Где вы видели влюбленного аудитора. И все-таки она, так сказать, неотразима. Боже мой, у меня все перемешалось в голове и все горит. Что мне делать? Скажите, дорогой магистр, как мне поступить?

**Магистр** (мягко). Если все действительно так серьезно, вы могли бы рассказать о своих чувствах этой девушке.

**Питоннус.** Чувства, чувствам, о чувствах. Какой вздор вы мелете, любезнейший. Не забыли ли вы, с кем имеете дело? Ха-ха, чувства... И потом, я не знаю, как это, так сказать, признаются в своих чувствах. Все горит в сердце, все перемешалось в голове, но как об этом рассказать?..

**Магистр.** Не волнуйтесь и не убивайтесь. Насколько я помню, при любовных признаниях применяются музыкальные инструменты — гитара, по преимуществу, и стихотворная форма изложения. Когда-то я и сам знал премиленькие любовные песенки, мадригалы и сонеты. Но все стерлось в памяти.

**Питоннус.** «Когда-то». А мне нужно сейчас! Сейчас! Умоляю вас, пошевелите своими пронафталиненными мозгами и вспомните хоть что-нибудь.

**Магистр.** Я и стараюсь. Но это было так давно, и время так беспощадно. Помню, в одном превосходном поэтическом произведении рифмовалось «роза» и «мороза». Но что было в середине? И потом вы имеете дело с Изабеллой, а не Розой.

**Питоннус.** Не можете помочь, ну и дьявол с вами! Постойте, постойте. Что-то рождается у меня само. Роза, мороза.., Изабелла. (Напевает.)

Встань, проснись, Изабелла..

Встань, проснись, Изабелла..

## ПРОИСШЕСТВИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Залитое луной палаццо. Под балконом аудитор, задрапированный в плащ. Поет, аккомпанируя себе на гитаре:

Встань, проснись, Изабелла,  
Видишь, солнышко село,  
Мы рассмотрим на деле  
Вопросы Любви...

Изабелла (полуодетая, подбегает к раскрытому окну. Испуганно спрашивает). Кто там?

Питониус поет и играет на гитаре.

Изабелла. А, это вы?... Вы всех разбудите. Не сходите с ума, мой дорогой.

Питониус. К сожалению, это не в моей власти.

Изабелла. Что вы хотите сказать?

Питониус. Только то, что я влюблен в вас, о несравненная Изабелла! Мое счастье и жизнь в ваших руках...

Изабелла. Влюблены? Предлагаете мне руку и сердце? Я вас правильно поняла?

Питониус (после некоторого колебания). Да, правильно. Именно. Именно, руку и, так сказать, сердце.

Изабелла. Но в карете вы дали понять, что придерживаетесь самых строгих правил. А теперь эта любовь с первого взгляда... И вы даже не спрашиваете о моих родственниках...

Питониус (с тревогой). Да, родственники... Впрочем, если в трех-четырех поколениях нет ничего такого, я бы примирился... Всего три-четыре поколения, моя дорогая. О, не разбивайте мне сердца...

Изабелла. К сожалению, я тут ничем не могу помочь. Мой дед был эфиоп...

Питониус (в ужасе повторяет). Эфиоп...

Изабелла. Моя бабушка с отцовской стороны цыганка...

Питониус (эхом). Цыганка...

Изабелла. Второй мой дед — иудей.

Питониус. Иудей...

Изабелла. А вторая бабушка — римлянка, но поклонялась языческим богам, Юпитеру и Зевсу.

Питониус пятится. При последних словах Изабеллы, схватившись за голову, он бежит с леденящим душу воем.

В тембре его голоса и в поведении можно заметить фамильное сходство с Питониусом сорок первым, тень которого являлась на кладбище.

## ПРОИСШЕСТВИЕ ПЯНАДАЦАТОЕ

Светит луна. По-прежнему у кареты под зелеными линиями спит магистр. На губах его блуждает улыбка. Вдалеке раздается вой.

Вой усиливается, и появляется Питониус. Одежда его в беспорядке. Он мертвенно бледен.

Питониус. А, вы изволите дрыхать. Друг, который столько сделал для вас, погибает, а вы дрыхнете...

Магистр (приподнимаясь, с той же нежной улыбкой). Мне снилась музыка сфер, божественная музыка сфер, и вдруг раздался пронзительный звук. Вероятно, комета пронеслась через небесную гармонию.

Питониус. К дьяволу небесную гармонию. Ваше бормотанье еще хуже стихов. Это не комета, а я. Спутать комету с аудитором, тысяча чертей, и вы еще смеете называть себя ученым...

Магистр. Это вы?.. Но почему вы так бледны, и ваша одежда в беспорядке? Что случилось?

Питониус. Он еще спрашивает! Все погибло, магистр. Все погибло, и сердце истекает кровью. Я чувствую себя так, будто меня морально вздернули на дыбу и клещами рвут ногги.

Магистр. Да, насколько я помню, все это создает не совсем приятные ощущения.

Питониус. «Насколько вы можете вспомнить». Ха-ха-ха-ха. Вам терзали смертное тело, а мне душу. Между прочим, я сорок лет даже не подозревал, что эта самая душа во мне имеется. Она вела себя в высшей степени тактично при самых различных обстоятельствах. И вдруг... И вдруг... О, я несчастнейший из несчастных!

Магистр. Но что случилось?

Питониус. Брак с прекрасной Изабеллой невозможен.

Магистр. Почему?..

Питониус. Она призналась, что дед ее эфиоп, другой дед иудей, а бабки — цыганка и язычница.

Магистр. Успокойтесь, мой друг, подумаем. Косинус, умноженный на тангенс. Есть. Язычницу исключим; мы же в самом начале первого века, и христианство еще не в моде.

Питониус. Все равно три четверти больше, чем одна четверть.

Магистр. Да, три четверти больше, чем одна четверть... Но... Но... Вы действительно любите Изабеллу?

Питониус. Действительнее и быть не может. Люблю, так сказать, как сорок тысяч братьев любить не могут!

**Магистр.** Тогда пойдите к ней и скажите, что любовь не знает преград.

**Питониус.** Пойти и сказать: «Любовь не знает преград»? А что, если в самом деле пойти и сказать?

## ПРОИСШЕСТВИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Изабелла у окна. Под окном Питониус.

**Изабелла.** Я очень тронута вашими словами, дорогой Питониус. Но все-таки одну претраду любовь знает.

**Питониус.** Взор. Не будете же вы спорить с таким ученейшим человеком, как магистр, а он положительно утверждал, что любовь не знает преград. И я тоже говорю, к черту ваших проклятых предков, к дьяволу. Забудем о них, Изабелла.

**Изабелла.** Я не о предках...

**Питониус.** Не о предках?..

**Изабелла.** Что вы сейчас чувствуете, милый Питониус?

**Питониус.** Тут у меня горит (прижимает руку к сердцу), а тут все смешалось (кладет ладонь на лоб).

**Изабелла.** Тут горит, а тут все смешалось? А что делать, если у меня тут холодно, как на леднике, а тут все в порядке, как в только что убранной комнате? Прощайте, Питониус! (Уходит.)

**Питониус.** Не исчезайте. Не убивайте меня. Сжальтесь, прекрасная Изабелла. Я буду ждать. Скажите, что вы когда-нибудь сможете полюбить меня. Хотя когда-нибудь.

**Изабелла** (останавливаясь). Я вас полюблю тогда... тогда, когда на вашей железной голове вырастут ромашки.

Дверь закрылась. Питониус остался один.

— Тогда, когда на вашей железной голове вырастут ромашки,— убитым голосом повторил Питониус.— Но как им вырасти? Это же антинаучно. О, я несчастный!

## ПРОИСШЕСТВИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

Пинии. Карета. Спящий магистр.

**Питониус** (появляясь из глубины леса).

Опять дрыхнет, когда друг его гибнет. Можно ли после этого верить, что на свете существует благородство. Спит и, судя по выражению лица, просматривает розовые сны с благополучными концами. Вставайте, магистр, иначе... (Забыв, где он, кричит). Дыбу!.. Ключи... Испанский салог!.. (Опомнившись, тише). Вставайте, дорогой друг...



Магистр (просыпаясь). А мне снилось, что вы и Изабелла идете под венец. Я был так счастлив, так рад за вас...

Питониус. Как же, под венец... Она сказала, что будет моей, только когда у меня на голове вырастут ромашки...

Магистр (думает). Этому горю не трудно помочь.

Поднимается. Берет из кареты лопатку и садовую лейку. Переворачивает крышку, которой покрыта голова Питониуса. Насыпает в углубление землю. Выкапывает из травы ромашки, пересаживает их и тщательно поливает.

## ПРОИСШЕСТВИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Роскошная спальня освещена бронзовыми ночными светильниками. Спит Изабелла. Рядом с ней на подушке голова Питониуса.

— Итак, все кончено,— еле слышно говорит Питониус.— Я приехал в древний Рим, чтобы расстроить брак, и вместо этого... Ах, что я наделал, что я наделал! Изабелла родит второго Питониуса, тот третьего Питониуса, этот четвертого, пока не появится Карл Фридрих Питониус, аудитор десятого класса, которому никогда уже не стать аудитором девятого класса. Что делать? Что делать? Сегодня ночью магистр уезжает обратно в своей карете. Поехать вместе с ним? Но как я расстанусь с Изабеллой? О, обожаемая Изабелла!.. Нет, я все-таки должен уехать... Но что ждет меня там? Позор, бесчестье... Все равно...

Питониус поднимается. В колпаке, ночной рубашке и туфлях выскальзывает из спальни. На пороге останавливается:

— О Изабелла, о моя любовь! Жребий брошен.

Исчезает.

Спит, разметалась во сне, улыбается, что-то шепчет прекрасная Изабелла. А из-за окна слышен удаляющийся цокот копыт.

## ПРОИСШЕСТВИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Сводчатый подвал канцелярии. Питониус — он по-прежнему в ночном колпаке и рубашке — раскрывает личное дело на странице, где написано: ПРЕДОК НОМЕР СОРОК ДВА.

Питониус. Так печально заканчивается этот труд, который я хотел

сделать прекраснейшим творением на земле. Все кончено. Все кончено, прекрасная Изабелла.

Пришивает себя скоросшивателем. Магистр бросается на помощь, но слабым движением руки Питониус останавливает его:

— Не мешайте, дорогой друг. Окажите мне последнюю услугу, напишите вот тут: **ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ АУДИТОРА.**

Магистр пишет. Слезы каплют у него из глаз.

Питониус. Написали? Теперь приложите печать, иначе никто не поверит этому. Нет, нет, печати не нужно. Итак, прощайте, магистр, прощай, прекрасная Изабелла, прощайте все и помните — **ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ АУДИТОРА.**

Умирает.

Темнеет, и изображение аудитора теряется в темноте, зато все ярче выступает, горит светящаяся надпись:

**ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ АУДИТОРА!**

## ЭПИЛОГ

Музей восковых фигур. Колеблющийся свет свечей падает на Марию-Антуанетту, Наполеона, Нерона, любующегося Римом, который охвачен неподвижным восковым пламенем.

Мастер и профессор медленно идут по проходу между фигурами.

Мастер. Сколько прошло времени с тех пор, как вы были у меня последний раз? Год, секунда, вся человеческая жизнь? Да какое это имеет значение? Время остановилось тут; для настоящей Тонкой Восковой Работы оно совершенно излишне. Они стоят здесь в полной тишине и в полном покое — аудиторы, императоры, палачи, мученики и могут на свободе до конца решить и продумать все то, чего не успели решить и продумать, когда они еще не были восковыми фигурками. Ш-шш, не будем мешать им.

Медленно, задумчиво идут мастер и профессор по проходу между стенами длинного узкого зала музея.

— Да, и он вернулся к нам, аудитор десятого класса, Карл Фридрих Питониус, который кончил самоубийством при помощи скоросшивателя, пришив себя к собственному личному делу. Какая величественная, вполне современная и абсолютно оригинальная смерть, не правда ли, господин профессор?

Они остановились перед личным делом, раскрытым на сорок второй странице, где в вечном восковом покое лежит Питониус.

— Любовь сильнее аудитора, — вслух перечитывает профессор надпись, пересекающую лист.

**Мастер.** Да, да, это были последние его слова. Видите, восковое искусство не терпит ошибок. Я уже стар, руки дрожат, и прибавил лишнюю каплю воображения. Одна-единственная лишняя капелька, господин профессор, изменила судьбу Питониуса... И магистра я больше не увижу. Мчится мой милый магистр в Карете времени, и ищет, ищет чего-то.

Меркнет свет, промчалась карета, запряженная тремя конями — синим, желтым и зеленым.

Магистр, сидя на облучке, натягивая вожжи, бормочет:

— Синус косинуса, помноженный на тангенс гипотенузы, получается два мышинных хвостика и птичий клюв в остатке.

**Мастер.** ...Вам не показалось, что кто-то?.. В некотором роде... Как будто бы... Вы не видели ничего такого?

**Профессор.** Нет... Успокойтесь... Все тихо, все как обычно. Да и что бы могло перемениться тут у вас, в восковом царстве.

Снова все спокойно, мерцают свечи.



## КАМЕНЬ

**В**олна с шорохом пробежала наискось по песчаному берегу, разрушив все, что создал человек. Но человек был неутомим. Снова и снова начинал он свой упорный труд, пока следующая волна не выскакивала на берег, размывая возведенные им песчаные стены.

Человек вытер грязные ладошки о трусы и огляделся. Так далеко от дома он еще никогда не заходил. Белые домики крохотного поселка отсюда не были видны за изгибом берега. Человек смутно подозревал, что если бы не это обстоятельство, мама давно бы прогнала его от воды и заставила надеть сандалии. Сейчас сандалии валялись на песке, и к ним с тихим шипением подбиралась очередная волна.

Солнце еще не успело подняться высоко, и полосатая тень гигантского радиотелескопа лежала на желтом песке, как шкура огромного тигра. Решетчатые уши радиотелескопа были нацелены на невидимую в свете дня звезду, на которой, как говорил папа, тоже живут люди, и посылают к соседним звездам свои радиопризывы.

Папа говорил, что это очень интересно — искать во вселенной голоса братьев по разуму. Правда, ему еще ни разу не удалось найти их. Это его огорчало, но он утешался тем, что слушал, как шепчут звезды. Оказывается, звезды тоже умеют разговаривать. Папа говорил, что у каждой звездочки свой голос — у одной нежный, как колокольчик, у другой ворчливый, у третьей тоненький, как у надоедливого комара,

Папа любил рассказывать про людей, живущих на далекой звезде. Он говорил, что они красивые, умные, добрые. Они знают много хороших песен и удивительных волшебных сказок. Солнышко у них не такое яркое, как у нас, и поэтому глаза у людей большие-большие.

Иногда папа брал его с собой на дежурство. В чистом белом домике было очень интересно. Везде горели разноцветные огоньки, бегали по приборам стрелки, кто-то огромный печально вздыхал за стеной. Но всего интереснее был большой рыжий пес, который всегда лежал в тени у крыльца, свесив набок красный мокрый язык. У пса было звучное имя — Электрон, и он умел громко-громко стучать хвостом по земле, когда ему протягивали кусочек сахара.

Новая волна с шипением вынеслась на берег, довершив разрушение с таким трудом возведенной постройки.

Но человек не огорчился. Неукротимый дух исследователя звал его вперед и вперед. Он побрел по песку, оставляя смешные маленькие следы, которые быстро таяли, превращаясь в ямки, наполненные соленой водой.

Один из камней показался ему подходящим для новой постройки. Человек с трудом поднял его и долго нес по берегу, высоко поднимая ноги, когда расшалившиеся волны щекотали ему ступни.

Облюбовав подходящее место, он бросил камень и стал старательно захпывать его в мокрый песок. Затем отыскал несколько камней поменьше и пристроил их рядом. На песке появились очертания диковинного замка, который фантазия строителя уже заселила разбойниками, зверями, бармалейми и снегурочками.

Злая взъерошенная волна с разбега ударила в стены замка и бессильно упала на песок. Еще и еще раз бросилась она вперед, но каменные стены были несокрушимы. Сердито бормоча, волна съежилась и уползла в море.

Пока шла работа, солнце поднималось и поднималось. Полосатый тигр потихоньку уполз на обрыв, под самые основания антенн, незаметно поворачивающихся вслед за далекой звездой. Воздух стал неподвижным, песок — горячим.

Постепенно работа замедлилась. В знойном воздухе руки двигались вяло и неуверенно. Все чаще грязный кулачок поднимался к глазам, стирая с них что-то невидимое и липкое. Но постройка была почти готова. Требовался последний завершающий штрих.

Человек оглядел берег. Неподалеку лежал овальный черный камень, обросший зеленым мхом. Человек поднял его и осмотрел. Камень ему понравился. Зачерпнув из ямки воды, он стал старатель-

но прогнать плоскую, будто срезанную ножом поверхность камня. И под рукой у него камень засветился. В воздухе, напоенном жаром южного солнца, прозвучали строгие и грустные аккорды.

Камень стал почти прозрачным, и в нем зажглись и поплыли красные, синие, зеленые волны. Они дрожали, расплывались, сворачивались в узоры, недоступные пониманию маленького человека, который пробудил их к жизни после миллионлетнего сна.

Малыш пристроил камень поудобнее на коленях и смахнул с него последние песчинки. Цветные спирали вздрогнули и оборвались, и в потемневшей глубине камня замигали звезды. Возникли здания неведомой архитектуры. Аккорды стали мягкими и баюкающими. Камень снова засветился, и в нем появилось умное, задумчивое лицо человека со странными большими глазами, которые занимали почти половину лица. Он что-то говорил, наверное рассказывал телевизионную сказку, но солнце горело так жарко, а веки стали такими липкими, что слушать его не было никакой возможности...

Потом на лицо спящего мальчика упала тень. Высокий человек постоял над малышом, обнимавшим овальный черный камень, одна сторона которого была срезана как ножом. Потом засунул в карман комбинезона подобранные на берегу мокрые сандалии и поднял сына на руки. Черный камень упал на берег у самой воды. Набежавшая волна бросила на него горсть песка. Было так жарко, что весь мир казался заснувшим — и солнце в вышине, и ленивые теплые волны, и причудливые переплетения антенн над морем. Но тот, кто шел по берегу со спящим ребенком на руках, знал, что антенны никогда не спят — днем и ночью они ищут в пространстве голоса неведомых друзей и когда-нибудь обязательно найдут их.





## ТЕЛЕФОН



Н

а столе пронзительно зазвенел телефон. Я поднял трубку.

В этот момент внутри аппарата что-то брякнуло. Не прерывая разговора, я потряс телефон. В нем перекатылся какой-то предмет.

Телефон был совсем новый — беспроводной аппарат новейшей модели с громкоговорящей приставкой и экраном. «Только поставили, и уже что-то отвалилось», — недовольно подумал я, нащупывая в ящике стола отвертку.

Закончив разговор, я отвернул нижнюю крышку аппарата. На ладонь мне выкатилась двухкопеечная монета.

— Ну и ну, — подумал я, устанавливая крышку на место и недоумевая, кому понадобилось засунуть монету в новый аппарат.

Воскресная улица встретила меня ранней июньской жарой. Через несколько минут я изнемогал от жажды.

На углу около тележки с зонтиком толпилась очередь за газировкой. Я стал в хвост очереди, нашаривая в карманах мелочь. Как нарочно, ее не оказалось. Только монета, извлеченная из телефона, сиротливо ютилась в уголке кармана.

Толстая тетя в белом переднике лениво цедила воду. Очередь продвигалась медленно.

— Два без сиропа, — сказал я, положив монету на мокрое блюдечко и протягивая руку к стакану.

— Гражданин! — вдруг сказала продавщица высоким голосом, придерживая стакан с пузырящейся водой, который я собирался взять. — Фальшивые деньги не принимаем!

— Что такое? — удивился я. Очередь с любопытством переглянулась. Продавщица сунула мне монету обратно.

— Постыдились бы! — процедила она и, не удастая больше меня вниманием, протянула стакан следующему.

Я машинально взял монету, еще не решив, обрушиться ли с негодованием на наглую продавщицу, разменять ли пятерку и взять воду с сиропом или апеллировать к очереди. Но в ту же секунду все эти проекты выскочили у меня из головы. Монета действительно была фальшивая!

Я что-то пробормотал в свое оправдание и, провожаемый насмешливыми взглядами, отошел в сторону, чтобы как следует рассмотреть свою находку.

Блестящий желтый кружочек, лежавший у меня на ладони, почти ничем не отличался от двухкопеечной монеты — ничем, кроме изображения на лицевой стороне, той самой, которую называют «решеткой» или «решкой». Оно было вывернуто наизнанку! Наверное, так должен был выглядеть штамп для изготовления металлических денег.

Монета была зеркальным отражением настоящей монеты, но только с одной стороны. Обратная сторона с гербом была совершенно правильная.

Разменяв деньги в ближайшем магазине, я тщательно сравнил свою монету с настоящей. Ни размерами, ни цветом, ни блеском они не отличались. Для чего-то я попробовал удивительную монету на зуб и чуть не лишился его.

Дома я продолжил исследования. Сделав на пластине оттиск с монеты, я изучил его через лупу, но не нашел никаких отклонений от нормы. Большая цифра 2, буквы, год выпуска — все совпадало. Я взвесил монеты на лабораторных весах, поскреб их ножом, капнул кислотой — никакой разницы. Немудрено, что я сразу не обратил внимания на особенность монеты. Для этого нужен был наметанный глаз продавщицы.

Я не мог догадаться, как монета попала в телефон. Перебрал все возможные и невозможные варианты. Вот таинственный фальшивомонетчик, застигнутый на месте преступления, прячет улику — драгоценный штамп в телефонный аппарат. Но фальшивомонетки вывелись десятки лет назад. Да это и не штамп — он наверняка делается из металла попрочнее, например из стали. И зачем делать на штампе правильное изображение обратной стороны? К тому же, нелепо подделывать две копейки. Уж если штамповать, так рубли или хотя бы полтинники.

Одним словом, дедуктивный метод, хорошо изученный в детстве по «Воспоминаниям о Шерлоке Холмсе», мне не помог.



Я решил отнести редкую диковинку в клуб нумизматов — там разберутся лучше меня.

Но тут я вспомнил, какими взглядами провожала меня очередь. Было очевидно, что меня поднимут насмех, если я попытаюсь рассказывать о необыкновенной монете, найденной в телефонном аппарате. Сам я никогда бы не поверил.

Машинально я поднял телефон и потряс его. Внутри раздался стук.

Я схватил отвертку. На стол со звоном выкатились три новенькие монеты...

Хотя по специальности я не связист, я все же считал, что могу исследовать внутренность аппарата. Увы, никаких отклонений от схемы обнаружить не удалось. Аппарат был как все другие, — не лучше и не хуже.

Для детального исследования монет мне пришлось отправиться в институтскую лабораторию. Как всегда по воскресеньям, она была закрыта, и я с трудом уговорил вахтера выдать мне ключи. Но ни спектральный анализ, ни рентгенограмма, ни другие точнейшие методы не обнаружили разницы. Монеты были совсем как настоящие — только у трех была отштампована наизнанку лицевая сторона, а у четвертой — оборотная.

Возня в лаборатории заняла остаток дня.

Вернувшись домой, я сразу бросился к телефону. Но сколько я ни тряс его, монет не было. Не было их и в понедельник утром. Однако вечером после работы я извлек из аппарата сразу пятнадцать монет.

На следующее утро я позвонил в институт и сказал, что заболел. Мне хотелось понаблюдать за появлением монет. Но телефон вел себя так, как и подобает телефону. Я звонил знакомым, они, в свою очередь, звонили мне — монет не было. Их не было, когда я включал громкоговорящую приставку или вел разговор через трубку. Их не было, когда я пользовался экраном и когда обходился без него.

Первая монета выкатилась из аппарата около трех часов дня.

Потом в течение десяти минут появилось четыре монеты. В половине шестого — еще две. Между восемью и девятью часами вечера я насчитал их сорок три штуки. Последняя монета выпала без пяти минут девять.

Я разложил свои трофеи на столе. Тридцать пять легли вверх орлом, тридцать четыре — решкой. Влияние теории вероятности было налицо.

К тому времени я уже догадался, что стою на пороге эпохального открытия. До сих пор о проблемах передачи вещества по

радио всерьез писали только фантасты. Одни авторы называли это мультранспортировкой, другие — надсубстанционным квази-переходом. Названия были явно неудачные. Я решил, что назову свою будущую статью «Исследование процессов телепересылки на молекулярном уровне». Телепересылка — это звучало неплохо.

На следующий день, придя на работу, я вооружился радиоспирометрами. Надо было ставить исследования на научную основу. К концу рабочего дня схема регистрационной приставки с омегаиндикатором и двенадцатиканальным самопишущим осциллографом вчерне была готова. Домой я помчался на такси, чтобы проследить за появлением монет.

Около моего подъезда толпились люди. Все кричали одновременно, и я не смог расслышать, что объяснял молоденький милиционер.

— В чем дело? — потянул я за рукав какую-то женщину, которая, судя по ее энергичной жестикуляции, была вполне в курсе дела.

— Жулика ловят! — затараторила та, обрадовавшись слушателю. — Телефон-автомат ограбил. И ведь как — по-научному, по радио! А сейчас заперся и не открывает. — Она гкнула в сторону моих окон. — Вон там, на третьем этаже. Ему стучали, стучали...

Что она говорила дальше, я уже не слышал. Перед моими глазами возникла картина, от которой по спине побежали мурашки: милиционер входит ко мне в квартиру, где на столе рядами разложены десятки двухкопеечных монет... Меня ведут под стражей через толпу соседей, сажают в автомобиль с решетками на окнах, надевают наручники... Я повернулся и спотыкаясь побрел подальше от дома.

Вернулся я поздно, когда на улице было уже темно. «Будь что будет, — решил я. — Пусть забирают».

Возле дома никого не было. Я медленно поднялся по слабо освещенной лестнице. У двери меня тоже никто не ждал. Но войти почему-то не хотелось. Помедлив, я достал из кармана ключ, и вдруг услышал чье-то всхлипывание.

У дверей соседней квартиры темнела небольшая фигурка. Это был соседский Колька — мой хороший приятель, ученик шестого класса, лучший футболист двора и председатель кружка юных радиолюбителей.

— Что с тобой? — спросил я. Колька поднял заплаканное лицо.

— Отец... выпорол... — проговорил он и снова всхлипнул.

— Что ж ты натворил? Разбил что-нибудь? Или получил двойку? Колька помотал головой, растирая рукавом слезы.

— За что же тогда?

— За телефон...— буркнул Колька.

Неожиданная догадка блеснула в моей голове.

— Что ты сделал с телефоном? — почти закричал я, хватая парнишку за плечи.

— Я сделал к нему приставку... Для индукционной зачалки... Мы проходили в школе... Хотел отдать на выставку. Ну, и перестроил контура в телефоне. Три дня делал опыты. А сегодня пришли и говорят — в автоматах монеты пропадают...

И бедный парнишка снова залился в три ручья.

— Колька, покажи скорей мне свою приставку! Где она? — завопил я на всю лестницу.— Кто у тебя дома?

Но Колька попятился от двери.

— Сломал...— выдавил он. Ему было очень жалко своего погибшего изобретения.— Отец все сломал...

Статья «Исследование процессов телепересылки на молекулярном уровне» так и осталась ненаписанной. Уговорить Кольку восстановить аппарат не удалось — он отказался наотрез. Очевидно, воспоминание об отцовской порке оказалось очень сильным. Он заявил, что ничего не помнит, так как строил аппарат без чертежей.

После экзаменов Колька уехал в пионерский лагерь. Когда он вернется, я попробую уговорить его. Надо будет привлечь к этому делу Академию наук. Быть может, шестьдесят девять монет-перевертышей и акт телефонной станции убедят ученых, что я не выдумал всю эту историю.



# **Зарубежная фантастика**

■ ■ ■ ■

Клиффорд  
Д. Саймак



## ФАКТОР ОГРАНИЧЕНИЯ

**В** начале были две планеты, начисто лишенные руд, выработанные, выпотрошенные и оставленные нагими, словно трупы, обглоданные космическим вороньем.

Потом была планета с волшебным городком, навещающим на мысль о паутине, на которой еще не высохли блестящие росы,— царство хрустали и пластика, исполненное такой чудесной красоты, что при одном взгляде щекотало в горле.

Однако город был только один. На всей планете, кроме него, не видно было никаких признаков разумной жизни. К тому же он был покинут. Исключительной красоты город, но пустой, как хихиканье.

Наконец, была металлическая планета, третья от Светила. Не просто глыба металлической руды, а планета с поверхностью — или крышей — из выплавленного металла, отполированного до блеска ярких стальных зеркал. И, отражая свет, планета сверкала, точно второе солнце.

— Не могу избавиться от ощущения,— проговорил Дункан Гриффит,— что это не город, а всего-навсего лагерь.

— По-моему, ты спятил,— резко ответил Пол Лоуренс. Рукавом он утер со лба пот.

— Возможно, выглядит он не как лагерь,— настойчиво твердил Гриффит,— но это все же временное жилье.

Что до меня, то он выглядит как город, подумал Лоуренс.

И всегда так выглядел, с того мгновенья, как я увидел его впервые, и всегда так будет. Большой и пронизанный жизнью, несмотря на атмосферу сказочности,— место, где можно жить, мечтать и черпать силы и смелость, чтобы претворять мечты в жизнь. Великие мечты, думал он. Мечты под стать городу — такому городу, что людям на сооружение подобного понадобилась бы тысяча лет.

— Единственное, что мне совсем непонятно,— сказал он вслух,— причина такого запустения. Здесь нет и следов насилия. Никаких признаков...

— Жители покинули его добровольно,— отозвался Гриффит.— Вот так, просто, снялись с места и улетели. И, очевидно, потому, что этот город не был для них настоящим домом, а был всего лишь лагерем, не оброс традициями, не окутался легендами. А лагерь не представлял никакой ценности для тех, кто его выстроил.

— Лагерь,— упрямо возразил Лоуренс,— это всего лишь место привала. Временное жилье, которое воздвигается наскоро и где, по возможности, подручными средствами оборудуется комфорт.

— Ну и что? — спросил Гриффит.

— Здесь был не просто привал,— пояснил Лоуренс.— Этот город сколочен не кое-как, не на скорую руку. Его проектировали с дальним прицелом, строили любовно и тщательно.

— С человеческой точки зрения, бесспорно,— сказал Гриффит.— Но здесь ты столкнулся с нечеловеческими категориями и с нечеловеческой точкой зрения.

Присев на корточки, Лоуренс сорвал травинку, зажал ее зубами и принялся задумчиво покусывать. То и дело он косился на молчаливый, пустынный город, сверкающий в ослепительном блеске полуденного солнца.

Гриффит присел рядом с Лоуренсом.

— Как ты не понимаешь, Пол,— заговорил он,— ведь это временное жилье. На планете нет никаких остатков старой культуры. Никакой утвари, никаких орудий труда. Здесь вел раскопки сам Кинг со своими молодцами, и даже он ничего не нашел. Ничего, кроме города. Подумай только: совершенно девственная планета и город, который может пригрезиться разве что расе, существующей не менее миллиона лет. Сначала прячутся под деревом во время дождя. Потом забираются в пещеру, когда наступает ночь. После этого приходит очередь навеса, вигвама или хижины. Затем три хижины, и вот тебе селение.

— Знаю,— сказал Лоуренс.— Знаю...

— Миллион лет развития,— безжалостно повторил Гриффит.— Десять тысяч веков должны пройти, прежде чем раса научится воздвигать такую феерию из хрусталя и пластика. И этот миллион

проходил не здесь. Миллион лет жизни оставляет на планете шрамы. А здесь нет даже их подобия. Новенькая, с иголки, планета.

— Ты убежден, что они прибыли откуда-то издалека, Дунк?

Гриффит кивнул:

— Должно быть, так.

— Наверное, с планеты Три.

— Этого мы не знаем. Во всяком случае, пока не можем знать.

— Скорей всего никогда и не узнаем,— пожал плечами Лоуренс и выплюнул изжеванный стебелек.

— Эта планетная система,— заявил он,— похожа на неудачный детективный роман. Куда ни поворачиваешься, натыкаешься на улику, и все улики страшно запутаны. Слишком много загадок, Дунк. Этот город, металлическая планета, ограбленные планеты — слишком много всего в один присест. Нечего сказать, повезло — набрали на уютное местечко.

— У меня есть предчувствие, что все эти загадки между собой связаны,— сказал Гриффит.

Лоуренс что-то неодобрительно промычал.

— Это чувство истории,— пояснил Гриффит.— Чувство соответствия предметов. Рано или поздно оно развивается у всех историков.

Позади зашкрипели шаги, и собеседники, вскочив на ноги, обернулись.

К ним спешил радист Дойл из лагеря, который члены экипажа десантной ракеты раскинули на планете Четыре.

— Сэр,— обратился он к Лоуренсу,— только что я говорил с Тэйлором, который сейчас находится на планете Три. Он спрашивает, не можете ли вы туда вылететь. Похоже, они нашли люк.

— Люк! — воскликнул Лоуренс.— Окно в планету! Что же там внутри?

— Он не сказал, сэр.

— Не сказал?

— Нет. Видите ли, сэр, им никак не удастся взломать этот люк.

С виду люк был довольно невзрачен.

Двенадцать отверстий на поверхности планеты были сгруппированы в четыре ряда по три отверстия в каждом, словно перчатки для трехпалых рук.

И все. Невозможно было угадать, где начинается люк и где кончается.

— Здесь есть щель,— рассказывал Тэйлор,— но ее едва видно

через увеличительное стекло. Даже с увеличением она не толще волоса. Люк пригнан настолько идеально, что практически составляет одно целое с поверхностью. Долгое время мы и не подозревали, что это люк. Сидели кругом и гадали, зачем тут дырки. Нашел его Скотт. Он просто катался здесь и увидел какие-то дырочки. Вообще-то можно было смотреть, пока глаза не вылезут, и никогда не обнаружить этот люк, если бы не счастливый случай.

— И нет никакой возможности открыть его? — спросил Лоуренс.

— Пока что нет. Мы пробовали приподнять дверцу, засовывая пальцы в эти отверстия. С таким же успехом можно пытаться приподнять планету. Да и вообще здесь не очень-то развернешься. Просто невозможно удержаться на ногах. Эта штука до того скользкая, что по ней еле ходишь. Вернее, не ходишь, а скользишь, как по льду. Как подумаешь, что может случиться, если ребята со скуки затеют возню и кого-нибудь толкнут.

— Я знаю, — посочувствовал Лоуренс. — Я посадил ракету со всей мыслимой осторожностью, и то мы скользили миль сорок, если не больше.

Тэйлор хмыкнул:

— Звездолет я поставил на все магнитные якоря, и все равно он качается из стороны в сторону, едва к нему прислонишься. По сравнению с этой чертовщиной, лед шершав, как терка.

— Кстати, о люке, — прервал его Лоуренс. — Вам не приходило в голову, что отверстия могут быть секретным замком?

Тэйлор кивнул:

— Конечно, мы об этом думали. Если так, то у нас нет и тени надежды. Умножьте элемент случайности на непредсказуемость чуждого разума.

— Вы проверяли?

— Да, — ответил Тэйлор. — Вставляли отвод кинокамеры в эти отверстия и делали всевозможные снимки. Ничего. Совершенно ничего. Глубина — дюймов восемь или около того. Книзу расширяются. Однако гладкие. Ни выступов, ни граней, ни замочных скважин. Мы умудрились выпилить кусок металла для анализа. Испортили три ножовки, пока пилили. В основном, это сталь, но в сплаве с чем-то таким, к чему Мюллер никак не может приклеить ярлык. А молекулярная структура просто сводит его с ума.

— Значит, люк заклинился? — спросил Лоуренс.

— Ну да. Я подвел звездолет к самому люку, мы подцепили его подъемным краном и стали тащить изо всех сил. Корабль раскачивался, как маятник, а люк не шелохнулся.

— Можно поискать другие люки, — предложил Лоуренс. — Не все же они похожи один на другой.



— Искали,— ответил Тэйлор.— Как ни смешно, искали. Все ползали на коленях. Мы разделили эту зону на секторы и по-пластунски обшарили многие квадратные мили, паяя глаза вовсю. Чуть не ослепли — а тут еще солнце отражается в металле и наши рожи на нас glareют, будто по зеркалу ползем.

— Если вздуматься хорошенько,— сказал Лоуренс,— то едва ли люки располагаются вплотную один к другому. Скажем, через каждые сто миль... а может быть, через каждую тысячу.

— Вы правы,— согласился Тэйлор.— Возможно, и через тысячу.

— Остается только одно,— сказал Лоуренс.

— Да, знаю,— ответил Тэйлор.— Однако к этому у меня душа не лежит. Здесь ведь сложная задача. Нечто, требующее особого решения. А если мы начнем взрывать — значит, провалились на первом же уравнении.

Лоуренс беспокойно заерзал.

— Я понимаю,— отозвался он.— Если с первого хода выявится их преимущество, то на втором и на третьем ходу у нас не останется никаких шансов.

— Однако нельзя же сидеть сложа руки,— сказал Тэйлор.

— Нельзя,— поддержал Лоуренс.— По-моему, никак нельзя.

— Надеюсь, хоть это поможет,— заключил Тэйлор.

Это помогло...

Взрыв оторвал крышку люка и швырнул ее в пространство. Она упала на расстоянии около мили и как причудливое, неровно вырезанное колесо покатила по скользкой поверхности.

Примерно пол-акра поверхности отошло вверх и в сторону и повисло, искореженное, напоминая поблескивающий под солнцем вопросительный знак.

Десантную ракету, на которой не оставили даже дежурного, удерживало на металле слабое магнитное поле. При взрыве ракета отклеилась, как плохо смоченная марка, и на протяжении добрых двенадцати миль неуклюже исполняла танец конькобежцев.

Толщина металлической оболочки не превышала четырнадцати дюймов — по сути, папиросная бумага, если принять во внимание, что диаметр планеты не уступал земному.

Вниз, внутрь, наподобие винтовой лестницы, уходил металлический пандус, верхние десять футов которого были искорежены и разрушены взрывом.

Из отверстия не доносилось ничего — ни звука, ни света, ни запаха.

Семеро начали спускаться по пандусу — в разведку. Прочие остались ждать наверху, в лихорадочном волнении и гнетущей неизвестности.

Возьмите триллион детских наборов «Конструктор».

Дайте волю миллиарду детишек.

Предоставьте им неограниченное время, но лишите инструкций.

Если кое-кто из детишек рожден не людьми, а иными разумными существами, — это еще лучше.

Потом, располагая миллионом лет, определите, что произойдет.

Миллион лет, друзья, вовсе не такой уж долгий срок. Даже за миллион лет вам это не удастся.

Внизу, разумеется, были машины. Ничего иного и быть не могло.

Однако машины походили на игрушечные — как будто собрал их ребенок, переполненный ощущением богатства и всемогущества, в день, когда ему подарили настоящий дорогой «Конструктор».

Там были валы, бобины, эксцентрики и батареи сверкающих хрустальных кубиков, которые, возможно, выполняли роль электронных устройств, хотя никто не знал этого доподлинно.

Вся эта техника занимала многие кубические мили и под лучами светильников, вмонтированных в шлемы землян, блестела и переливалась наподобие новогодней елки, словно была отполирована всего за час до их прихода. Однако когда Лоуренс перегинулся через перила пандуса и провел рукой, затянутой в перчатку, по блестящей поверхности вала, пальцы его испачкались пылью — мелкой, точно мука, пылью.

Люди все спускались всемером по спиральному пандусу, пока у них не закружилась голова, и отовсюду, насколько удавалось разглядеть в частично рассеянной мгле, вдаль уходили машины.

Машины, тихие и неподвижные — и казалось (хотя никто не мог толком обосновать это впечатление), что машины бездействуют вот уже несчетные века.

Одни и те же, снова и снова повторяющиеся детали — бессмысленный набор валов, бобин, эксцентриков и батарей из сверкающих хрустальных кубиков.

Наконец спуск закончился площадкой, которая тянулась во все стороны, насколько можно было охватить взглядом при скудном освещении; высоко вверху переплетались паутинообразные детали — они, очевидно, служили крышей, — а на металлическом полу была расставлена мебель (или то, что показалось им мебелью).

Люди стояли тесной кучкой; их светильники вызывающе пронизывали мглу, а сами они необычно притихли в темноте, безмолвны и тени иных веков, иных народов.

— Контора, — произнес, наконец, Дункан Гриффит.

— Или пункт управления, — сказал инженер-механик Тед Баклей.

— А может быть, жилье, — возразил Тэйлор.

— Не исключено, что здесь был ремонтный цех,— предположил математик Джек Скотт.

— Не приходит ли вам в голову, джентльмены,— спросил геолог Герберт Энсон,— что это может оказаться ни тем, ни другим, ни третьим? Возможно, то, что мы здесь видим, не связано ни с какими известными нам понятиями.

— Все, что остается делать,— ответил археолог Спенсер Кинг,— это по возможности лучше перевести все, что мы видим, на язык известных нам понятий. Вот я, например, предполагаю, что здесь находилась библиотека.

Лоуренс подумал словами басни: «Как-то раз семеро слепцов повстречали слона»...

Вслух он сказал:

— Давайте начнем с осмотра. Если мы не осмотрим это помещение, то никогда о нем ничего не узнаем.

Они осмотрели...

...И все равно ничего не узнали.

Взять, например, картотеку. Очень удобная вещь.

Выбираете какое-то определенное пространство, облекаете его сталью — вот вам место хранения. Вставляете выдвижные ящички и кладете туда хорошенькие, чистенькие карточки, надписываете эти карточки и расставляете в алфавитном порядке. После этого, если вам нужна какая-то определенная бумажка, вы почти всегда ее находите.

Важны два фактора — пространство и нечто, в нем заключенное,— чтобы отличить от другого пространства, чтобы в любой момент можно было отыскать место, предназначенное вами для хранения информации.

Ящички и карточки, расставленные в алфавитном порядке,— это лишь усовершенствование. Они подразделяют пространство так, что вы можете мгновенно указать любой его сектор.

Таково преимущество картотеки над беспорядочным хранением всех нужных предметов в виде кучи, сваленной в углу комнаты.

Но попробуйте представить, что некто завел у себя картотеку без ящичков.

— Эге,— воскликнул Баклей,— а это штука легкая. Подсобите-ка мне кто-нибудь.

Скотт быстро выступил вперед; вдвоем они подняли с полу ящик и встряхнули его. Внутри что-то загремело.

Они снова поставили ящик на пол.

— Там внутри что-то есть,— взволнованно прошептал Баклей.

— Да,— согласился Кинг.— Это какое-то вместилище. Несомненно. И внутри что-то есть.

— Что-то гремящее,— уточнил Баклей.

— А мне кажется,— объявил Скотт,— что звук больше походил на шорох, чем на грохот.

— Не много же нам пользы от звука,— сказал Тэйлор,— если мы не можем добраться до содержимого. Если только и делать, что слушать, как вы, ребята, трясете эту штуку, выводов будет мало.

— Да ведь это легко,— пошутил Гриффит.— Она же четырех-мерная. Произнесите волшебное слово, ткните рукой в любой уголок,— и вытянете то, что вам нужно.

Лоуренс покачал головой.

— Прекрати насмешки, Дунк. Тут дело серьезное. Кто-нибудь из нас представляет себе, как сделана эта штука?

— Не может того быть, чтобы ее сделали,— взывл Баклей.— Ее просто-напросто не делали. Нельзя взять листовой металл и сделать из него куб без спаев или сварочных швов.

— Сравни с люком на поверхности,— напомнил Энсон.— Там тоже ничего не было видно, пока мы не взяли сильную лупу. Так или иначе, ящик открывается. Кто-то или что-то уже открывал его — когда положил туда то, что гремит, когда встряхиваешь.

— А он бы не клал,— добавил Скотт,— если бы не знал способа извлечь оттуда.

— А может быть,— предположил Гриффит,— он запихнул сюда то, от чего хотел избавиться.

— Мы могли бы распилить ящик,— сказал Кинг.— Дайте фонарь.

Лоуренс остановил его:

— Один раз мы уже так поступили. Мы вынуждены были взорвать люк.

— Эти ящики тянутся здесь на полмили,— заметил Баклей.— Все стоят рядом. Давайте потрясем еще каких-нибудь.

Они встряхнули еще десяток. Грохота не услышали.

Ящики были пусты.

— Все выкули,— печально проговорил Баклей.

— Пора уносить отсюда ноги,— сказал Энсон.— От этого места меня мороз по коже пробирает. Вернемся к кораблю, присядем и обсудим все как следует. Ломая себе голову здесь, внизу, мы свихнемся. Взять хоть те пульты управления.

— Может быть, это вовсе не пульты управления,— одернул его Гриффит.— Надо следить за собой, чтобы не делать якобы очевидных, а в действительности — поспешных выводов.

В спор вмешался Баклей.

— Чем бы они ни были,— сказал он,— у них есть какое-то

целевое назначение. В качестве пультов они пригодились бы больше, чем в любом другом, как ни прикидывай.

— Однако на них нет никаких индикаторов, — возразил Тэйлор. — На пульте управления должны быть циферблаты, сигнальные лампочки или хотя что-нибудь такое, на что можно смотреть.

— Не обязательно такое, на что может смотреть человек, — парировал Баклей. — Иной расе мы показались бы безнадежно слепыми.

— У меня есть зловещее предчувствие, что мы ничего не достигнем, — пожаловался Лоуренс.

— Мы опозорились перед люком, — подытожил Тэйлор. — И здесь мы тоже опозорились.

Кинг сказал:

— Придется разработать упорядоченный план исследования. Надо все разметить. Начинать сначала и по порядку.

Лоуренс кивнул.

— Оставим нескольких человек на поверхности, а остальные спустятся вниз и разобьют здесь лагерь. Будем работать группами и по возможности быстро определим ситуацию — общую ситуацию. Потом можно заполнять пробелы деталями.

— Начинать сначала, — пробормотал Тэйлор. — А где тут начало?

— Понятия не имею, — ответил Лоуренс. — А у всех остальных есть какие-нибудь идеи?

— Давайте выясним, что здесь такое, — предложил Кинг. — Планета или планетарная машина.

— Надо поискать еще пандусы, — сказал Тэйлор. — Здесь должны быть и другие спуски.

Заговорил Скотт:

— Попытаемся выяснить, как далеко простираются эти механизмы. Какое пространство занимают.

— И выяснить, работают ли они, — прибавил Баклей.

— Те, что мы видели, не работают, — откликнулся Лоуренс.

— Те, что мы видели, — провозгласил Баклей тоном лектора, — возможно, представляют собой всего лишь уголок гигантского комплекса механизмов. Все они могут работать и не одновременно. По всей вероятности, раз в тысячелетие или около того используется какая-то определенная часть комплекса, да и то в течение нескольких минут, если не секунд. После этого она может простоять в бездействии еще тысячу лет. Однако часть эта должна быть наготове и дожидаться своего мига в тысячелетии.

— Стоило бы попытаться, по крайней мере, высказать грамотное предположение о том, для чего служат эти механизмы. Что они делают. Что производят, — сказал Гриффит.

— Но при этом держать от них руки подальше,— предостерег Баклей.— «Тут потянул, там подтолкнул — хотел знать, что получится» — чтоб этого здесь не было. Один бог ведает, к чему это может привести. Ваше дело маленькое — лапы прочь, пока не будете твердо знать, что делаете.

Это была самая настоящая планета.

Внизу, на глубине двадцати миль, исследователи нашли поверхность планеты. Под двадцатью милями хитросплетенного лабиринта сверкающих мертвых механизмов.

Там был воздух, почти столь же пригодный для дыхания, как на Земле, и они разбили лагерь на нижних горизонтах, довольные тем, что избавились от космических скафандров и живут, как нормальные люди.

Но там не было света и не было жизни. Не было даже насекомых, ни одной ползающей, пресмыкающейся твари.

А ведь некогда здесь была жизнь.

Историю этой жизни поведали развалины городов. Примитивная культура, заключил Кинг. Немногом выше, чем на Земле в двадцатом веке.

Дункан Гриффит сидел на корточках возле портативной атомной плиты, протянув руки к желанному теплу.

— Переселились на планету Четыре,— говорил он с самодовольной уверенностью.— Здесь не хватало жизненного пространства, вот они и отправились туда и встали там лагерем.

— А горные работы вели на двух других планетах,— продолжил Тэйлор не без иронии.— Добывали необходимую руду.

Лоуренс, подавленный, ссутулился.

— Что мне не дает покоя,— сказал он,— так это мысль о побудительной причине, стоящей за всеми загадками — о всепоглощающей, нерассуждающей тяге, о духе, который гонит расу с родной планеты на чужую и разрешает затратить века, чтобы превратить родную планету в сплошную машину.— Он обернулся к Скотту.

— Ведь правда, нет никаких сомнений,— спросил он,— это не что иное, как машина?

Скотт покачал головой:

— Не всю же ее мы видели, сам понимаешь. Для этого нужны годы, а мы не можем позволить себе швыряться годами. Однако мы почти уверены, что это единый машино-мир, покрытый слоем механизмов высотой в двадцать миль.

— И к тому же бездействующих механизмов,— добавил Гриффит.— Бездействующих, потому что их остановили. Жители этой планеты исключили все механизмы, изъяли все свои записи и все

приборы, укатили и оставили пустую скорлупу. Точно так же, как покинули город на планете Четыре.

— Или же были отовсюду изгнаны,— уточнил Тэйлор.

— Нет, никто их не изгонял,— решительно заявил Гриффит.— Нигде во всей системе мы не нашли следов насилия. Никакого признака поспешности. Они не торопились, уложили все свое добро и не забыли ни единой мелочи. Ни одного ключа к тайне. Должны же где-то быть синьки чертежей. Нельзя построить и нельзя эксплуатировать такую машину без какого-нибудь подобия карты или плана. Где-то должны храниться записи — записи, где фиксировались производственные результаты этого машино-мира. Однако мы ведь их не нашли? Это потому, что их увезли при отъезде.

— Не везде же мы искали,— буркнул Тэйлор.

— Мы нашли помещения архивов, где, по законам логики, все это должно храниться,— возразил Гриффит,— но там не было никаких записей. Вообще ничего не было.

— А некоторые ящики, куда невозможно было заглянуть. Помните? Те, что мы нашли в первый же день на верхнем горизонте.

— Были тысячи других мест, куда можно заглянуть и где мы смотрели,— отрезал Гриффит.— Однако мы не нашли орудий производства, не нашли ни единой записи и вообще ничего такого, что намекало бы на бывшее присутствие хоть чего-нибудь.

— Вот ящики наверху, на последнем горизонте,— заметил Тэйлор.— Ведь это место, если рассуждать логически, само собой напрашивается на поиски.

— Мы их встрахивали,— напомнил Гриффит,— все были пусты.

— Все, кроме одного,— настаивал Тэйлор.

— Я склонен верить в твою правоту, Дунк,— сказал Лоуренс.— Этот мир покинут, обобран и брошен на съедение ржавчине. По настоящему нам следовало догадаться, как только мы обнаружили, что он беззащитен. Эти существа предусмотрели бы какие-то средства обороны — по всей вероятности, автоматические, — и если бы кто-нибудь не захотел нас впустить, мы бы никогда здесь и не очутились.

— Если бы мы оказались поблизости, когда этот мир функционировал,— поддержал Гриффит,— нас бы разнесло вдребезги, прежде чем мы его увидели.

— Должно быть, это была великая раса,— задумчиво сказал Лоуренс.— Одной лишь экономики такой планеты достаточно, чтобы любого бросило в дрожь. Чтобы создать такую планету, надо было много веков целиком затрачивать рабочую силу всей расы, а потом еще много веков надо было держать эту планету-машину на ходу. Это означает, что местное население тратило минимальное время

на добывание пищи, на производство миллионов вещей, необходимых для жизни.

— Они упростили свой образ жизни и свои нужды,— сказал Кинг,— сведя их к самому необходимому. Одно уж это, само по себе,— знак величия.

— Притом же они были фанатики,— высказался Гриффит.— Не забываете этого ни на миг. Работу, подобную этой, мог проделать лишь народ, одержимый всепоглощающей, слепой, однобокой целью.

— Но зачем? — спросил Лоуренс.— Зачем они выстроили эту штуковину?

Никто не ответил.

Гриффит тихонько хмыкнул.

— Даже ни одного предположения? — подзадорил он.— Ни одной осмысленной гипотезы.

Из тьмы, окутывающей крохотный кружок света от включенной плиты, медленно поднялся человек.

— У меня есть гипотеза,— признался он.— Вернее, мне кажется, я знаю, в чем дело.

— Послушаем Скотта,— громогласно объявил Лоуренс.

Математик покачал головой.

— Мне нужны доказательства. Иначе вы заподозрите, что я рехнулся.

— Доказательств не существует,— скептически заметил Лоуренс.— Нет доказательств чего бы то ни было.

— Я знаю место, где, возможно, есть доказательство — не утверждаю с уверенностью, но, может быть, и есть.

Все, кто сидел тесным кругом возле плиты, затанли дышание.

— Помнишь тот ящик? — продолжал Скотт.— Тот самый, о котором только сейчас упомянул Тэйлор. Тот, где что-то гремело, когда мы его встряхивали. Тот, что мы не могли открыть.

— Мы по-прежнему не можем его открыть.

— Дайте мне инструменты,— предложил Скотт,— и я открою.

— Это уже было,— мрачно сказал Лоуренс.— Мы отличились бычьей силой и ловкостью, открывая ту злополучную дверь. Нельзя все время применять силу при решении нашей задачи. Здесь нужно нечто большее, чем сила. Здесь нужно понимание.

— По-моему, я знаю, что там гремело,— заявил Скотт.

Лоуренс промолчал.

— Послушай-ка,— не унимался Скотт.— Если у тебя есть какая-то ценность — какой-то предмет, который ты бережешь от воров — что ты с ним делаешь?



— Да в сейф кладу,— ответил Лоуренс не задумываясь.

По длинным, мертвым пролетам исполинской машины прокатилось пронзительное, как свист, молчание.

— Нет и не может быть более надежного места,— снова говорил Скотт,— чем ящик, который не открывается. В этих ящиках хранилось что-то важное. Хозяева планеты забыли одну вещь — чего-то они недоглядели.

Лоуренс медленно поднялся с места.

— Достанем инструменты,— сказал он.

...То была продолговатая карточка, весьма заурядная на вид с асимметрично пробитыми отверстиями.

Скотт держал ее в руке, и рука его дрожала.

— Надеюсь,— горько заметил Гриффит,— ты не разочарован.

— Нисколько,— ответил Скотт.— Именно это я и предполагал.

Все дожидались продолжения.

— Не будешь ли ты любезен...— не вытерпел, наконец, Гриффит.

— Это перфокарта,— объяснил Скотт.— Ответ некоей задачи, введенной в дифференциальное счетно-решающее устройство.

— Но ведь мы не можем дешифровать ее,— сказал Тэйлор.— Никакими силами нельзя установить, что она означает.

— Ее и не надо дешифровывать,— усмехнулся Скотт.— Она и без того рассказывает, что здесь такое. Эта машина — вся машина в целом — представляет собой вычислительное устройство.

— Какая бредовая идея! — воскликнул Баклей.— Математическое...

Скотт покачал головой.

— Не математическое. По крайней мере, не чисто математическое. Нечто более значительное. Логическое, по всей вероятности. Быть может, даже этическое.

Он оглядел присутствующих и прочел на их лицах неверие, еще не до конца развеянное.

— Да посудите же сами! — вскричал он.— Бесконечное повторение, монотонная одинаковость всей машины. Таково и есть вычислительное устройство — сотни или тысячи, или миллионы, или миллиарды интегрирующих схем, сколько бы их ни было нужно, чтобы ответить на поставленный вопрос.

— Существует же какой-то фактор ограничения,— пробубнил Баклей.

— На всем протяжении своей истории,— ответил Скотт,— человечество не слишком-то обращало внимание на такие факторы. Оно продолжало делать свое дело и преодолевало всевозможные фак-

торы ограничения. Очевидно, эта раса тоже не слишком-то обращала на них внимание.

— Есть такие факторы, — упрямо твердил Баклей, — которыми просто невозможно пренебречь.

У мозга есть свои ограничения.

Он ни за что не станет заниматься самим собой.

Он слишком легко забывает, забывает слишком многое и всегда именно то, что следовало бы помнить.

Он склонен к терзаниям — а для мозга это почти равносильно самоубийству.

Если слишком напрягать мозг, он находит убежище в безумии.

И, наконец, он умирает. Умирает как раз тогда, когда становится полноценным.

Поэтому создают механический мозг — гигант, двадцатимильным слоем покрывающий планету с Землю величиной — мозг, который займется делом и никогда ничего не забудет, и не сойдет с ума, ибо ему неведомо смятение.

Затем срываются с места и покидают такой мозг — это уже двойное безумие.

— Все наши догадки не имеют смысла, — сказал Гриффит. — Ведь мы никогда не узнаем, для чего служил этот мозг. Вы упорно исходите из предпосылки, будто хозяева этой планеты были гуманоиды, а ведь столько же шансов за то, что они отнюдь не гуманоиды.

— Предположение, что они в корне отличаются от нас, совершенно абсурдно, — возразил Лоуренс. — В городе на Четвертой могли бы жить и люди. Обитатели этой планеты столкнулись с теми же техническими проблемами, что встали бы и перед нами, если бы мы затеяли подобное начинание, и выполнили все в том стиле, какого придерживались бы и мы.

— Ты не учиываешь того, что сам же так часто подчеркиваешь, — указал Гриффит. — Ты не учиываешь фанатической тяги, которая заставила их пожертвовать решительно всем во имя великой идеи. Мы никакими силами не достигли бы столь тесного и фанатического сотрудничества. Один допустил бы грубейшую ошибку, другой перерезал бы горло третьему, четвертый потребовал бы следствия, а тогда оказалось бы, что вся свора спущена с цепи и лает на ветер.

— Они были последовательны, — продолжал Гриффит. — Ужасающе последовательны. Здесь нет жизни. Мы не нашли ни малейшего признака жизни — нет даже насекомых. А почему, как ты думаешь?

Не потому ли, что жук мог бы запутаться в шестернях или еще где-нибудь и расстронть весь комплекс? Поэтому жукам пришлось исчезнуть.

Помолчав, Гриффит вскинул голову:

— Если на то пошло, хозяева планеты сами напоминают жуков. Вернее, муравьев. Колонию муравьев. Бездушное общество взаимных услуг, которое в слепом, но разумном повиновении неуклонно движется к намеченной цели. А если это так, друг мой, то твоя гипотеза, будто вычислительная машина применялась для разработки экономических и социальных теорий, просто вздор собачий.

— Это вовсе не моя гипотеза,— поправил его Лоуренс.— Это всего лишь одно из нескольких предположений. Есть и другое, не более спорное,— что они пытались разгадать тайну Вселенной: отчего она существует, что она такое и к чему идет.

— И каким образом,— прибавил Гриффит.

— Ты прав. И каким образом. А если они этим занимались, то, я уверен, не из праздного любопытства. Значит, был какой-то серьезнейший стимул, что-то вынуждало их к этому занятию.

— Продолжай,— усмехнулся Тэйлор.— Я жду с нетерпением. Доскажи свою сказку до конца. Они проникли во все тайны Вселенной и...

— Едва ли проникли,— спокойно проговорил Баклей.— Чего бы они ни добивались, вероятность того, что им удалось получить окончательный ответ, крайне мала.

— Что касается меня,— сказал Гриффит,— то я склонен думать, что они своего добились. Иначе зачем было уезжать и бросать эту гигантскую машину? Они нашли то, что искали, поэтому им стал не нужен ими же созданный инструмент познания.

— Ты прав,— подхватил Баклей.— Инструмент стал не нужен, но не потому, что сделал все возможное и этого оказалось достаточно. Его бросили, потому что он слишком мал, он не может решить задачу, которую должен был решить.

— Слишком мал! — не выдержал Скотт.— Да ведь все, что в таком случае надо было сделать — это нарастить вокруг планеты еще один ярус!

Баклей покачал головой:

— Помнишь, я говорил о факторах ограничения? Так вот, перед тобой фактор, которым не так-то просто пренебречь. Подвергни сталь давлению в пятьдесят тысяч фунтов на квадратный дюйм — и она потечет. Здесь-то, должно быть, металл воспринимает гораздо большее давление, но и у него есть предел прочности, выходить за который было небезопасно. На высоте двадцати миль

над поверхностью планеты ее хозяева достигли этого предела. Уперлись в тупик.

Гриффит шумно вздохнул.

— Моральный износ, — пробормотал он.

— Аналитическая машина — это вопрос габаритов, — рассуждал Баклей вслух. — Каждая интегрирующая схема соответствует клеточке человеческого мозга. У нее ограниченная функция и ограниченные возможности. То, что делает одна клетка, контролируют две другие. Принцип «зри в три» как гарантия, что ошибок не будет.

— Можно было стереть все, что хранилось в запоминающих устройствах, и начать все сызнова, — сказал Скотт.

— Не исключено, что так и поступали, — ответил Баклей. — Много-много раз. Хотя всегда был элемент риска, что каждый раз после стирания машина потеряет какие-то... э-э... ну, рациональные, что ли, качества, или моральные. Стирание памяти для машины таких размеров — шок, подобно тому как коррективная хирургия мозга — шок для человека. Здесь произошло что-то одно из двух. Либо машина очутилась на пределе стирания — в электронных устройствах слишком заметно скапливалась остаточная память...

— Подсознательное, — перебил Гриффит. — Интересная мысль — развивается ли у машины подсознание?

— Либо, — продолжал Баклей, — ее неизвестные хозяева подошли к проблеме настолько сложной, настолько многогранной, что эта машина, несмотря на фантастические размеры, не могла с ней справиться.

— И тогда они отправились на поиски еще большей планеты, — продолжил Тэйлор, сам не вполне веря в свои слова. — Другой планеты, масса которой достаточно мала, чтобы там можно было жить и работать, но диаметр достаточно велик для создания более мощной вычислительной машины.

— В этом был бы какой-то смысл, — неохотно признал Скотт. — Понимаете ли, они бы начали все заново, но с учетом ответов, полученных здесь. При усовершенствованной конструкции и новой технологии.

— А теперь, — торжественно провозгласил Кинг, — на вахту становится человечество. Интересно, что нам удастся сделать старой диковиной? Во всяком случае, совсем не то, к чему ее предназначали строители.

— Человечеству, — ответил Баклей, — решительно ничего не придется с ней делать, по крайней мере, в течение ста лет. Головой ручаюсь. Никакой инженер не осмелится повернуть ни единое колесико в этой машине, пока не будет достоверно знать, для чего она, как и почему сделана. Тут надо вычертить миллионы схем,

проверить миллионы полупроводников, сделать синьки, подготовить техников...

Лоуренс грубовато ответил:

— Это не наша забота, Кинг. Мы с тобой — сеттеры. Мы отслеживаем и вспугиваем перепелов, а дальше обойдутся без нас, и мы переходим к очередным вопросам. Как поступит человечество с нашими находками — это опять-таки очередной вопрос, но не нам с тобой его решать.

Он поднял с пола мешок с походным снаряжением и взвалил на спину.

— Все готовы к выходу? — спросил он.

Десятью милями выше Тэйлор перегнулся через перила, ограждающие пандус, и взглянул на расстилающийся под ним лабиринт машин. Из наспех уложенного рюкзака выскользнула ложка и, вертясь, полетела вниз.

Долго все прислушивались к тому, как она звенит, задевая о металл.

Даже когда ничего уже не было слышно, всем казалось, что до них еще доносится звон.

Перевела с английского Н. Евдокимова

НОВЫЕ  
ИЗМЕРЕНИЯ



**В** тот вечер Фарнзуорт изобрел новый напиток — пунш-глинтвейн с джином, настоянным на ягодах терна. Способ приготовления был столь же нелеп, как и название: раскаленную докрасна кочергу надо сунуть в кружку с теплым красноватым джином, потом всыпать туда же корицу, гвоздику и сахар, а потом выпить эту идиотскую смесь. Тем не менее, как иной раз бывало с идеями Фарнзуорта, результат получился неплохой. После третьей порции напиток показался мне вполне терпимым.

Когда Фарнзуорт, наконец, положил дымящуюся кочергу в камин, чтобы опять раскалилась, я удобно откинулся на спинку большого кожаного кресла, которое хозяин собственноручно реконструировал (если нажать кнопку, оно укачивает сидящего, пока тот не заснет), и сказал:

— Оливер, твою фантазию можно уподобить разве что твоему гостеприимству.

Фарнзуорт покраснел и улыбнулся. Он низенький, круглолицый и легко краснеет.

— Спасибо, — отозвался он. — Есть еще одна новинка. Называется «шипучая водка-желе». Ее полагается есть ложкой. Может, попробуешь? Нечто... потрясывающее!

Я поборол дрожь, пронизавшую меня при мысли о том, что придется хлебать водку-желе, и сказал:

— Интересно, очень интересно.

И так как он ничего не ответил, мы оба молча уставились на пламя в камине, а джин тем временем теплой струей разливался

у нас в крови. В холостяцком жилье Фарнзуорта было уютно и привольно; по пятницам я всегда чудесно коротал здесь вечера. По-моему, в глубине души всякий мужчина любит тепло огня и спиртные напитки (даже самые причудливые), а также глубокие, удобные кожаные кресла.

Через несколько минут Фарнзуорт внезапно вскочил на ноги и объявил:

— Хочу показать тебе одну штуковину. На той неделе смастерил. Правда, не совсем удачно вышло.

— Вот как? — Я-то думал, что за истекшую неделю его мысль не пошла дальше обычных изысканий в области спиртного. С меня и их было более чем достаточно.

— Да,— продолжал он уже от порога.— Она у меня внизу. Сейчас принесу.— Он выбежал из кабинета, и раздвижная дверь закрылась за ним автоматически, так же как секундой раньше автоматически распахнулась.

Я снова обернулся к огню, довольный тем, что мой друг направился не куда-нибудь, а в свой «цех»: столярная мастерская находилась во дворе, в сарае, химическая и оптическая лаборатории — на чердаке, а он пошел в подвал. Дело в том, что искуснее всего Фарнзуорт управлялся с токарным и фрезерным станками. Изготовленный им самоввертывающийся винт-барашек с регулируемым шагом был настоящим шедевром, и патент на это изделие, вместе с несколькими другими, принес Фарнзуорту немалое состояние.

Через минуту он вернулся с каким-то странным на вид предметом, который водрузил на столике рядом с моим креслом. Еще минуту я молча рассматривал этот предмет, а Фарнзуорт, чуть приметно улыбаясь, стоял у меня за спиной. Я знал, что он с нетерпением ждет отзыва, но не представлял, какого именно.

При ближайшем рассмотрении вещь оказалась простой: выполненная в форме креста, она состояла из нескольких десятков полых кубиков с дюймовой гранью. Половина кубиков была сделана из какого-то прозрачного пластика, половина — из тонких листов алюминия. Каждый кубик весьма хитроумно соединялся шарнирами с двумя другими, но общего принципа расположения я не уловил.

Наконец я спросил:

— Сколько их тут? — я пытался пересчитать, но все время сбивался со счета.

— Шестьдесят четыре,— ответил Фарнзуорт.— Как будто.

— Откуда такая неуверенность?

— Да вот...— он смутился.— Во всяком случае, сделал-то я шестьдесят четыре кубика, по тридцать два каждого сорта; но почему-то с тех пор мне ни разу не удалось сосчитать их заново.

То ли они те... теряются, то ли переходят с места на место, то ли еще что-нибудь.

— Вот как? — это становилось интересно. — А можно потрогать?

— Конечно, — ответил он. Я взял диковинный предмет в руки и, повертев кубики на шарнирах, увидел, что у многих отсутствует одна грань — в них вошли бы некоторые другие кубики, если бы не мешали шарниры.

Я начал рассеянно прилаживать кубики один к другому.

— Ты мог бы пересчитать, если бы пометил каждый, — посоветовал я. — Поочередно, карандашом, например.

— Между нами, — сказал он и снова вспыхнул, — я уже пробовал. Не тут-то было. В конце концов оказалось, что номером один помечены шесть кубиков, а номерами два и три — ни одного, зато были два четвертых номера — на одном из них четверка выведена зеркально и зеленым цветом. — Он помедлил. — А я все помечал красным карандашом. — При этих словах он едва приметно содрогнулся, хотя говорил беспечным тоном. — Я стер все цифры мокрой тряпкой и больше... не пробовал.

— Угу, — сказал я. — А как ты это назвал?

— Пентаракт.

Он снова уселся в кресло.

— Разумеется, это условное названия. По-моему, пентарактом можно назвать четырехмерный пятиугольник, а тут изображен пятимерный куб.

— Изображен? — Вещица показалась мне слишком осязаемой для изображения.

— Понимаешь, не может быть, чтобы у него было пять измерений — длина, ширина, глубина, елизна и деньтина... во всяком случае, так я считаю. — Тут он стал слегка заикаться. — Но мне хотелось создать иллюстрацию предмета, имеющего все эти пять измерений.

— И что же это за предмет? — я покосился на вещицу, лежащую у меня на коленях, и несколько удивился, заметив, что успел вложить довольно много кубиков один в другой.

— Представь себе, — сказал Фаризуорт, — что ты выстроишь в ряд множество точек так, чтобы они соприкасались; получишь линию — фигуру, характеризующуюся одним измерением. Проведи на плоскости четыре линии под прямыми углами друг к другу; это квадрат — фигура в двух измерениях. Шесть квадратов, расположенные в реальном трехмерном пространстве под прямыми углами друг к другу, образуют куб — фигуру трехмерную. А восемь кубов, вынесенные в четырехмерное физическое пространство, дают четырехмерный гиперкуб или так называемый тетракт...



— А десять тетрактот образуют пентаракт,— докончил я.— Пятимерное тело.

— Именно. Правда, тут у нас лишь изображение пентаракта. Может быть, таких измерений, как еслина и деньгина, вообще не существует.

— А все же непонятно, что ты подразумеваешь под изображением,— сказал я, с увлечением вертя в руках кубики.

— Непонятно? — переспросил он и поджал губы.— Это довольно трудно объяснить, но попробую. Вот, например, на листке бумаги можно очень похоже нарисовать куб — знаешь, пользуясь законами перспективы, затушевывая тень и все такое. Это ведь изображение трехмерного тела — куба — при помощи только двух измерений.

— И, конечно,— заметил я,— мы можем свернуть бумагу в кубик. Тогда получится настоящее трехмерное тело.

Он кивнул:

— Но тогда мы прибегнем к третьему измерению: ведь чтобы свернуть бумагу, надо отогнуть ее в в е р х. Так что, если только я не научусь свертывать кубики в еслина и деньгина, мой пентаракт останется жалким изображением. Или, точнее, десятью изображениями. Здесь десять тетрактот — изображений четырехмерных тел — соединены между собой и изображают пятимерный гиперкуб.

— Ага! — сказал я чуть растерянно.— И что же ты с ним собираешься делать?

— Да ничего особенного,— ответил он.— Это я просто из любопытства.— Тут он перевел взгляд на меня, вытаращил глаза и вскопич с кресла.— Что ты с ним сотворил?

Я посмотрел, что у меня в руках. Там были восемь кубиков, сложенных крестом.

— Да ничего,— ответил я, чувствуя себя не в своей тарелке.— Просто вложил их друг в друга.

— Не может быть! Начнем с того, что открытых кубиков было только двенадцать! У всех остальных по шести граней!

Фарнзуорт стремительно ринулся к своему творению — он явно вышел из себя, да так внезапно, что я отпрянул. Бросок Фарнзуорта оказался неудачным, я выронил вещьцу из рук, она упала на пол и основательно ударилась углом. Послышался слабый стук, что-то звякнуло, и вещьца очень странно смялась. И вот перед нами на полу остался один-единственный дюймовый кубик и больше ничего.

Мы тупо главели на него с минуту, никак не меньше. Потом я встал, оглянулся на сиденье кресла, внимательно осмотрел весь пол, даже опустился на колени и пошарил под креслом. Фарнзуорт

следил за мной и, когда я кончил и снова уселся, спросил:

— Больше нет?

— Ни единого кубика, — сказал я, — нигде.

— Этого я и боялся. — Он ткнул дрожащим пальцем в сторону оставшегося кубика. — По-видимому, все они здесь. — Его возбуждение постепенно улетучивалось, — я думаю, ко всему можно привыкнуть. — Чуть погодя он задумчиво спросил: — Что это ты такое говорил, как можно сделать куб, свернув бумагу?

Я поглядел на него и выдал из себя извиняющуюся улыбку. Ведь и я подумал о том же.

— А ты что-то говорил о другом измерении, которое для этого необходимо?

Он не улыбнулся мне в ответ, а встал и буркнул:

— Ну, вряд ли эта штука кусается. — С этими словами он нагнулся, поднял с пола кубик и подбросил его на ладони, прикидывая вес.

— Похоже, весит ровно столько, сколько все шестьдесят четыре, — сказал он уже совершенно спокойно. Вгляделся в кубик и неожиданно разволновался снова. — Силы небесные! Смотри! — Он протянул мне кубик.

На одной грани, точно в центре, появилось аккуратное отверстие — кружок диаметром примерно в полдюйма.

Я склонился над кубиком и увидел, что на самом деле отверстие не было круглое. Оно походило на лепестковую диафрагму фотоаппарата — многоугольник, образованный множеством металлических пластинок правильной формы, которые находят одна на другую и как бы сплетаются, но оставляют дырочку, куда проникает свет. В отверстии ничего не было видно; только безграничная чернота.

— Не понимаю, каким образом... — начал было я, но тут же осекся.

— Я тоже, — сказал он. — Давай-ка разберемся.

Он поднес кубик поближе к глазам и стал боязливо всматриваться. Потом осторожно положил его на стол, подошел к креслу, сел и сложил руки на толстом брюшке.

— Джордж, — сказал он, — там внутри что-то есть. — Теперь голос его звучал ровно и в то же время как-то необычно.

— Что именно? — спросил я.

— А что спросили бы вы?

— Какой-то шарик, — ответил он. — Маленький круглый шарик. Он весь будто туманом застлан, но видно, что шарик.

— Да ну! — сказал я.

— Джордж, принесу-ка я джину.

С неимоверной быстротой он извлек из буфета высокие бокалы, наполнил их терновым джином, подлил воды, добавил льду. Отвертительный был вкус у напитка.

Осушив свой бокал, я сказал:

— Восторг! Давай повторим.— Так мы и сделали. После второго бокала ко мне вернулась способность разумно мыслить.

Я поставил бокал на стол:

— Фарнзуорт, мне пришла в голову мысль. Разве, по Эйнштейну, четвертое измерение — это не время?

Он тоже допил свой бокал:

— Да, по теории Эйнштейна выходит так. Я назвал это измерение «еслина»... или «деньгина», как тебе больше нравится.— Он снова взял в руки кубик — на этот раз, я заметил, с гораздо большей уверенностью.— А как насчет пятого измерения?

— Ума не приложу,— ответил я и покосился на кубик, который стал казаться мне воплощением зловещих сил.— Не могу постичь, черт побери.

— И я не могу, Джордж,— сказал он почти игриво; у Фарнзуорта такое настроение бывает не часто. Он повертел кубик в пухленьких пальцах.— Все это каким-то непостижимым образом погружено во время. Не говоря уже о крайне своеобразном пространстве, с которым, по-видимому, связано. Поразительно, правда?

— Поразительно,— кивнул я.

— Джордж, я, пожалуй, взгляну еще разок.— И он опять поднес кубик к глазам.

— Ну-ну,— сказал он секундой позже,— все тот же шарик.

— Что же он делает? — полюбопытствовал я.

— Да ничего. А может быть, медленно вращается. Я не уверен. Понимаешь, он какой-то мохнатый и весь в тумане. К тому же темно тут.

— Покажи-ка,— попросил я, сообразив, что в конце концов, если видит Фарнзуорт, значит и я увижу.

— Сейчас. Интересно, в каков именно время я заглядываю: в прошлое, будущее или еще куда-нибудь?

— И в какое пространство...— подхватил я, но внезапно Фарнзуорт заорал не своим голосом, отшвырнул кубик, словно тот вдруг превратился в змею, и закрыл руками глаза.

Он упал в кресло и завопил:

— О ужас, ужас!

Я со страхом следил за тем, как падает кубик, но ничего не случилось. Он не свернулся в ничто и не рассыпался на шестьдесят четыре части.

— Что с тобой? — спросил я, подбежав к Фарнзуорту, который корчился в кресле и не отнимал рук от лица.

— Глаз! — простонал он, едва сдерживая слезы. — Он мне выколол глаз! Живо, Джордж, вызови скорую!

Я метнулся к телефону и стал перелистывать справочник в поисках нужного номера, а Фарнзуорт все твердил:

— Поскорее, Джордж! — Тогда в отчаянии я набрал номер телефонной станции и попросил телефонистку вызвать санитарную машину.

Я вернулся к Фарнзуорту. Он отнял руку от здорового глаза, и я заметил на другой его руке струйку крови. Фарнзуорт почти перестал корчиться, но, судя по его лицу, боль еще не утихла.

Он встал.

— Надо выпить, — сказал он и неуверенной походкой направился к буфету, но зацепил ногой кубик, который все еще валялся у самого кресла, споткнулся и чуть не упал. Кубик откатился на несколько шагов и остановился, отверстием вверх, возле камина.

Разъяренный Фарнзуорт процедил:

— Ну, погоди же, тварь такая, я тебе покажу! — нагнулся и выхватил из камина кочергу. Она все время лежала на горящих углях и накалилась докрасна. Фарнзуорт обеими руками сжал деревянную ручку и всадил раскаленный конец в отверстие, прижав кубик к полу.

— Я тебе покажу! — повторил он; я сочувственно смотрел, как он налег всем телом на кочергу и с силой заталкивает ее в кубик. Послышалось слабое шипение, и кочергу окутали маленькие клубы темного дыма, повалившего из отверстия.

Потом раздался странный чмокающий звук, и кочерга стала погружаться в кубик. Она ушла туда дюймов на восемь, а то и на все десять — вещь совершенно немыслимая, если учесть, что кубик был объемом ровно в один дюйм — и даже Фарнзуорта это настолько перепугало, что он рывком вытащил кочергу из отверстия.

Дым повалил столбом, через секунду раздался такой звук, словно из бутылки вылетела пробка, и кубик распался на сотни квадратиков из пластика и алюминия.

Как ни странно, на алюминиевых квадратиках не оказалось следов колоти, ни один пластиковый квадратик не обгорел. Не обнаружили мы и никаких признаков затуманенного шарика.

Фарнзуорт снова поднес правую руку к глазу, уже распухшему и залитому кровью. Здоровым глазом он рассматривал нагромождение квадратиков. Свободная рука его тряслась.

Потом заревела сирена; рев становился все громче и громче. Фарнзуорт перевел обреченный взгляд на меня:

— Это, наверное, за мной. Захватчу зубную щетку.

Одного глаза Фарнзуорт лишился. Однако через неделю он вышел из больницы, почти такой же, как прежде, со щегольской черной повязкой на лбу. Любопытная подробность: врач нашел у него на веке следы ожогов и считал, что глаз пострадал от слабого взрыва. Врач решил, что у Фарнзуорта неудачно выстрелил пистолет — патрон каким-то образом взорвался при открытом затворе. Фарнзуорт не разубеждал его — такое объяснение годилось не хуже всякого другого.

Я посоветовал Фарнзуорту носить зеленую повязку — под цвет сохранившегося глаза. Он усмехнулся и сказал, что, по его мнению, получится чересчур эффектно. Он уже начал делать новый пентаракт; хотел выяснить, как же...

Однако ему так и не пришлось довести эту работу до конца. Спустя девять дней после злополучного происшествия газеты внезапно запестрели сообщениями из другого полушария — фантастическими рассказами, от которых приходили в восторг все редакторы воскресных приложений. И тут-то мы постепенно сообразили, что же произошло. Незачем было сооружать новый крест из шестидесяти четырех кубиков и выяснять, каким образом он складывается в один. Теперь мы все поняли.

Кубик, действительно, был пятимерный. И одним из измерений, в которых он существовал, было время — точнее, будущее: девять дней вперед. А другим измерением было в высшей степени своеобразное пространство, весьма необычно искажающее размеры.

Это стало совершенно ясно, когда еще три дня спустя все повторилось в нашем полушарии, и явление, которое по самой своей природе не нуждалось в газетной шумихе, сильно подорвало тираж воскресных приложений.

В западном полушарии на всем небосводе появился (до того огромный, что от Аляски до мыса Горн отмечалось солнечное затмение) исполинский блестящий зеленый человеческий глаз. Наблюдалась также часть века, и все это было окаймлено гигантским кругом. Вернее, не совсем кругом, а многоугольником, похожим на лепестковую диафрагму в затворе фотоаппарата.

Перед тем как стало смеркаться, глаз мигнул, и пятьсот миллионов людей вскрикнули одновременно. Он оставался в небе всю ночь — зловеще мерцал в отраженном свете солнца, затмевая звезды.

В ту ночь появилась тысяча новых религиозных культов, а тыся-

ча старых объявила, что настал День, Который Был Предвещен Издревле.

Быть может, большинство жителей Земли полагало, что видит бога. Лишь двое знали, что это Оливер Фарнзуорт, сощурясь, разглядывает затуманенный вращающийся шарик в пятимерной коробке — разглядывает девятью днями ранее, не подозревая, что шарик — это сама Земля, заключенная внутри маленького кубика с гранями в один квадратный дюйм, а кубик — тело в разросшемся времени и сжатом пространстве.

Когда пентаракт выпал из моих рук и каким-то образом вернулся в два новых измерения, он попал в пятимерное пространство и вобрал наш мир в себя, а потом стал ускорять в этом мире время, так что пока в кабинете Фарнзуорта прошла минута, в мире внутри кубика миновали целые сутки.

Мы догадались, потому что во второй раз Фарнзуорт держал кубик перед глазами около минуты (первый раз — это, конечно, появление глаза в восточном полушарии), а когда через девять дней мы увидели то же событие в наших краях, должно было пройти еще двадцать шесть часов до того момента, когда глаз почувствует «укол» и отпрянет.

Это случилось ранним утром — Солнце только-только выглянуло из-за горизонта и устремилось к зениту позади гигантского круга, окаймляющего глаз. На одной из станций защитного пояса у какого-то высокопоставленного лица сдали нервы. В космос вылетели пятьдесят управляемых ракет — самых мощных в мире. Каждая несла на себе боевую головку с водородным зарядом. Прежде чем на Землю обрушилась чудовищная взрывная волна, глаз исчез.

Я знал, где-то корчится и вопит невообразимо огромный Оливер Фарнзуорт; он осуществляет точь-в-точь ту же цепь событий, свидетелем которой я уже был в прошлом и которая, тем не менее, развертывается сейчас в неизменном пространственно-временном континууме, позволившем кубiku каким-то образом охватить его.

Врач заметил ожоги. Интересно, что бы он подумал, если бы знал, что Фарнзуорту в глаз попали пятьдесят исчезающе малых водородных бомб.

Целую неделю весь мир больше ни о чем не говорил. Два миллиарда человек только об этом и спорили, только над этим и размышляли, только это и видели во сне. С сотворения Земли и Солнца не было более потрясающего зрелища, чем глаз Фарнзуорта.

Однако двое из всех задумывались и о другом. Думали о незыблемом пространственно-временном континууме, где за день, протекающий по нашу сторону пентаракта, проходит одна минута, тогда как в ином времени, ином пространстве мы с исполинским Оливером Фарнзуортом не сводим глаз с валяющегося на полу кубика, в котором замкнут наш мир.

В среду мы могли сказать: «Сейчас он подошел к телефону». В четверг: «Листает телефонный справочник». В субботу: «Сейчас, наверное, вызывает телефонистку»...

А утро вторника мы встретили вдвоем — вместе любовались восходом Солнца. Мы уже несколько суток не разлучались, потому что потеряли сон и страшились одиночества. Когда занялся день, мы ничего не сказали — боялись произнести вслух. Но подумали...

...Представили себе, как колоссальный макро-Фарнзуорт говорит: «Я тебе покажу!» и изо всех сил тычет в круглую дырочку светящейся, шипящей, дымящейся, раскаленной докрасна кочергой.

Перевела с английского Н. Ездикова





## СОДЕРЖАНИЕ

<b>М. ЕМЦЕВ, Е. ПАРНОВ</b>	
Черный Ящик Цереры	3
<b>И. ГУБЕРМАН</b>	
Вечер в гостинице	170
<b>В. ЩЕРБАКОВ</b>	
Помните меня!	185
<b>Р. ПОДОЛЬНЫЙ</b>	
Необходимая случайность	192
<b>Б. ЗУБКОВ, Е. МУСЛИН</b>	
Башия	196
<b>А. ШАРОВ</b>	
Редкие рукописи	214
Первые рассказы	
<b>В. ФИРСОВ</b>	
Камень	266
Телефон	269
ЗАРУБЕЖНАЯ ФАНТАСТИКА	
<b>КЛИФФОРД Д. САЙМАК</b>	
Фактор ограничения	275
<b>УОЛТЕР ТИВИС-МЛАДШИЙ</b>	
Новые измерения	292



Составитель Е. Дубровский

Альманах научной фантастики. Выпуск 5

Редактор Г. Малинина

Художественный редактор Т. Добровольнова

Технический редактор Л. Атрощенко

Корректор В. Климачева



Сдано в набор 17/III-1966 г. Подписано к печати 31/VIII-1966 г.  
Изд. № 12. Формат бум. 84X109<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бум. л. 4,75. Печ. л. 9,5. Условн.  
печ. л. 15,96. Уч.-изд. л. 19,55. А00957. Цена 66 коп. Тираж 75 000 экз.  
Заказ № 297, Опубликовано тем. план 1966 г. № 20.

Издательство «Знание». Москва, Центр, Новая пл., д. 3/4.

Книжная фабрика № 1 Росглаволиграфпрома Комитета по печати  
при Совете Министров РСФСР, г. Электросталь Московской области,  
Школьная, 25.

**Дорогой читатель!**

Просим Вас отзыв об этой книге  
и свои пожелания присылать в изда-  
тельство «Знание».

Наш адрес: Москва, Центр, Новая  
пл., д. 3/4.



66 коп.

